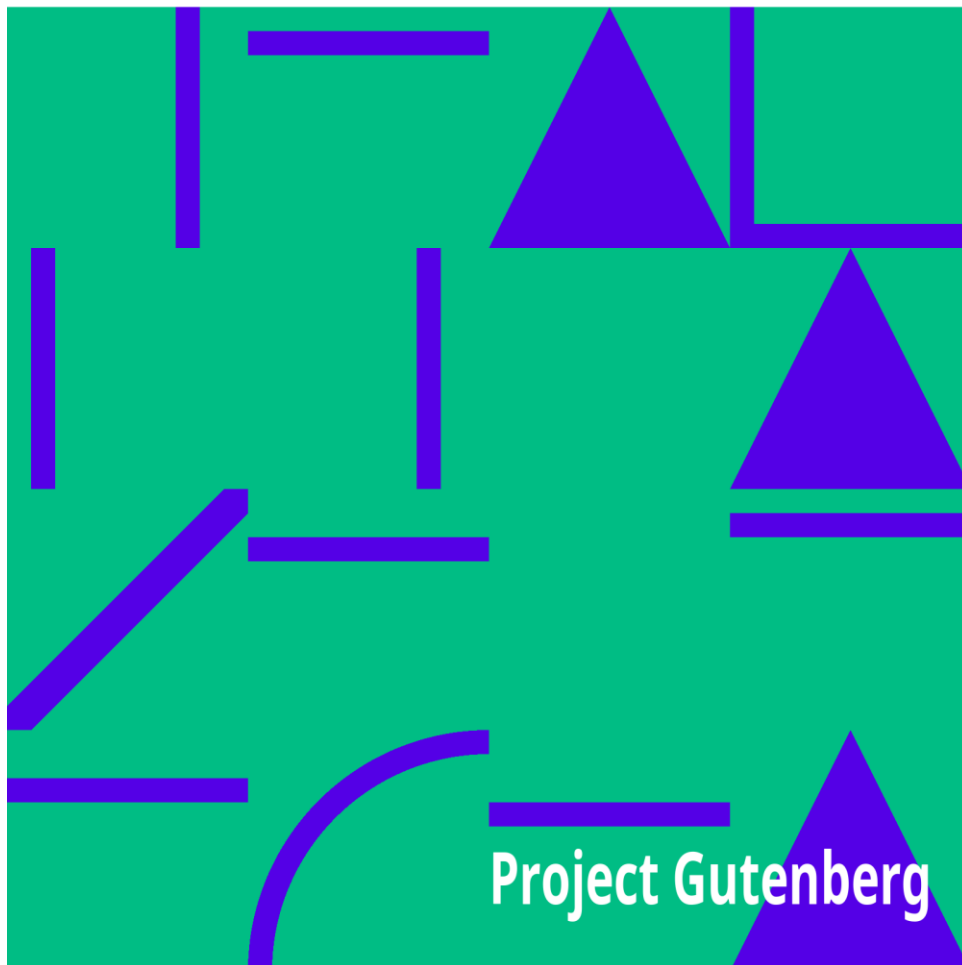


Здравоохранение и образование

Чарльз Кингсли

Health and Education

Charles Kingsley



Электронная книга проекта "Гутенберг" о здравоохранении и образовании

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Здравоохранение и образование

Автор: Чарльз Кингсли

Дата выхода: 31 декабря 2005 [Электронная книга №17437]

Язык: Английский

Титры: Переписано с издания W. Isbister & Co. 1874 года Дэвидом Прайсом

*** ЗАПУСК ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ГУТЕНБЕРГА "ЗДОРОВЬЕ И ОБРАЗОВАНИЕ" ***

Переписано с издания W. Isbister & Co. 1874 года Дэвидом Прайсом, электронное письмо csx074@coventry.ac.uk

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ

преподобным ЧАРЛЬЗ КИНГСЛИ, член Королевской семьи
каноник Вестминстера

W. ISBISTER & CO.
56, ЛАДГЕЙТ-ХИЛЛ, ЛОНДОН,
1874

[Все права защищены]

НАУКА О ЗДОРОВЬЕ

Улучшается ли британская раса или вырождается? Что, если это кажется вероятным вырождением, является причиной столь великого зла? Как их можно если не уничтожить, то хотя бы арестовать?— Эти вопросы заслуживают внимания не только государственных деятелей и медиков, но и каждого отца и матери на этих островах. Я расскажу кое-что о них в этом Эссе; и скажу это в форме, которая должна быть понятна отцам и матерям всех сословий, от высшего до низшего, в надежде убедить хотя бы некоторых из них в том, что науке о здоровье, которой сейчас так сильно пренебрегают в нашей учебной программе так называемого образования, следует обучать — по крайней мере, ее началам — в каждой школе, колледже и университете.

Мы говорим о наших мужественных предках; и правильно. Но они были мужественны, как обычно бывают мужественны дикари, потому что никто, кроме мужественных, не выжил. Возможно, они могли бы сказать о себе — как они делают в государственном документе 1515 года, ныне хорошо известном по страницам мистера Фрауда: “Какой народ коминов всего мира может сравниться с коминами Англии в богатстве, свободе, раскрепощенности, благосостоянии и вообще во всем процветании? Какой народ коминов так могуществен и так силен в поле, как комины Англии?” Возможно, их кормили “большими говяжьими голеньями”, пока они не превратились, как называет их Бенвенуто Челлини, в “английских диких зверей”. Но их численность увеличивалась медленно, если вообще увеличивалась, на протяжении веков. Те ужасные законы естественного отбора, которые приводят к “выживанию наиболее приспособленных”, уничтожали менее приспособленных в каждом поколении, главным образом из-за детских болезней, часто из-за массового голода и эпидемий; и оставляли, в целом, только людей с самым сильным телосложением, чтобы увековечить выносливую, доблестную и предприимчивую расу.

Наконец произошли внезапные и беспрецедентные перемены. В первые годы столетия паровой двигатель и торговля привели к огромному увеличению населения. Миллионы новых людей нашли работу, женились, воспитали детей, которые, в свою очередь, нашли работу, и научились жить более или менее цивилизованной жизнью. Событие, несомненно, за которое следует благодарить Бога. Совершенно новая фаза развития человечества, несущая с собой новые пороки и новые опасности; но несущая также не только новые удобства, но и новое благородство, новую щедрость, новые представления о долге и о том, как этот долг следует выполнять. По-детски сожалеть о старых временах, когда наши покрытые копотью производственные районы были зелеными от одиноких ферм. Роптать на это преображение было бы, я полагаю, роптанием на волю Того, без кого ни один воробей не упадет на землю.

“Старый порядок меняется, уступая место новому,
И Бог осуществляет себя многими способами,
Чтобы ни один добрый обычай не развратил мир”.

Наш долг - вместо того, чтобы тосковать по старому доброму обычаю, заботиться о новом добром обычае, чтобы он не развратил мир подобным же образом. И это может быть сделано таким образом:—

Быстрый рост населения в течение первой половины нынешнего столетия начался в тот момент, когда запасы британии были особенно истощены, а именно, примерно в конце долгой войны с Францией. Возможно, до этого были периоды истощения, по крайней мере в Англии. Возможно, один был здесь, как, по-видимому, было на Континенте, после Крестовых походов; и другой после Войны Алой и Белой розы. Несомненно, в конце правления Елизаветы был период сильного истощения, вызванный как длительными испанскими и ирландскими войнами, так и ужасными эндемиями, завезенными из-за границы; истощение, которое, возможно, отчасти стало причиной национальной слабости, охватившей нас во время правления Стюартов. Но после того, как ничего из этого не произошло, выживание менее приспособленных внезапно стало более легким; или открытие паровой энергии и приобретение колониальной империи сразу же создали новый спрос на людей и новые запасы пищи для них. Британия в начале девятнадцатого века находилась в совершенно новой социальной ситуации.

В начале великой французской войны; и, действительно, с самого начала войны с Испанией в 1739 году — которую часто называют “войной за ухо Дженкинса”, — но которая, как я считаю, была одной из самых справедливых, поскольку она была одной из самых популярных из всех наших войн; также после некогда знаменитых “сорока прекрасных урожаев” восемнадцатого века британский народ, от джентльмена, который вел, до солдата или матроса, который следовал за ним, был одной из самых могущественных и способных рас, которые когда-либо видел мир, в лучшем случае сравним со старым римлянином в его самый могущественный и способный период. Об этом, по крайней мере, свидетельствуют их работы. Они создали — насколько можно сказать, что человек что-либо создал - Британскую империю. Они завоевали для нас наши колонии, нашу торговлю, господство на морях всего мира. Но какой ценой —

“Их кости разбросаны повсюду,
По горам, ручьям и морю”.

Год за годом, до окончательного триумфа при Ватерлоо, не только сражения, но и худшие разрушители, чем пули и снаряды, — усталость и болезни — уносили наших самых крепких, способных, здоровых молодых людей, каждый из которых представлял, увы! девушка, оставшаяся незамужней дома или вышедшая замуж, по умолчанию, за менее способного мужчину. Сильнейшие уходили на войну; каждый павший оставлял более слабого человека для продолжения рода; в то время как из тех, кто не пал, слишком многие возвращались с испорченным и ослабленным телосложением, чтобы нанести вред, возможно, еще не родившимся поколениям. Средний класс, занятый в основном мирными занятиями, меньше пострадал от такого истребления своих лучших молодых людей; и этому факту я во многом приписываю их растущее преобладание в социальной, политической и интеллектуальной сфере по сей день. Невозможно пройти по улицам любого из наших крупных коммерческих городов, не увидев множества мужчин, молодых и среднего возраста, вся осанка и рост которых показывают, что мужественная энергия нашего среднего класса далеко не исчерпана. Особенно в Ливерпуле меня поразили не только энергичные лица, но и размеры телосложения торговцев мелочью. Но всегда следует помнить, во-первых, что эти люди - элита своего класса; самые умные люди; люди, способные выполнять большую часть работы; и, во-вторых, что почти все они, от крупного торговца, у которого есть вилла за городом и, возможно, пустоши в Горной шотландии, до крепкого молодого волонтера, который служит в галантерейной лавке, люди, выросшие в деревне; и что вопрос не в том, какие они сейчас, а в том, какими будут их дети и внуки, особенно дети прекрасного молодого волонтера. И я считаю это очень серьезным вопросом; и по этой причине:

Война, без сомнения, является самым отвратительным физическим проклятием, которое налагает на себя падший человек; и по той простой причине, что она переворачивает сами законы природы и даже более жестока, чем эпидемия. Ибо вместо того, чтобы приводить к выживанию наиболее приспособленных, это приводит к выживанию менее приспособленных: и, следовательно, если затянется, должны деградировать еще не родившиеся поколения. И все же мир, которым мы наслаждаемся сейчас, процветающий, цивилизованный, гуманный, черват, хотя и в меньшей степени, теми же пагубными последствиями.

Во-первых, десятки тысяч — Кто же этого не знает?—ведут сидячий и нездоровый образ жизни, сутулые, страдающие удушьем, действующие как малую часть своего тела, так и свой разум. И все это в жилищах, мастерских, в чем только нет?—влияния, сама атмосфера которых ведет не

к здоровью, а к нездоровью, а также к пьянству как утешению при чувстве нездоровья и депрессии. И что такая жизнь должна отразиться на их потомстве, и если их потомство вырастет в подобных обстоятельствах, то и на потомстве их потомства, пока целая популяция не может окончательно деградировать, кто не знает? Ибо кто, прогуливаясь по закоулкам какого-нибудь великого города, этого не видит? Более того, и это одна из самых страшных проблем, с которыми приходится сталкиваться современной цивилизации, — мы вмешиваемся в естественный отбор своей добросовестной заботой о жизни, так же верно, как и сама война. Если война убивает наиболее пригодных для жизни, мы оставляем в живых тех, кто — если смотреть на них с чисто физической точки зрения — наиболее пригоден для смерти. Все, что облегчает жизнь; каждая санаторная реформа, предотвращение эпидемий, медицинские открытия, улучшение климата, осушение почвы, благоустройство жилых домов, рабочих домов, тюрем; каждая исправительная школа, каждая больница, каждое средство от пьянства, короче говоря, каждое влияние, которое, как мне сказали, увеличило среднюю продолжительность жизни на этих островах почти на треть с момента первого учреждения страхования жизни сто пятьдесят лет назад; каждое влияние такого рода, говорю я, спасает жизнь людям, которые в противном случае умерли бы; и подавляющее большинство из них будут, даже в хирургических и заимозных случаях, теми, кто обладает наименьшей сопротивляемостью; таким образом, они сохраняются, чтобы со временем произвести еще менее сильное потомство.

Говорю ли я, что мы не должны спасать этих людей, если можем? Боже упаси. Слабый, больной, будь то младенец или взрослый, находится здесь, на земле; гражданин Великобритании; несет ответственность за свою слабость не больше, чем за собственное существование. Общество, то есть, проще говоря, мы и наши предки, ответственны и за то, и за другое; и мы должны выполнить свой долг и сохранить его в жизни; и, если сможем, исцелить, укрепить, развить его до предела; и извлечь максимум пользы из того, что “судьба и наши собственные заслуги” дали нам для решения проблем. Я уже не говорю о более высоких мотивах; мотивах, которые для каждого служителя религии должны быть первостепенными и ужасными. Я говорю просто о физических и социальных мотивах, таких как обращение к совести каждого человека — инстинкту, который побуждает каждого мужчину или женщину с человеческим сердцем спасать жизнь, облегчать боль, подобно Тому, Кто заставляет Свое солнце светить злым и добрым, а Свой дождь проливать на праведных и неправедных.

Но очевидно, что при этом мы должны год за годом сохранять большой процент слабых людей, которые, вступая в свободные браки в своем собственном классе, должны производить на свет все более слабых детей, а они становятся все более слабыми детьми. Должен, я разве не сказал? Есть те, кто придерживается мнения — и я, после наблюдения и сравнения историй многих семей, более того, каждой, с кем я общался на протяжении вот уже тридцати пяти лет, в городе и деревне, могу только опасаться, что их мнение слишком хорошо основано на фактах, — что в подавляющем большинстве случаев, во всех классах общества, дети не равны своим родителям, а они, опять же, своим бабушкам и дедушкам начала века; и что этот деградирующий процесс происходит наиболее уверенно и наиболее быстро в наших больших городах и пропорционально численности населения. древность этих городов, а следовательно, и пропорциональность числу поколений, в течение которых действовало деградирующее влияние.

С течением лет изучающие человеческое общество люди все глубже ощущают эту и связанные с ней опасности. Чтобы отвести их, теория за теорией излагались на бумаге, особенно во

Франции, которые заслуживают высокой похвалы за свою изобретательность, в меньшей степени за свою мораль и, боюсь, еще меньше за свой здравый смысл. Ибо теоретик, замкнутый в себе, наверняка проигнорирует, как неудобный для построения своей Утопии, некоторые из тех широких фактов человеческой природы, с которыми каждый действующий приходской священник, медик или опекун бедных вынужден сталкиваться каждый день своей жизни.

Общество и природа британского человека таковы, какими они стали под косвенным влиянием долгих веков, и мы можем реконструировать одно не больше, чем изменить другое. Мы можем исправить людей с помощью теорий не больше, чем с помощью принуждения, на которое, кстати, почти все эти теоретики с тоской смотрят как на свою последнюю надежду и опору. Мы должны научить людей исправлять свои дела самостоятельно, по собственному разумению и по собственной воле. Мы должны научить их, что они сами вершат свои судьбы и, в ужасающей степени, судьбы своих детей после них. Мы должны научить их не только тому, что они должны быть свободны, но и тому, что они свободны, знают они это или нет, как для добра, так и для зла. И мы должны сделать это в данном случае, обучая их здоровой практической науке - физиологии применительно к здоровью. Так, и только так, мы можем остановить — я не говорю полностью остановить, — хотя я верю, что даже это в идеале возможно; но, по крайней мере, остановить процесс деградации, который, как я полагаю, несомненно продолжается не только на этих островах, но и в каждой цивилизованной стране мира, пропорционально ее цивилизации.

Все еще остается вопросом, полностью ли наука открыла те законы наследственного здоровья, пренебрежение которыми приводит к стольким бракам, губительным для еще не родившихся поколений. Но за последние несколько лет на эту самую загадочную и самую важную тему было пролито много ценного света. Этот свет — и я благодарю Бога за это — быстро расширяется и углубляется. И я не сомневаюсь, что еще через одно-два поколения будет известно достаточно, чтобы принять форму практических и доказуемых правил; и что если не общественное мнение, то, по крайней мере, что гораздо полезнее, широко распространенное частное мнение, особенно среди образованных женщин, которое предотвратит многие трагедии и спасет множество жизней.

Но что касается законов личного здоровья, то уже известно достаточно, и более чем достаточно, чтобы их можно было безопасно и легко применять любыми взрослыми, какими бы необразованными они ни были, для сохранения не только их собственного здоровья, но и здоровья их детей.

Ценность здорового жилья, личной чистоты, чистого воздуха и чистой воды, различных видов пищи, в зависимости от того, какой из них способствует образованию костей, жира или мышц, при условии, что пища должна быть чистой; ценность различных видов одежды и физических упражнений, свободного и равномерного развития умственных способностей, без чрезмерного перенапряжения в каком—либо одном направлении; одним словом, метод создания, насколько это возможно, ментем санам в теле сано, и чудесные и благословенные последствия такого подчинения этим законам. о природе, которые являются не чем иным, как доброй волей Бога, выраженной в фактах, — об их чудесной и благословенной тенденции, я говорю, устранять микробы наследственных заболеваний и фактически восстанавливать человеческий организм, - все это известно; известно настолько полно и ясно, насколько это необходимо любому

человеческому знанию; об этом написано в десятках популярных книг и брошюр. И почему этот божественный голос, взывающий к человеку, склонному впадать в изнеженное варварство из-за его собственной поспешной и пристрастной цивилизации: “Еще не слишком поздно. Для ваших тел, как и для вашего духа, есть путь как вверх, так и вниз. Вы, или если не вы, то, по крайней мере, дети, которых вы произвели на свет, для которых вы трудитесь, для которых вы копите, за которых вы молитесь, за которых вы отдали бы свои жизни, — они все еще могут быть здоровыми, сильными, это может быть красиво, и обладать всеми интеллектуальными и социальными, а также физическими преимуществами, которые дают здоровье, сила и красота”. — Ах, почему этот божественный голос сейчас, как в древности, Мудрость вопиет на улицах, и никто не обращает на нее внимания? Я обращаюсь к женщинам, которые посвящены, как мы, мужчины, никогда не сможем, в суровые тайны боли, печали и самопожертвования; - к тем, кто рождает детей, плачет над детьми, служит детям, и, если у них нет своих, тогда служит, со святым инстинктом бесполой пчелы, детям других — Пусть они скажут, так ли это будет?

Пусть мои читатели простят меня, если я, кажется, пишу слишком серьезно. То, что я говорю не больше и не меньше правды, прекрасно известно каждому врачу. Не только как очень скромный изучающий физиологию, но и как приходской священник с тридцатилетним стажем, я видел так много ненужных страданий; и я видел в других случаях, как подобных страданий так просто избежать; что ощущение обширности зла усиливается моим ощущением легкости излечения.

Почему же тогда — переходя к практическим предложениям — не следует открыть в каждом крупном городе этих стран государственную школу здравоохранения? Это могло бы быть связано с каким-нибудь существующим образовательным учреждением — я считаю, что оно должно стать неотъемлемой частью - какого-нибудь существующего учебного заведения. Но он должен, по крайней мере, читать практические лекции за достаточно небольшую плату, чтобы они были доступны любому уважаемому мужчине или женщине, какими бы бедными они ни были. Я не могу не надеяться, что подобные медицинские школы, если их открыть в крупных промышленных городах Англии и Шотландии и, более того, в таком ирландском городке, как Белфаст, наберут множество учеников, причем учеников, которые извлекут пользу из того, что услышат. Жители этих городов, в большинстве своем, специально приучены в своих профессиях к применению научных законов. Поэтому для них применение каких-либо новых физических законов к новому набору фактов не имело бы в себе ничего странного. У них уже есть что-то от той индуктивной привычки ума, которая является основой всякого рационального понимания или действия. Они не стали бы отворачивать глухое и презрительное ухо, с которым дикари и суеверные принимают откровения тайн природы. Почему бы при такой обнадеживающей аудитории не опробовать эксперимент по чтению лекций о здоровье повсюду в дополнение к лекциям по физиологии животных, которые, я рад сообщить, становятся все более и более распространенными? Почему бы не научить людей — их уже учат в Бирмингеме — чему-нибудь о тканях тела, их структуре и использовании, циркуляции крови, дыхании, химических изменениях во вдыхаемом воздухе, количестве вдыхаемого воздуха, пищеварении, природе пищи, всасывании, секреции, структуре нервной системы, — фактически, научить чему-нибудь о том, как устроены их собственные тела и как они работают? Обучение такого рода должно и будет в какой-нибудь более цивилизованной эпохе и стране считаться необходимым элементом школьного курса каждого ребенка, таким же необходимым, как чтение, письмо и арифметика; ибо это, в конце концов, самая необходимая отрасль того

“технического образования”, о котором мы сейчас так много слышим, а именно техника, или искусство, поддержания собственной жизни и благополучия.

Но вряд ли мы можем останавливаться на достигнутом. После того, как мы рассказали о состоянии здоровья, мы должны рассказать также о состоянии болезней; особенно о тех болезнях, которые имеют тенденцию полностью ухудшать здоровье горожан, вынужденных вести искусственный образ жизни. Несомненно, молодых мужчин и женщин следует чему-то научить о причинах зимоза, золотухи, чахотки, рахита, дипсомании, церебральных расстройств и тому подобного. Им следует показать практическую ценность чистого воздуха, чистой воды, непорочной пищи, сладких и сухих жилищ. Есть ли среди них кто-нибудь, мужчина или женщина, кто не был бы в большей безопасности, счастливее и полезнее для своих соседей, если бы они приобрели какие-то здравые представления о тех вопросах дренажа, от которых может каждый день зависеть их собственная жизнь и жизнь их детей? Я говорю — женщины, так же как и мужчины. Мне следовало бы сказать женщины, а не мужчины. Ведь именно женщины ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей; женщины, которые остаются дома, пока мужчины в отъезде, это может быть на другом конце земли.

И если кто-нибудь скажет, как они имеют право сказать— “Но это предметы, которые вряд ли можно преподавать молодым женщинам на публичных лекциях”; Я отвечаю: Конечно, нет, если только их не учат женщины, — женщины, конечно, должным образом образованные и юридически квалифицированные. Пусть такие учат женщин тому, что должна знать каждая женщина, и тому, что ее родители будут весьма обоснованно возражать, если она услышит почти от любого мужчины. Это одна из главных причин, по которой я вот уже двадцать лет выступаю за подготовку женщин к медицинской профессии; и она, на мой взгляд, нейтрализует все возможные возражения против такого движения. И теперь, слава Богу, я вижу, как здравый смысл Великобритании, да и вообще любой цивилизованной нации, постепенно возвращается к тому, что казалось мне, когда я впервые задумался об этом, мечтой, слишком химеричной, чтобы лелеять ее иначе, как втайне, — возвращению женщине ее естественной доли в той священной должности целительницы, которую она занимала в средние века и с которой ее изгнали в шестнадцатом веке.

Я очень рад видеть, например, что Национальное общество здравоохранения,{15} которое я искренне рекомендую вниманию моих читателей, объявляет “Курс лекций мисс Чессар по элементарной физиологии и гигиене для женщин”, на который я также очень рад видеть, что гувернантки принимаются за половинную плату. Увы! я, например, слишком хорошо знаю, сколько несчастий, болезней и даже смертей можно было бы предотвратить, если бы гувернанток обучали подобным вещам тридцать лет назад. Пусть поскорее настанет день, когда образованных женщин будет достаточно, чтобы читать такие лекции по всем этим королевствам, как богатым, так и бедным, — ибо богатые, как ни странно, нуждаются в них часто не меньше, чем бедные, — и чтобы мы могли дожить до того, чтобы увидеть, как в каждом большом городе проводятся занятия по охране здоровья как для женщин, так и для мужчин, посылая год от года все больше молодых женщин и юношей, обученных не только заботиться о себе и своих семьях, но и оказывать моральное влияние на своих сограждан, как чемпионов в борьбе с грязью и пьянством, болезнями и смертью.

Возможно, найдутся те, кто ответил бы — или, скорее, наверняка нашлись бы те, кто ответил бы так тридцать лет назад, до того, как так называемый материализм передовой науки научил нас

некоторым практическим премудростям образования и напомнил людям, что у них есть тело, а также разум и душа— “Вы говорите, что мы, вероятно, станем слабее, нездоровее. И если бы это было так, какая разница? Человека создает разум, а не тело. Мы не хотим, чтобы наши дети были глупыми великанами и бравыми; но умными, способными, высокообразованными, какими бы слабыми ни были Провидение или законы природы, возможно, создавшие их. Пусть они немного перенапрягут свои мозги; пусть они сжимают грудь и вредят пищеварению и зрению, сидя за партами и углубляясь в книги. Интеллект - это то, чего мы хотим. Интеллект делает деньги. Интеллект создает мир. Мы предпочли бы видеть нашего сына гением, а не спортсменом”. Что ж: и я бы тоже. Но что, если один только интеллект даже не приносит денег, за исключением того, что господина "Додсон и Фогг", Сэмпсон Брасс и Монтегю Тигг обычно добивались успеха, если за ними не стояли способные, выносливые, здорового телосложения, какие я почти без исключения наблюдал у тех преуспевающих бизнесменов, с которыми я имел честь и удовольствие быть знакомым? Что, если интеллект, или то, что сейчас называется интеллектом, не создавал мир, ни малейшего его колеса или шестеренки? Что, если из-за нежелания подчиняться законам природы родители вырастили не гения и не спортсмена, а всего лишь неспособного несчастного человека с огромным прямым лбом, как у византийского грека, набитым какой-то мазью вместо мозгов, и склонного попеременно к фанатизму и крепким напиткам? В подавляющем большинстве случаев мы должны иметь *corpus sanum*, если хотим *mentem sanam*; а здоровые тела - единственные надежные органы для здорового разума. Что является причиной, а что следствием, я не буду здесь останавливаться на обсуждении. Но везде, где мы находим население в целом слабым, низкорослым, золотушным, мы обнаруживаем у них соответствующий тип мозга, которому нельзя доверять в выполнении хорошей работы; который в большей или меньшей степени способен на безумие, будь то одиночное или эпидемическое. Оно может быть очень активным; оно может очень быстро схватывать новые и грандиозные идеи — возможно, еще более быстрым из-за своего собственного тайного *недомогания* и недовольства собой: но оно будет раздражительным, спазматичным, истеричным. Он будет склонен принимать способность говорить за способность действовать, возбуждение за серьезность, злобность за силу и, слишком часто, жестокость за справедливость. Оно потеряет мужскую независимость, индивидуальность, оригинальность; и когда люди будут действовать, они будут действовать из сознания личной слабости, подобно овцам, бросающимся через изгородь, прижимающимся друг к другу, призывающим друг друга быть храбрыми и сбивающимся в толпы. Это были интеллектуальные слабости, которые, как я читал историю, последовали за физической деградацией в императорском Риме, в Александрии, в Византии. Разве мы не видели, как они вновь появились в Париже, в устрашающем обличье, всего лишь на днях?

Я не обвиняю, я не сужу. Моя теория, которой я придерживаюсь и буду придерживаться как справедливо основанной на широкой индукции, запрещает мне обвинять и судить, потому что она говорит мне, что эти дефекты в основном физические; что тех, кто их проявляет, в основном следует жалеть как жертв грехов или невежества их предков. Но это также говорит мне о том, что те, кто, называя себя образованными людьми и, следовательно, обязанными знать лучше, относятся к этим физическим явлениям как к духовным, здоровым и достойным похвалы; кто даже выводит их из себя, чтобы нажить капитал на слабостях падших людей, являются самыми презренными и в то же время самыми опасными врагами общества, пусть они прикрывают свое шарлатанство любыми патриотическими, научными или даже священными словами.

Есть еще честные, добрые, разумные, практичные люди, их много; люди, которых я не хочу обидеть; которых я скорее попросил бы научить меня чему-то из их собственного опыта и здравого смысла, которые научились различать, подобно хорошим государственным деятелям, не только то, что должно быть сделано, но и то, что можно сделать, — есть те, говорю я, кто предпочел бы оставить этот вопрос в покое. Насколько я могу это проанализировать, они, по-видимому, считают, что зло, на которое я жаловался, в целом неизбежно; или, если нет, то мы можем исправить очень немногое из них, и разумнее всего вообще оставить их в покое, иначе, как в некоторых сточных канавах, “чем больше вы их ворошите, тем сильнее они воняют”. Они боятся, как бы мы не выбили из колеи умы многих, для кого это зло никогда не будет исправлено; как бы мы не сделали их недовольными; недовольными своими домами, своими занятиями, своей едой, всем своим социальным устройством; и все напрасно.

Я должен ответить со всей вежливостью и смирением — ибо я глубоко сочувствую таким мужчинам и женщинам и также глубоко уважаю их, — Но разве люди уже не недовольны, от низших до высших? И должен ли человек в таком разрозненном, глупом, жадном, грешном мире, каким является и всегда был этот мир, быть кем угодно, только не недовольным? Если он думает, что все идет хорошо, разве у него не должно быть самого убогого представления о том, что значит идти правильно? И если дела идут не так, как надо, разве не хорошо для него видеть, что они идут не так, как надо? Могут ли правда и факты навредить какому-либо человеку? Я не буду верить в это, пока у меня есть Библия, в которую я могу верить. Со своей стороны, я хотел бы, чтобы каждый мужчина, женщина и ребенок, которых я встречаю, были недовольны собой, так же как я недоволен собой. Я хотел бы пробудить в них, в их физическом, интеллектуальном, моральном состоянии, то божественное недовольство, которое является причиной сначала стремления вверх, а затем самоконтроля, мысли, усилия хотя бы частично реализовать это стремление. Ибо быть недовольным божественным недовольством и стыдиться благородного стыда - это самый зародыш и первый рост всякой добродетели. Сначала мужчины начинают, как начинают мальчики, когда они ворчат на свою школу и своих школьных учителей, перекладывая вину на других; быть недовольными своими обстоятельствами — тем, что их окружает; и плакать: “О, если бы у меня это было!” “О, если бы у меня это было!” Но таким образом избавления не будет. Это недовольство выливается только в бунт и непокорность, социальную или политическую; и это, опять же, все в том же преклонении перед обстоятельствами — но на этот раз отчаянными, — которое заканчивается, пусть это маскируется под какими угодно красивыми названиями, тем, что древние греки называли тиранией; в которой — как в испанских республиках Америки, так и во Франции нераз — все стали добровольными рабами одного человека, потому что каждый человек воображает, что один человек может улучшить его положение за него.

Но мудрый человек научится, подобно героическому рабу Эпиктету, рабу Эпафродита, приспешника Нерона — а в каких более низких и уродливых обстоятельствах мог оказаться человек? — постигать секрет истинной свободы, а именно: не быть недовольным ни одним человеком и ни одной вещью, кроме самого себя. Сказать не “О, если бы у меня было то-то и то-то!”, а “О, если бы я был тем-то и тем-то!” Затем, с Божьей помощью — и этот героический раб, каким бы язычником он ни был, поверил в Божью помощь — “Я стану тем, кем, как показал мне Бог, я должен быть и могу быть”.

Десять тысяч в год или десять миллионов в год, как прекрасно понимал Эпиктет, не могут исправить того вульгарного недовольства обстоятельствами, которое он испытывал — и у кого

было на это больше прав? — и побеждал, и презирал. Ибо это недовольство детей, которые всегда хотят больше праздников и больше сладостей. Но я хочу, чтобы мои читатели знали о недовольстве мужчин и женщин и лелеяли его.

Поэтому я хотел бы вызвать у мужчин и женщин недовольство, божественное и благотворное недовольство своим собственным физическим состоянием и состоянием своих детей. Я бы приучил их взоры к этим драгоценным семейным реликвиям человеческой расы, статуям древних греков; к их нежному величию, их целомудренному здоровью, их бессознательной, потому что совершенной, мощи; и сказал бы: Вот, это знаки для вас и для всех еще не родившихся поколений того, кем человек мог быть когда-то; того, кем он может стать снова, если будет повиноваться тем законам природы, которые являются гласом Божиим. Я бы сделал так, чтобы они были недовольны уродством и теснотой своих жилищ; я бы сделал так, чтобы мужчины были недовольны модой своей одежды, а еще больше сейчас женщины всех рангов — своей модой; и всем, что их окружает, что они в силах улучшить, если это вообще некрасиво, излишне, безвкусно, нелепо, нездорово. Я бы вызвал у них недовольство тем, что они называют своим образованием, и сказал бы им: "Вы называете три королевских буквы "Р" образованием?" Это не образование: больше нет тех знаний, которые позволили бы вам получить высшие награды, присуждаемые Обществом искусств или любой другой организацией. Это не образование: это всего лишь наставления; необходимая основа в такой век, как наш, для практического использования вашего образования, но не само образование.

А если бы они спросили меня, что же тогда означает образование? Сначала, я думаю, я должен указать им на "Euphues" благородного старика Лилли, написанные триста лет назад, и попросить их подумать о том, что там говорится об образовании, и особенно об этом отрывке, касающемся того простого знания, которое в наши дни странно ошибочно называют образованием. "В природе человека есть два главных и особенных дара, знание и разум. Один", то есть разум, "повелевает, а другой" — то есть знание, "повинуется". Эти вещи не может изменить ни вращающееся колесо фортуны, ни лживые придирки мирских людей, ни болезни не ослабевают, ни возраст не уничтожает". И затем я должен указать им на те страницы в "Ювентус Мунди" м-ра Гладстона, где он описывает идеальное воспитание греческого юноши во времена Гомера; и сказать: "Вот образование, достойное по-настоящему цивилизованного человека, даже если он никогда в жизни не читал книги; полное, пропорциональное, гармоничное воспитание — то есть выявление и развитие — всех способностей его тела, ума и сердца, пока он не станет одновременно почтительным, но уверенным в себе, изящным и в то же время доблестным, способным и в то же время красноречивый персонаж.

И если кто-нибудь скажет мне: "Но какое это имеет отношение к науке? Греки Гомера не знали науки"; Я должен был бы возразить — но они обладали, превосходя все древние расы, которые мы знаем, научным инстинктом; способностью к обучению и скромностью; ясным зрением и чутким слухом; искренним почтением к фактам и природе, к человеческому телу, разуму и духу; одним словом, к человеческой природе во всей ее полноте, как к высшему факту на этой земле. Поэтому в последующие годы они стали не только великими колонизаторами и цивилизаторами старого света — я считаю, самыми практичными людьми, которых когда-либо видел мир; но и родителями всей здоровой физики, а также всей здоровой метафизики. Сама их религия, несмотря на ее несовершенство, способствовала развитию их образования, но не вопреки, а посредством того антропоморфизма, который мы иногда слишком поспешно осуждаем. Как говорит м-р Гладстон в отрывке, который я должен подробно процитировать — "Что касается

всех других функций нашей природы, за пределами сферы жизни, направленной к Богу, — всех тех функций, которые суммируются в том, что святой Павел называет плотью и разумом, психической и телесной жизнью, - то тенденция системы заключалась в превознесении человеческого элемента, предлагая образец красоты, силы и мудрости во всех их сочетаниях, настолько возвышенных, что усилия по их достижению требовали постоянного напряжения. Она сделала божественность достижимой; и таким образом она эффективно направляла мысли и цели человека

"По линии безграничных желаний".

Такая схема религии, хотя и терпела серьезные неудачи в управлении страстями и в поддержании стандарта моральных обязанностей, имела мощную тенденцию к формированию высокого самоуважения и широкого, свободного и разнообразного представления о человечестве. Это включило себя в схемы заметной дисциплины для ума и тела, фактически образования на протяжении всей жизни; и эти привычки мышления и действия имели свои заметные результаты (если не считать многих других величий) в философии, литературе и искусстве, которые по сей день остаются непревзойденными ”.

Так много эти древние греки сделали для своего собственного образования, без науки и без христианства. Мы, у кого есть и то, и другое: чего бы мы не сделали, если бы были верны своим преимуществам и самим себе?

ДВА ВДОХА. ЛЕКЦИЯ, ПРОЧИТАННАЯ В ВИНЧЕСТЕРЕ 31 мая 1869 года.

Дамы, — Я удостоен второго приглашения выступить перед вами здесь от дамы, чьему общественному настрою обязаны эти лекции. Я не смею отказаться от этого, потому что это дает мне возможность поговорить по вопросу, знание или незнание которого может серьезно повлиять на ваше здоровье и счастье, а также на детей, с которыми вам, возможно, придется иметь дело. Я должен извиниться, если говорю много вещей, которые хорошо известны многим присутствующим в этом зале: они должны быть хорошо известны всем; и, как правило, лучше всего предположить полное невежество своих слушателей и начать с самого начала.

Я постараюсь быть как можно более простым; как можно меньше беспокоить вас научными терминами; быть практичным; и в то же время, по возможности, интересным.

Я бы хотел назвать эту лекцию “Два дыхания”, а не просто “Дыхание”, и по этой причине: каждый раз, когда вы дышите, вы делаете два разных вдоха; вы вдыхаете один, выдыхаете другой. Состав этих двух вдохов различен. Их эффекты различны. Дыхание, которое было выдохнуто, нельзя вдыхать снова. Объяснять вам, почему это не должно приводить меня к анатомическим подробностям, которые здесь пока не совсем уместны: хотя, я надеюсь, настанет день, когда от каждой женщины, которой доверен уход за детьми, будут ожидать, что она что-то о них будет знать. Но вот что я могу сказать— те, кто обычно вдыхает свежий воздух, вероятно, вырастут крупными, сильными, румяными, жизнерадостными, активными, с ясной головой, пригодными для своей работы. Те, кто обычно вдыхает воздух, который был выдохнут ими самими или любым другим живым существом, несомненно, вырастут, если они вообще вырастут, маленькими, слабыми, бледными, нервными, подавленными, непригодными к работе, с постоянным искушением прибегать к стимуляторам и станут пьяницами.

Если вы хотите увидеть, насколько выдыхаемый воздух отличается от вдоха, вам нужно всего лишь провести несколько жестокий эксперимент, но такой, который люди слишком часто испытывают на себе, своих детях и своих работниках. Если вы возьмете любое маленькое животное с легкими, подобными вашим, — например, мышь — и заставите его дышать только тем воздухом, которым вы уже дышали; если вы поместите его в закрытый ящик и, вдыхая наружный воздух, будете выпускать его через трубку в этот ящик, животное вскоре потеряет сознание; если вы будете долго продолжать этот процесс, оно умрет.

Возьмем второй пример, на который я прошу самым серьезным образом обратить внимание матерей, гувернанток и нянек: если вы позволите ребенку приобрести привычку спать с головой под одеялом и, таким образом, дышать своим собственным дыханием снова и снова, этот ребенок, несомненно, вырастет бледным, слабым и больным. У медиков зарегистрированы случаи появления золотухи у ранее здоровых детей, которые могли быть объяснены только этой привычкой и которые прекратились, когда эта привычка прекратилась. Позвольте мне еще раз обратить ваше внимание на этот несомненный факт.

Возьмем другой пример, который слишком распространен: если вы находитесь в переполненной комнате, где много огня и компании, все двери и окна плотно закрыты, как часто вы чувствуете слабость — такую слабость, что вам может потребоваться нюхательная соль или какой-нибудь другой стимулятор. Причина вашей слабости точно такая же, как и причины обморока мыши в коробке: вы и ваши друзья, а также, как я вам сейчас покажу, огонь и свечи, все дышали дыханием друг друга снова и снова, пока воздух не стал непригоден для поддержания жизни. Вы делаете все возможное, чтобы снова разыграть трагедию Хайленда, о которой сэр Джеймс Симпсон рассказывает в своих лекциях для рабочих Эдинбурга, когда на рождественском собрании тридцать шесть человек танцевали всю ночь в маленькой комнате с низким потолком, держа двери и окна закрытыми. Атмосфера в комнате была неопишимо ядовитой, и в результате семеро из группы вскоре заболели сыпным тифом, от которого двое умерли. Вы подвергаете себя мучениям бедной собаки, которую держат в Грот—дель-Кане, близ Неаполя, чтобы она была одурманена, на потеху посетителям, углекислым газом Грота и снова ожила, когда ее вытаскивают на свежий воздух; более того, вы подвергаете себя мучениям знаменитой Калькуттской Черной дыры; и если бы в комнате не было дымохода, через который поступало бы немного свежего воздуха, свечи вскоре горели бы синим — как это бывает, вы знаете, когда появляются призраки; ваши мозги помутились; и вы сами рискуете превратиться в призраков, а свечи действительно погаснуть.

В этом последнем факте нет никаких сомнений, потому что, если вместо того, чтобы положить мышь в коробку, вы поставите зажженную свечу и подышите в трубку, как раньше, как бы осторожно вы это ни делали, вы через короткое время погасите свечу.

Итак, как это происходит? Во-первых, в чем разница между вдохом, который вы делаете, и выдохом, который вы выдыхаете? И далее, почему это оказывает аналогичное воздействие на жизнь животных и на зажженную свечу?

Разница вот в чем. Вдыхаемый вами воздух является или должен быть чистым воздухом, состоящим в целом из кислорода и азота с незначительной долей углекислоты.

Дыхание, которое вы выдыхаете, — это нечистый воздух, к которому, среди прочих веществ, не поддерживающих жизнь, добавился избыток углекислоты.

Что это именно тот факт, вы можете доказать сами с помощью простого эксперимента.

Возьмите в аптеке немного лаймовой воды и подышите в нее через стеклянную трубочку; ваше дыхание сразу же сделает лаймовую воду молочной. Углекислота вашего дыхания задержала известь и сделала ее видимой в виде белого карбоната извести - проще говоря, в виде обычного мела.

Теперь, как я уже сказал, я не хочу нагружать вашу память научными терминами, но я умоляю вас запомнить по крайней мере эти два — газообразный кислород и газообразную углекислоту; и помнить, что так же верно, как кислород питает огонь жизни, так же верно и то, что углекислота его тушит.

Я говорю: “огонь жизни”. В этом выражении содержится ответ на наш второй вопрос: почему наше дыхание производит одинаковый эффект на мышь и на зажженную свечу? Каждый из нас - это, так сказать, живой огонь. Если бы не мы, как могли бы мы всегда быть теплее, чем воздух снаружи нас? В каждом из нас постоянно происходит процесс, подобный тому, при котором сгорают угли в костре, масло в лампе, воск в свече и сама земля в вулкане. Чтобы поддерживать огонь в каждом из этих очагов, необходим кислород; и продукты горения, как их называют, в каждом случае более или менее одинаковы — углекислота и водяной пар.

Эти факты оправдывают выражение, которое я только что употребил — которое, возможно, кому-то из вас показалось фантастическим, — что огонь и свечи в переполненной комнате дышали тем же дыханием, что и вы. Это слишком верно. Средний огонь в камине требует для поддержания своего горения столько кислорода, сколько требуется нескольким человеческим существам; каждая свеча или лампа также должны получать свою долю кислорода, и очень значительную; а средняя газовая горелка — прошу вас, обратите на это внимание, вы, живущие в комнатах, освещенных газом, — потребляет столько кислорода, сколько несколько свечей. Все они одинаково производят углекислоту. Углекислота огня благополучно улетучивается через дымоход вместе с дымом, но углекислота людей и свечей остается отравлять помещение, если его не проветривать.

Теперь, я думаю, вы можете понять один из самых простых и в то же время самых ужасных случаев отсутствия вентиляции — смерть от паров древесного угля. Человек, запертый в комнате, в которой заделаны все щели, с кастрюлей горящих углей, засыпает, чтобы никогда больше не проснуться. Его внутренний огонь конкурирует с огнем древесного угля за кислород в комнате; оба они производят из него углекислоту; но древесный уголь, будучи более сильным из двух, забирает весь кислород себе и не оставляет человеку ничего для вдыхания, кроме углекислоты, которую он произвел. Человек, будучи слабее, умирает первым, но уголь умирает тоже. Когда он израсходует весь кислород в комнате, он остывает, гаснет, и утром его находят наполовину съеденным рядом со своей жертвой. Я полагаю, что если бы вы поместили в эту комнату великана или слона вместо человека, то на какое-то время ситуация была бы обратной: слон потушил бы горящий уголь углекислотой из своих могучих легких; а затем, когда он израсходовал весь воздух в комнате, тоже умер бы от своей собственной углекислоты.

* * * * *

Теперь, я думаю, мы можем понять, что такое вентиляция и зачем она нужна.

Вентиляция означает просто выпускать загрязненный воздух и впускать свежий; выпускать воздух, которым дышали люди или свечи, и впускать воздух, которым не дышали. Чтобы понять,

как это сделать, мы должны вспомнить простейший химический закон, согласно которому газ при нагревании расширяется и, следовательно, становится легче; при охлаждении он сжимается и становится тяжелее.

Итак, углекислота в дыхании, которое выходит у нас изо рта, теплая, легче воздуха и поднимается к потолку; и поэтому в любом непроветриваемом помещении, полном людей, вдоль потолка образуется слой зловонного воздуха. Вы могли бы вскоре убедиться в этом на себе, если бы могли взобраться на лестницу и высунуть оттуда головы. Вы сами убедитесь в этом, когда будете сидеть на галереях церквей и театров, где воздух ощутимо более зловонный и, следовательно, более вредный, чем внизу.

Там, где, опять же, рабочие заняты в переполненных многоэтажных домах, здоровье тех, кто работает на верхних этажах, всегда страдает больше всего.

В старом обезьяннике Зоологического сада, когда клетки стояли по старой схеме, ярус за ярусом, бедняги на самом верхнем ярусе — так мне говорили — всегда умирали первыми от врожденной болезни обезьян - чахотки, просто от теплого дыхания их друзей внизу. Но с тех пор, как клетки были изменены и установлены бок о бок сверху донизу, потребление — как я понимаю — среди них значительно сократилось.

Следовательно, первый вопрос при вентиляции - безопасно вывести эту углекислоту из помещения, пока в нем тепло, светло и близко к потолку; ибо в противном случае это произойдет — углекислый газ остынет и станет тяжелее; ведь углекислота при той же температуре, что и обычный воздух, настолько тяжелее обычного воздуха, что вы действительно можете — если будете достаточно ловки — переливать ее из одного сосуда в другой и вылить вашему врагу стакан невидимого яда. Таким образом, эта тяжелая углекислота стекает на пол и стелется по нему, точно так же, как она часто стелется по дну старых колодцев или старых пивоваренных чанов, в виде слоя яда, иногда убивая людей, которые спускаются в него. Следовательно, самая глупая практика, насколько я знаю, - это спать на полу, потому что ближе к рассвету, когда в комнате становится холодно, спящий на полу дышит углекислотой.

И здесь несколько слов тем дамам, которые интересуются бедняками. Бедняки слишком склонны в трудные времена закладывать свои кровати и сохранять их за собой. Никогда, если у вас есть влияние, не позволяйте этому случиться. Сохраняйте спинку кровати, что бы ни случилось, чтобы уберечь спящего от углекислоты на полу.

Как же тогда нам избавиться от зловонного воздуха в верхней части комнаты? После всего, что было написано и опробовано о вентиляции, я не знаю более простого метода, чем установить в дымоход один из вентиляторов Арнотта, который можно купить и починить за несколько шиллингов; всегда помните, что он должен быть установлен в дымоходе как можно ближе к потолку. Я могу рассказать об этих аппаратах искусственной вентиляции легких' основываясь на двадцатипятилетнем опыте работы. Живя в доме с низкими потолками, подверженном перегреву углекислотой, вызывающей сонливость по вечерам, я обнаружил, что эти вентиляторы сохраняют воздух свежим и чистым; и я считаю наличие одного из этих вентиляторов в комнате более ценным, чем увеличение высоты потолка на три или четыре фута. Я также обнаружил, что их работа доказывает, насколько они необходимы, исходя из этого простого факта: — Можно было бы предположить, что, поскольку вентилятор свободно выходит в дымоход, дымбудет уноситься через него вниз при сильном ветре и почернеет потолок; но

этого как раз и не происходит. Если вентилятор вообще установлен должным образом, чтобы закрываться при сильном порыве ветра, то во все остальные моменты он будет оставаться постоянно открытым, доказывая тем самым, что с потолка в дымоход постоянно поступает нагретый воздух. Другой очень простой метод вентиляции используется в тех превосходных коттеджах, которые Ее Величество построила для своих работников вокруг Виндзора. Над каждой дверью закреплен лист перфорированного цинка площадью около 18 квадратных дюймов, позволяющий загрязненному воздуху выходить в коридор; а в потолке коридора - аналогичный лист цинка, позволяющий ему выходить на крышу. Свежий воздух, тем временем, следует получать снаружи, проветривая окна или иным способом. И здесь позвольте мне дать один совет всем строителям домов. По возможности, окна спальни должны открываться как вверх, так и вниз.

Позвольте мне убедить в необходимости использования некоторых подобных приспособлений не только родителей и педагогов, но и тех, кто нанимает рабочих, и прежде всего тех, кто нанимает молодых женщин в магазины или мастерские. Каково их положение в этом городе, я не знаю; но больше всего мне было в других местах, когда я проходил мимо складов или мастерских, видеть бледные, промокшие и, как сказали бы французы, "этиолированные" лица девушек, проводивших в них большую часть дня; и больно также вдыхать атмосферу, привычка к которой, увы! лишал их сознания, но для человека, вышедшего на свежий воздух, это было совершенно пагубно, а также шокирующе; ибо это сеяло семена смерти не только в настоящем, но и в будущих поколениях.

Почему так должно быть? Каждый согласится, что в больнице необходима хорошая вентиляция, потому что люди не могут выздоравливать без свежего воздуха. Разве они не видят, что по тем же соображениям хорошая вентиляция необходима повсюду, потому что люди не могут чувствовать себя хорошо без свежего воздуха? Позвольте мне умолять тех, кто нанимает женщин в мастерские, если у них нет времени прочесть такие книги, как "Физиология, применяемая к здоровью и образованию" доктора Эндрю Комба и "Практические советы по моральному, умственному и физическому воспитанию девочек" мадам де Валь, приобрести определенные трактаты, опубликованные господами Дж. Джарролд, Патерностер-роу, для Женской санитарной ассоциации; особенно тот, который касается этой темы, "Черная дыра в наших собственных спальнях"; "Школьное руководство по гигиене" доктора Ланкестера; или руководство по вентиляции, опубликованное Столичной ассоциацией трудящихся за улучшение общественного здравоохранения.

Я с нетерпением жду — я говорю это открыто — какого-нибудь периода более высокой цивилизации, когда законы парламента о вентиляции фабрик и мастерских будут в значительной степени расширены и станут гораздо более строгими; когда служащие общественного здравоохранения будут уполномочены обеспечивать вентиляцию каждого помещения, в котором люди работают по найму; и уполномочены также требовать надлежащей системы вентиляции для каждого нового дома, будь то в деревне или в городе. К этому, я полагаю, мы должны прийти; но я гораздо скорее увидел бы, как эти улучшения осуществляются, как подобает гражданам свободной страны, в духе Евангелия, а не Закона; осуществляются не принудительно и из страха штрафов, а добровольно, из чувства долга, чести и человечности. Поэтому я взываю к здравому смыслу всех, кого это может касаться, не являются ли здоровье тех, кого они нанимают, и, следовательно, снабжение свежим воздухом, в

котором они абсолютно нуждаются, вопросами, за которые они не несут большей или меньшей ответственности перед своей страной и своим Богом.

И если какой-нибудь превосходный человек старой школы ответит мне: “Зачем поднимать весь этот шум из-за вентиляции? Наши предки прекрасно обходились без этого” — я должен ответить, что, прошу у них прощения, наши предки не делали ничего подобного. Наши предки обычно очень плохо справлялись с подобными делами, а когда они преуспевали, то только потому, что у них вопреки их воле была хорошая вентиляция.

Первый. Они очень плохо ладили. Приводить несколько замечательных примеров долголетия или говорить мне, что в старые времена люди были в среднем крупнее и сильнее, значит поддаваться старой логике воображения, что дикари были особенно здоровы, потому что те, кого видели, были активны и сильны. Простой ответ заключается в том, что выживали только сильные, в то время как большинство умирало от суровости тренировок. Численность дикарей не увеличивается; и наши предки увеличивались, но очень медленно на протяжении многих веков. Я не собираюсь вызывать у моей аудитории отвращение статистикой болезней, но, зная кое-что, как мне посчастливилось, о социальном состоянии и здравоохранении Среднего и елизаветинского периодов, я без колебаний могу сказать, что средний уровень заболеваемости и смертности тогда был намного выше, чем сейчас. Эпидемии многих видов, тиф, лихорадка, чума — все болезни, которые были вызваны в большей или меньшей степени плохим воздухом, — опустошали эту страну и Европу в те дни с ужасной интенсивностью, по сравнению с которой даже холера нашего времени слаба. Закоулки, больницы, тюрьмы, казармы, лагеря — каждое место, где собиралось сколько-нибудь большое количество людей, было множеством рассадников чумы, порожденной нечистотой, которая в равной степени лишала людей воды для питья и воздуха для дыхания; и как единственный факт, о котором свидетельствуют таблицы страховых компаний, средняя продолжительность человеческой жизни в Англии увеличилась на двадцать пять процентов со времен правления Георга I. Просто благодаря нашему более рациональному и чистоплотному образу жизни.

Но, во-вторых, я сказал, что когда наши предки преуспевали, они делали это потому, что у них была вентиляция вопреки их воле. К счастью для них, их дома были плохо построены; их двери и окна не закрывались. У них тоже были дома с решетчатыми окнами; жить в одном из них, как я могу засвидетельствовать по долгому опыту, так же хорошо проветривается, как жить в фонаре с выломанным рожком. Именно потому, что в их домах было полно сквозняков, и еще больше в раннем средневековье, потому что у них не было стекол и воздух поступал только через ставни на ночь, они искали укрытия, а не свежего воздуха, которого у них иногда было слишком много; и, чтобы спастись от ветра, строили свои дома в дырах, подобных той, в которой стоит старый город Винчестер. Я полагаю, что убежище, а также желание быть поближе к рыбе во время Великого поста и занимать богатые наносные земли долин, заставили монахов Старой Англии выбирать берега рек для размещения своих аббатств. Здесь они допустили ошибку, которая, как и большинство ошибок, не осталась безнаказанной. Эти низменности, особенно когда на окружающих холмах еще были густые леса, были постоянными пристанищами лихорадки, вызываемой тонкими растительными ядами, содержащимися в углекислоте, выделяемой гниющей растительностью. Так что там они снова столкнулись со старым врагом человека — плохим воздухом.

Тем не менее, пока двери и окна не закрывались, сохранялась некоторая циркуляция воздуха. Но теперь наши двери и окна были закрыты слишком плотно. Вместо решеток у нас зеркальное стекло; и мы заменили продуваемый сквозняками и дымком, но действительно полезный открытый дымоход с его широкими углами и оседлостями на узкие регистры и даже на печи. Фактически, мы сделали все, что могли, чтобы герметично отгородиться от внешнего воздуха и дышать своим собственным дыханием снова и снова; и мы расплачиваемся за это тысячью способов, неизвестных нашим предкам, в комнатах которых свистели все ветры небесные и которые были достаточно счастливы укрыться от сквозняков в гостиной у высокой ширмы вокруг камина и в спальне у плотных занавесей кровати с четырьмя столбиками, которые теперь быстро исчезают перед лицом более высокой цивилизации. Поэтому нам абсолютно необходимо создать для себя ту самую вентиляцию, от которой пытались спастись наши предки.

Но, дамы, есть старая и верная пословица, что вы можете подвести лошадь к воде, но вы не можете заставить ее пить. И точно так же это слишком верно, что вы можете вывести людей на свежий воздух, но вы не можете заставить их дышать им. Их собственная глупость или глупость их родителей и воспитателей не позволяет им легким должным образом наполняться и должным образом опорожняться. Следовательно, кровь не насыщается должным образом кислородом, и вся система выходит из строя.

Бледность, слабость, чахотка, золотуха и множество других недугов являются последствиями плохого наполнения легких. Ибо без хорошо наполненных легких крепкое здоровье невозможно.

И если кто—нибудь ответит: “Мы хотим не столько крепкого здоровья, сколько интеллектуальных достижений. Смертное тело, будучи низшим органом, должно воспользоваться своим шансом и даже быть принесено в жертву, если потребуется, высшему органу - бессмертному разуму.” На это я отвечаю, что вы не можете этого сделать. Законы природы, которые являются выражением воли Бога, высмеивают подобные попытки с презрением. Каждый орган тела сформирован из крови; и если кровь испорчена, каждый орган страдает пропорционально своей хрупкости; и мозг, будучи самым деликатным и высокоспециализированным из всех органов, страдает больше всего и быстрее всего, как знает каждый, кто пытался работать своим мозгом, когда его пищеварение было наименее нарушено. Более того, пострадает сама мораль. Из-за плохо наполненных легких, которые означают плохо восстановленную кровь, год за годом возникает не просто количество болезней, но и безрассудство, вспыльчивость, лень, невоздержанность, безумие и, позвольте мне честно сказать вам, преступления, количество которых никогда не будет известно до того великого дня, когда люди будут призваны к ответу за все поступки, совершенные в теле, будь они добрыми или злыми.

По этому вопросу я должен снова отсылать вас к “Физиологии” Эндрю Комба, особенно к главам iv и vii, а также к главе x превосходной книги мадам де Валь. Я лишь коротко скажу, что тремя наиболее распространенными причинами плохого наполнения легких у детей и молодых леди являются неподвижность, безмолвие и бездействие.

Во-первых, неподвижность; малоподвижный образ жизни и отсутствие физических упражнений. Девочку заставляют часами сидеть над классом, писать или читать, для чего она должна наклоняться вперед; и если ее школьная учительница безжалостно пытается заставить

ее сидеть прямо и тем самым удерживать позвоночник в положении, для которого природа этого не предназначала, она тем самым делает все возможное, чтобы вызвать болезнь, столь ужасно распространенную в школах для девочек, - боковое искривление позвоночника. Но практически девушка будет наклоняться вперед. И что происходит? Нижние ребра вдавливаются в тело, тем самым более или менее смещая что-то внутри. Диафрагма тем временем, которая является самым мехом легких, остается неплотной; легкие никогда не наполняются и не опорожняются должным образом; и на дне их скапливается избыток углекислоты. Что следует? Частые вздохи, чтобы избавиться от этого; тяжесть в голове; угнетение всей нервной системы под влиянием яда, поражающего легкие; и когда бедное дитя встает со своей утомительной работы, что оно, вероятно, делает в первую очередь? Она выпячивает грудь, потягивается, зевает и глубоко дышит — голос природы, инстинктивное лекарство Природы, которое, вероятно, считается неприличным, как и то, что называется “валяться”. Как будто сидеть прямо само по себе не было позой, по сути, невежливой, и такой, какую ни один художник не захотел бы нарисовать. Как будто “раскачивание”, что означает принятие тела в позе самой совершенной непринужденности, совместимой с полностью выпяченной грудной клеткой, само по себе не было грациозным, что можно увидеть в каждой отдыхающей фигуре на греческих барельефах и вазах; грациозным и, как все изящные действия, в то же время полезным для здоровья. Единственное сносно полезное положение для отдыха, которое, как я вижу, допускается в обычных школьных классах, - это лежание на спине на полу или на наклонной доске, и в этом случае легкие должны быть полностью расширены. Но даже в этом случае под поясницу следует подложить подушку или что-то подобное, иначе позвоночник будет напряжен в самом слабом месте.

Теперь я перехожу ко второй ошибке — вынужденному молчанию. Умеренное чтение вслух полезно, но там, где есть какая-либо тенденция к раздражению горла или легких, нельзя использовать чрезмерную умеренность. Вы можете с таким же успехом пытаться вылечить больное легкое, воздействуя на него, как вылечить хрому лошадь, пустив ее в галоп. Но там, где органы дыхания находятся в среднем состоянии здоровья, пусть будет сказано раз и навсегда, что детям и молодым людям нельзя производить слишком много шума. Родители, которые не выносят шума, производимого их детьми, не имеют права производить их на свет. Школьная учительница, которая принуждает своих учеников к молчанию, совершает — без сомнения, непреднамеренно, но все же совершает — преступление против разума, достойное только монастыря. Каждый крик, каждый взрыв смеха, каждая песня — более того, в случае младенцев, как хорошо известно физиологам, каждый умеренный приступ плача - способствует здоровью, поскольку легкие быстро наполняются и опорожняются, а кровь быстрее меняет цвет с черного на красный, то есть от смерти к жизни. Эндрю Комб рассказывает историю большой благотворительной школы, в которой маленьких девочек ради сохранения их здоровья запирали в холле и классной комнате во время игр с ноября по март, и им не разрешалось резвиться или шуметь. Естественными последствиями было то, что подавляющее большинство из них заболели; и я боюсь, что время от времени в некоторых школьных классах случалось множество заболеваний просто из-за этой единственной причины вынужденного молчания. Должна быть та или иная причина нездоровья и слабости, преобладающие особенно среди девушек среднего класса в городах, которые, бедняжки, не имеют возможностей, которые есть у девушек побогаче, поддерживать себя в крепком здоровье верховой ездой, катанием на коньках, стрельбой из лука — последнее весьма замечательное упражнение для груди и легких и гораздо предпочтительнее крокета, требующего чрезмерной нездоровой сутулости. Даже игра

в бал, если бы модистки и продавщицы имели возможность предаться ей после своей сидячей работы, могла бы оживить сердца многих людей и придать свежий румянец многим щекам. Я только что говорил о греках. Я полагаю, вы все согласитесь с тем, что греки были, насколько нам известно, самой прекрасной расой, которую когда-либо видел мир. Каждый образованный человек знает, что они были также самой умной из всех рас; и, помимо своей Библии, благодарит Бога за греческую литературу.

Так вот, эти люди превратили физическое и интеллектуальное воспитание не только в учебу, но и в науку. Их женщины практиковали изящные, а в некоторых случаях даже спортивные упражнения. Благодаря свободной и здоровой жизни они развили в себе те фигуры, которые остаются вечными и неприступными образцами человеческой красоты, но — возвращаясь к моему третьему пункту — они не носили корсетов. Первое упоминание о стоянках, которое я когда-либо находил, содержится в письмах дорогого старого Синезия, епископа Кирены, что на греческом побережье Африки, примерно через четыреста лет после христианской эры. Он рассказывает нам, как, когда он потерпел кораблекрушение в отдаленной части побережья и он и остальные пассажиры голодали, питаясь ракушками и моллюсками, среди них была девушка-рабыня с дальнего Востока, у которой была узкая, как у осы, талия, такую вы можете увидеть на старых индуистских скульптурах и на любой улице британского города. И когда соседние греческие дамы узнали о ней, они послали за ней из дома в дом, чтобы с удивлением и смехом созерцать эту новую и изумительную талию, с которой, как им казалось, человеку невозможно дышать или жить; и они ласкали бедную девочку и кормили ее, как могли бы кормить карлицу или великаншу, пока она не стала совсем толстой и довольной, в то время как у ее хозяев не хватало еды. Такой странной и нелепой казалась наша нынешняя мода потомкам тех, кто столетия назад воображал, потому что видел живые и движущиеся, те великолепные статуи, которыми мы притворяемся, что восхищаемся, но отказываемся подражать.

Мне кажется, что через несколько столетий, когда человечество научится больше бояться Бога и, следовательно, строже подчиняться тем законам природы и науки, которые являются волей Божьей, — мне кажется, говорю я, — что в те дни на нынешнюю моду тугой шнуровки будут смотреть как на презренное и варварское суеверие, свидетельствующее об очень низком уровне цивилизации народов, которые ее практиковали. Что у прошлых поколений женщин должно было быть в привычке — не угождать мужчинам, которых это не волнует с точки зрения красоты, — а просто соперничать друг с другом в соответствии с чем-то, называемым модой, — что у них, я говорю, должно было быть в привычке намеренно раздавливать ту часть тела, которая должна быть специально оставлена свободной, сокращая и смещая легкие, сердце и все наиболее жизненно важные органы и навлекая тем самым болезни не только на себя, но и на своих детей после них; что сорок лет назад врачи должны были говорить им о безумии того, что они делают. и что они до сих пор, в подавляющем большинстве случаев, не только остаются глухи ко всем предупреждениям, но фактически отрицают преступление, в котором их обвиняет один взгляд врача или скульптора, знающего, какой формы должно быть человеческое тело: это, говорю я, пример — как бы это назвать? — который сразу заслуживает плетей не только сатирика, но и любого теолога, который действительно верит, что физическую вселенную создал Бог. Позвольте мне, прошу вас, на мгновение воззвать к вашему здравому смыслу. Когда кто-либо выбирает лошадь или собаку, будь то из-за силы, скорости или для любой другой полезной цели, первое, на что почти следует обратить внимание, — это обхват ребер; место для сердца и легких. В точности пропорционально этому будет общее состояние здоровья животного, сила выносливости и ценность во многих других отношениях. Если вы посмотрите

на выдающихся юристов и знаменитых ораторов, достигших здоровой старости, вы увидите, что в каждом случае это люди, подобные покойному лорду Пальмерстону и другим, кого я мог бы упомянуть, замечательных размеров, не только в верхней, но и в нижней части грудной клетки; люди, которые, следовательно, обладали особой способностью использовать диафрагму для наполнения и очищения легких и, следовательно, для насыщения кислородом крови всего тела. Теперь только эти нижние ребра, поперек которых натянута диафрагма, как головка барабана, остаются сжатыми до минимума. Если бы вы посоветовали владельцам лошадей и гончих надеть на своих лошадей или гончих упряжки и туго зашнуровать их, чтобы подчеркнуть их красоту, вы, я не сомневаюсь, получили бы очень вежливый, но, безусловно, очень решительный отказ делать то, что испортило бы не только самих животных, но и весь конезавод или псарню на долгие годы. И если бы вы посоветовали оратору надеть строгий корсет, он, без сомнения, снова дал бы вежливый ответ; но он ответил бы — если бы он был действительно образованным человеком, — что выполнение вашей просьбы повлечет за собой отказ от общественной работы под вероятным наказанием в виде смерти в течение года.

И сколько всякого рода работы, как интеллектуальной, так и физической, оказывается испорченным или затрудненным; сколько смертей происходит от чахотки и других заболеваний, являющихся результатом этой привычки туго зашнуровывать, частично известно врачам, которые напрасно возвышают свой голос, и полностью известно Тому, кто не станет вмешиваться ни в малейшую из Своих собственных физических законов, чтобы спасти людей от последствий их собственной умышленной глупости.

А теперь — чтобы закончить эту лекцию более приятными мыслями — Что происходит с этим дыханием, слетающим с ваших губ? Оно просто вредное, просто бесполезное? Боже упаси! Бог запретил, чтобы что-либо было просто вредным или просто расточительным в этом столь мудром и хорошо устроенном мире. Углекислота, которая стекает с ваших губ при каждом вдохе - да, даже та, которая сочится из кратера вулкана после окончания извержения, — это драгоценное благо для тысяч вещей, в которых вы ежедневно нуждаетесь. Действительно, в старой сказке о девушке, с губ которой, когда она говорила, падали жемчужины и бриллианты, есть своего рода намек на физическую истину; ибо углекислота вашего дыхания может впоследствии помочь превратить чистый карбонат извести в жемчужину или еще более чистый углерод в алмаз. Более того, это может привести — в таком мире преобразований мы живем — к образованию атомов из пластов угля, которые будут веками лежать погребенными под глубокими морями, будут подняты на континентах, которые еще не родились, и там будут сожжены для использования будущей расой людей и разложены на свои первоначальные элементы. Мудрецы говорят нам, что уголь в целом является дыханием и солнечным светом; дыханием живых существ, которые жили в обширных болотах и лесах какого-то первобытного мира, и солнечным светом, который преобразовал это дыхание в листья и стволы деревьев, волшебным образом запертых на века в этом черном камне, чтобы стать, когда его наконец сожгут, светом и углекислотой, как это было вначале. Ибо, хотя вы не должны снова дышать своим дыханием, вы можете, по крайней мере, есть свое дыхание, если вы позволите солнцу преобразовать его для вас в овощи; или вы можете наслаждаться его ароматом и цветом в форме лилии или розы. Когда вы гуляете по залитому солнцем саду, каждое произносимое вами слово, каждый вдох, которым вы дышите, питают растения и цветы вокруг. Нежная поверхность зеленых листьев поглощает углекислоту и расщепляет ее на элементы, удерживая углерод для производства древесных волокон и любезно возвращая вам кислород, чтобы вы могли смешаться со свежим воздухом и снова вдохнуть его легкими. Так вы питаете растения; точно

так же, как растения питают вас; в то время как великое животворящее солнце питает и то, и другое; и герань, стоящая на окне больного ребенка, не просто радует его глаз и разум своей красотой и свежестью, но честно вознаграждает потраченные на нее усилия, поглощая дыхание, в котором ребенок не нуждается, и давая ему то дыхание, в котором он нуждается.

Так и служение всем сущим устроено в соответствии с Божественным и чудесным порядком и связано во взаимной зависимости и взаимопомощи.— Факт, о котором следует вспоминать с надеждой и утешением; но также и с благоговением и страхом. Ибо как в том, что выше природы, так и в самой природе; тот, кто нарушает один физический закон, виновен во всех. Вся вселенная, так сказать, ополчается против него; и вся природа, с ее бесчисленными и невидимыми силами, готова отомстить ему и его детям после него, он не знает, когда и где. С другой стороны, тот, кто повинуется законам природы всем своим сердцем и разумом, обнаружит, что все вещи работают вместе для него во благо. Он находится в мире с физической вселенной. Ему одинаково помогают и дружат солнце над его головой и пыль под его ногами: потому что он повинуется воле и разуму Того, Кто создал солнце, и пыль, и все остальное; и кто дал им закон, который нельзя нарушить.

ДРЕВО ПОЗНАНИЯ.

Чем больше я размышлял над этой древней историей Грехопадения, тем больше она казалась мне правдоподобной и даже доступной опыту. Должно быть, это произошло где-то в первый раз, потому что с тех пор это случалось слишком много раз. Это происходило, насколько я могу установить, в каждой расе, в каждую эпоху и на каждом уровне цивилизации. Это происходит сейчас вокруг нас, в каждом регионе земного шара. Мне кажется, всегда и везде бедные человеческие существа испытывали искушение вкусить от какого-нибудь "древа познания", чтобы хотя бы на час стать подобными богам; мудрыми, но с ложной мудростью; беспечными, но с безумной беспечностью; и счастливыми, но таким счастьем, которое, когда возбуждение проходит, слишком часто оставляет — как с той несчастной парой в Эдеме — депрессию, стыд и страх. Везде и во все века, насколько я могу установить, человек изобретал стимуляторы и наркотики, чтобы восполнить тот недостаток жизненных сил, о котором он так болезненно осознает; и просил природу, а не Бога, очистить притупленный мозг и утешить усталый дух.

Это было и, возможно, будет на многие столетия вперед едва ли не самым страшным недостатком этого бедного, исключительного, сверхорганизованного, больного и по-настоящему падшего существа, называемого человеком, который ежедневно сомневается, бог он или обезьяна; и, отчаянно пытаясь стать первым, слишком часто заканчивается тем, что становится последним.

Ибо человек, будь то дикарь или цивилизованный, чувствует и ощущал во все века, что с ним что-то не так. Обычно он признается в этом факте — как и следовало ожидать — своим ближним, а не самому себе; и показывает свое чувство, что с ними что-то не так, жалуясь на них, ненавидя и убивая их. Но он не может всегда скрывать от самого себя тот факт, что он тоже неправ, как и они; и поскольку обычно он не убивает себя, он пробует дикие способы заставить себя хотя бы чувствовать — если не быть — несколько "лучше". Философы могут уговаривать его быть довольным; и говорить ему, что он такой, каким должен быть, и каким его создала природа. Но ему нет дела до философов. Обычно он знает, что он не такой, каким должен быть;

что в большинстве случаев он носит с собой тело, более или менее больное и дряхлое, неспособное выполнять всю работу, которую, по его мнению, он сам мог бы выполнить, или выражать все эмоции, которые он сам жаждет выразить; тупой мозг и притупленные чувства, которые сдерживают жаждущую бесконечность внутри него; как — так однажды с жалостью сказал Гете — единственное копыто лошади сдерживает тонкий ум и щедрость его натуры и запрещает ему даже схватиться за предмет, подобно более глупой кошке. , и низменная обезьяна. И у человека тоже есть "я" внутри, от которого он слишком часто стремится убежать, как от домашнего призрака; который достает, к сожалению, в грубые и нежеланные часы, гроссбух памяти. И поэтому, когда искуситель — кем бы он ни был — говорит ему: "Возьми это, и тебе "станет лучше" — Возьми это, и вы будете как боги, познающие добро и зло": тогда, если искушение было, как гласит старая история, слишком сильным для человека, пока он здоров и не пал, каким оно должно быть для его нездоровых и падших детей? Напрасно мы говорим человеку —

“Это жизнь, а не смерть, которой ты жаждешь;
Это жизнь, от которой у тебя сдают нервы;
Больше жизни и полнее, чего ты хочешь”.

И ваше древо познания - это не древо жизни: это, в любом случае, древо смерти; дряхлости, безумия, несчастья. Он предпочитает голос искусителя: “Ты наверняка не умрешь”. Нет, скажет он наконец, “Лучше быть как боги некоторое время и умереть, чем быть пресмыкающимся, ничтожным существом, которым я являюсь, и жить”.

Он - я так сказал? Увы! Я должен сказать, что и она тоже. Священная история слишком соответствует действительности, когда она изображает женщину падшей не просто одновременно с мужчиной, но и раньше него. Только давайте помнить, что это представляет женщину искушаемой; искушаемой, по-видимому, разумным существом низшей расы, но все же превосходящим ее хитростью; которое, следовательно, должно было пасть перед женщиной. Кем или чем было это существо, названное Змеем в нашем переводе Книги Бытия, не мне говорить. Я думаю, у нас нет абсолютно никаких фактов, на основании которых можно было бы судить; и раввинские традиции никого особо не должны беспокоить. Но я полагаю, что миссионер, проповедующий эту историю неграм; ясно говорящий им, что “Змей” означал первого человека-Оба; а затем сравнивающий переживания той несчастной пары в Эдеме с их собственными после определенных оргий, которые еще не исчезли в Африке и других местах, был бы слишком хорошо понят: настолько хорошо, что он мог бы подвергнуться некоторому риску съесть самому, но не от древа жизни, а от древа смерти. Колдун или волшебница, искушающие женщину; а затем женщина, искушающая мужчину; это, по-видимому, несомненно среди диких народов, и, увы! слишком часто это происходит и среди цивилизованных народов - обычное течение всемирной трагедии.

Но — каким бы парадоксальным это ни казалось — уступчивость женщины мужчине не является полным ее бесчестьем, как утверждали те старые монахи, которые ненавидели и слишком часто мучили представителей пола, которыми они не могли наслаждаться. Это не позорит женщину, если она испытывала перед своим мужем более высокие устремления, чем стремление к простому животному удовольствию. Быть как боги, знающие добро и зло, - тщеславное и глупое, но не низкое и жестокое желание. Тем самым она доказала, что является женщиной, а не животным— хотя и ужасной ценой. И действительно, более тонкая организация женщины, ее

более яркие эмоции, ее более словоохотливая фантазия, а также ее простая физическая слабость и усталость были для нее во все века особым источником искушения, которому к ее чести следует отдать должное за то, что она сопротивлялась гораздо лучше, чем физически более сильный и, следовательно, более преступный мужчина.

Что касается того, что представляло собой древо познания, нам действительно нет необходимости тратить время на догадки. Если это было не одно растение, то это было другое. Возможно, это было что-то, что давным-давно исчезло с лица земли. Возможно, это была — как предположили некоторые ученые мужи — священная Сомма, или Хома, ранней расы брахманов; и это, возможно, был все еще существующий наркотический вид асклепия. Это определенно была не виноградная лоза. Язык еврейского Писания, касающийся его, и священное употребление, которому оно посвящено в Евангелиях, полностью опровергают это представление; по крайней мере, для тех, кто достаточно знаком с древностью, чтобы с улыбкой пройти мимо теории о том, что вина, упомянутые в Писании, не были опьяняющими. И все же — в качестве свежего подтверждения того, что я пытаюсь сказать, — как ужасно злоупотребляли этим благородным даром человеку для тех же целей, что и сотней других растительных продуктов, с тех мифических дней, когда Дионис привез виноградную лозу с дальнего Востока среди полчищ человеческих мэнэдов и получеловеческих сатиров; и вакхи разорвали Пенфея на куски на Кифероне за то, что тот посмел вторгнуться в их священные обряды; и с тех исторических дней, когда менее чем за двести лет до христианской эры вакхический народ разорвал виноградную лозу на куски. обряды распространились из Южной Италии в Этрурию, а оттуда к римским матронам; и под руководством Пении Аннии, кампанской женщины, приняли, наконец, формы, о которых никто не должен был говорить, но которые должны были быть подавлены консулами и Сенатом с ужасной, но справедливой суровостью.

Но, говорю я, не имеет большого значения, каким было это самое древо познания. Если бы завтра уничтожили все виноградные лозы на земле, а также все овощи, из которых сейчас перегоняют алкоголь, человек вскоре обнаружил бы что-нибудь еще, с помощью чего можно удовлетворить свою ненасытную жажду. Разве он этого уже не сделал? Разве почти у каждого народа не было своего древа познания, зачастую более смертоносного, чем любой дистиллированный ликер, от абсента образованного француза и опиума образованного китайца до кустарных ядов, с помощью которых тропический колдун посвящает своих одуряченных в познание добра и зла, и гриба, из которого самоеды извлекаютосенью несколько дней жестокого счастья перед наступлением долгой шестимесячной ночи? Дай бог, чтобы современная наука не обнаружила новых заменителей алкоголя, опиума и остального; и дала белым расам в том состоянии женственной и безбожной квазичивилизации, которое, как я иногда опасаюсь, подкрадывается к ним, новые средства деликатного и приятного самоуничтожения с лица земли.

Некоторые говорят, что на этом острове растет уровень пьянства. У меня нет надежных доказательств этого, но я могу поверить, что это возможно, поскольку количество причин пьянства, по-видимому, увеличивается. Переутомление тела и ума; обстоятельства, ухудшающие здоровье; искушение пить и снова пить на каждом углу улиц; и, наконец, деньги, и все больше денег, в руках необразованных людей, у которых нет желания, а слишком часто и средств, тратить их на что-либо, кроме самых низменных удовольствий. Таковы, как мне кажется, истинные причины пьянства, нарастающего или нет. И если мы хотим стать более умеренной нацией, мы должны уменьшить их, если не можем искоренить.

Во-первых, переутомление. Все мы живем слишком быстро и слишком много работаем. “Все вещи полны труда, человек не может этого произнести”. В тяжелой борьбе за существование, которая идет повсюду вокруг нас, каждый человек получает все больше и больше заданий — если его действительно стоит покупать и использовать — на пределе своих сил в течение всего дня. Слабые вынуждены конкурировать на равных с сильными и, как следствие, жаждут искусственной силы. Как мы остановим это, я не знаю, в то время как каждый человек “спешит разбогатеть, и пронзает себя многими скорбями, и впадает в глупые и пагубные похоти, которые топят людей в разрушении и гибели”. Говорю вам, я не знаю, как мы это остановим. Возможно, старый пророк был прав, когда сказал: “Конечно, не от Господа то, что люди будут трудиться в самом огне и изнурять себя из—за тщеславия”; и в какой—нибудь более справедливой, мудрой, более трезвой системе общества - несколько более похожей на Царство Отца, пришедшее на землю, - может случиться так, что бедным человеческим существам не нужно будет так усердно трудиться и поддерживать себя в форме с помощью стимуляторов, но у них будет время сесть, и посмотреть вокруг, и подумать о Боге и о тихой Божьей вселенной, с чем-то спокойным в себе; с чем-то таким, что поможет им справиться со своей работой. о рациональном досуге и мужественной трезвости ума, так же как и тела.

Но мне также кажется, что при таком состоянии общества, когда, как когда—то хорошо было сказано, “все перестали бегать, как крысы”, те, кто усердно работает, будь то мускулами или мозгами, не были бы окружены, как сейчас, всеми обстоятельствами, которые побуждают к пьянству; всеми обстоятельствами, которые угнетают жизненную энергию и делают их легкой добычей самой чумы; плохим освещением, плохим воздухом, плохой пищей, плохой водой, плохими запахами, плохими занятиями, которые ослабляют мышцы, сводят судорогой грудь, нарушают пищеварение. Пусть любой разумный человек, только что приехавший из страны, в которой, я полагаю, Бог, создав ее, предназначил всем людям, в большей или меньшей степени, жить, пройдет по закоулкам любого города или по целым районам “черных стран” Англии: и затем спросит себя — есть ли воля Бога на то, чтобы Его человеческие дети жили и трудились в таких притонах, таких пустынях, в таких темных уголках земли? Пусть он спросит себя — могут ли они жить и трудиться там, не заразившись, вероятно, болезненной привычкой тела; не заразившись определенно тупой, утомленной, грязной привычкой ума, который жаждет любых удовольствий, какими бы жестокими они ни были, чтобы убежать от собственной глупости и пустоты? Когда я проезжаю по железной дороге определенные районы страны, производящей железо, - улицы с печами, угольные шахты, отвалы шлака, грязь, помои, ряды кирпичных домов, дым, грязь — и это все; и когда мне говорят, правдиво или ложно, что главное, о чем заботятся хорошо оплачиваемые и сытые люди этих отвратительных пустошей, - это хорошие бойцовые собаки, я могу только ответить, что я не удивлен.

Я говорю — как я уже говорил в другом месте и сделаю все возможное, чтобы сказать снова, — что тяга к выпивке и наркотикам, особенно возникающая в наших больших городах, - это не болезнь, а симптом болезни; гораздо более глубокой болезни, чем любая, которую может вызвать пьянство; а именно, растущего вырождения населения, тщетно пытающегося с помощью стимуляторов и наркотиков бороться с теми медленными ядами, которыми наше алчное варварство, ошибочно называемое цивилизацией, окружило их от колыбели до могилы. Мне могут ответить, что старый немец, Англ, датчанин, сильно пил. Я знаю это: но почему они пили, если не по той же причине, по которой пил фенмен, а его жена принимала опиум, по крайней мере до тех пор, пока не осушились болота? зачем, как не для того, чтобы уберечься от угнетающего воздействия малярии болот и новых вырубок, которая сказала на них — тех, кто

всегда селился в самых низких местах — в виде лихорадки и озноба? Здесь снова можно ответить, что стимуляторы на памяти человечества были причиной уничтожения краснокожей индейской расы в Америке. Я смело отвечаю, что я в это не верю. В 'Путешествиях по рекам Канады' Жака Картье достаточно свидетельств; и более чем достаточно свидетельств в "Путешествии в Виргинии" Стрейчи — процитирую только двух авторитетных людей из многих, — чтобы доказать, что краснокожие индейцы, когда белый человек впервые встретился с ними, были, как на Севере, так и на Юге, больной, разлагающейся и, как признают все их традиции, вымирающей расой. Такая раса, естественно, жаждала бы "воды жизни", "ускебага", или виски, как мы сейчас называем старое вино. Но я бы подумал, что белый человек, снабдив этих бедных созданий железом, огнестрельным оружием, одеялами и, прежде всего, лошадьми, с помощью которых они могли бы преследовать стада бизонов, за которыми они никогда не смогли бы преследовать пешком, должно быть, сделал в десять раз больше для сохранения их жизни, чем для их уничтожения, давая им возможность дважды в год по неделе пьянствовать, когда они приходили в его крепости продавать шкуры, которые без его подарков они никогда бы не получили.

Такая раса, конечно, стремясь к жизнеспособности, жаждала бы стимуляторов. Но если стимуляторы, а не изначальный недостаток жизненных сил в сочетании с моралью, совершенно отвратительной и достойной только виселицы, — и здесь я знаю, что говорю, и не осмеливаюсь сказать то, что знаю, от очевидцев, — были причиной вымирания краснокожих индейцев: тогда позвольте мне спросить, как получилось, что ирландец и шотландец, часто к своему большому ущербу, пили столько виски — и обычно очень плохого виски — не просто дважды в год, но так часто, как только могли достать, в течение всего "железного века"? и, насколько можно судить, во времена "бронзового века" и "каменного века" до этого: и все же остаются ли они самыми здоровыми, способными, доблестными и плодовитыми расами в Европе? Если бы они пили меньше виски, они, несомненно, были бы более здоровыми, способными, доблестными и, возможно, даже более плодовитыми, чем сейчас. Однако пока они не выказывают никаких признаков того, что пойдут путем краснокожих индейцев.

Но если тяга к стимуляторам и наркотикам является признаком недостаточной жизнеспособности, тогда самым смертельным врагом этой тяги и всех ее плачевных результатов, несомненно, является Реформатор Санаториев; человек, который проповедует и — насколько ему позволяют невежество и корыстные интересы — обеспечивает массам чистый воздух, чистый солнечный свет, чистую воду, чистые жилые дома, чистую пищу. Не только каждый свежий питьевой фонтанчик, но и каждая свежая общественная баня и прачечная, каждое свежее открытое пространство, каждое свежевыросшее дерево, каждое свежее открытое окно, каждый свежий цветок в этом окне — все это настолько, как сказали бы древние персы, завоевано Ормуздом, богом света и жизни, из-под власти Аримана, царя тьмы и смерти; настолько многое взято из причин пьянства и болезней и добавлено к причинам трезвости и здоровья.

Между тем ясно одно: если бы нынешнее варварство и анархия алчности, ошибочно называемые современной цивилизацией, были укрощены и воспитаны во что-то более похожее на Царство Божье на земле, тогда мы не увидели бы безрассудного и ненужного увеличения числа винных магазинов, которое сейчас позорит эту страну.

В качестве единственного примера: в одном сельском приходе с населением в девятьсот человек, население которого за последние пятьдесят лет увеличилось лишь на одну девятую, сейчас насчитывается практически восемь трактиров, тогда как пятьдесят лет назад их было всего два. Один, то есть на каждые сто десять — или, скорее, без учета детей, фермеров, лавочников, джентльменов и их домочадцев, по одному на каждые пятьдесят жителей. Перед лицом соблазнов, часто самого низменного рода, которые предлагают эти притоны, священник и школьный учитель тщетно пытаются сохранить ночные школы и юношеские клубы и привить привычки к провидению.

Молодые рабочие, по крайней мере, на большей части юга и востока Англии, — хотя на протяжении нескольких поколений они никогда не были так богаты, как сейчас, — растут небогатыми, неумелыми; мне кажется, они уступают своим дедам во всем, за исключением того, что они обычно умеют читать и писать, а их деды не умели; и что они носят нарядную одежду из дешевого сукна вместо рабочих халатов своих дедов.

И если это так в деревне, то как это должно быть в городах? Должны произойти основательные изменения в существующей системе лицензирования, несмотря на все “давление”, которое определенные влиятельные круги могут оказывать на правительства. И долг каждого добропорядочного гражданина, который заботится о своих соотечественниках и о своих детях после них, состоит в том, чтобы помочь осуществить эти перемены как можно быстрее.

Еще раз: я только что сказал, что вероятной причиной растущего пьянства было растущее материальное благосостояние тысяч людей, которые не знали иного развлечения, кроме низменных животных удовольствий. Если я прав — а я верю, что я прав, — я должен призвать тех, кто хочет, чтобы пьянство уменьшилось, к необходимости предоставлять людям больше и изысканнее развлечений.

Мужчины пьют, и женщины тоже, помните, не просто для того, чтобы снять усталость; не просто для того, чтобы избавиться от забот; но часто просто для того, чтобы прогнать скуку. Им нечего делать, кроме как обдумывать то, что они сделали за день, или то, что они ожидают сделать завтра; и они сбегают из этого унылого круга деловых мыслей с помощью алкоголя или наркотиков. Все еще есть те, кто ни в коем случае не принадлежит к классу ручного труда, но весь день поглощен бизнесом, кто сильно напивается по ночам в своих собственных комфортабельных домах, просто чтобы восстановить свои перегруженные умы. Такие случаи, несомненно, встречаются гораздо реже, чем пятьдесят лет назад: но почему? Не является ли уменьшение употребления алкоголя среди более богатых классов, безусловно, следствием возросшей утонченности и разнообразия их вкусов и занятий? В развитии эстетической стороны природы человека; в привлечении его к прекрасному, чистому, чудесному, по — настоящему естественному; к живописи, поэзии, музыке, садоводству, физическим наукам — во всем этом заключается отдых в истинном и буквальном смысле этого слова, а именно, воссоздание и исправление истощенного ума и чувств, которым ни один разумный человек сейчас не пренебрежет ни ради себя, ни ради своих детей, ни ради своих работников.

Но как мало из всего этого открыто для масс, все должны знать слишком хорошо. Слишком очевидно, насколько мало возможностей у обычного чернорабочего или его жены вкусить от любого древа познания, за исключением самого низменного. Слава Богу, в этом отношении мы поправляемся. В последнее время бесплатные библиотеки и музеи появились и в других городах, помимо Лондона. Божье благословение да пребывает над ними всеми. И Хрустальный

дворец, и еще позже музей Бетнал-Грин принесли, я полагаю, гораздо больше пользы, чем многие среднестатистические проповеди и лекции многих среднестатистических ораторов.

Но разве мы все еще не сильно отстаем от древних греков и римлян Империи в том, что касается развлечений, обучения и даже крова, который мы предоставляем людям? Вспомните — для меня - позорный факт: насколько мне известно, во всем Лондоне нет ни одного портика или другого крытого места, в котором люди могли бы укрыться во время ливня, и это при климате Англии! Где они находят убежище в дождливый день, мытарь знает слишком хорошо; как он знает также, где тысячи представителей низших классов, просто из-за отсутствия другого места, кроме своих собственных убогих жилищ, проводят столько времени, сколько им позволено в день субботний. Давайте во что бы то ни стало покончим с “воскресными попойками”, если сможем. Но давайте помнить, что, закрывая трактир в воскресенье, мы не препятствуем ни одному мужчине или женщине приносить домой столько яда, сколько они пожелают, в субботу вечером, чтобы зверствовать с его помощью, возможно, в течение сорока восьми часов. И давайте посмотрим — во имя Того, кто сказал, что Он установил Субботу для человека, а не человека для субботы, — давайте посмотрим, говорю я, не можем ли мы сделать что-нибудь, чтобы суббота для горожан не была днем отдыха, а днем простой праздности; днем наибольшего искушения из-за наибольшей скуки из всех семи.

И тут, возможно, какая-нибудь милая душа поднимет укоризненный взгляд и скажет — Он говорит об отдыхе. Забывает ли он и хотел бы ли он, чтобы рабочий человек забыл, что все эти внешние паллиативы никогда не коснутся очага болезни, внутреннего душевного беспокойства? Забывает ли он и хочет ли он, чтобы рабочий человек забыл, кто именно сказал — кто единственный имеет право сказать— “Придите ко Мне, все вы, кто устал и обременен, и Я дам вам покой”? О нет, милая душа. Я знаю, что твои слова правдивы. Я знаю, что все мы хотим внутреннего покоя; покоя сердца и разума; спокойного, сильного, самодостаточного, самоотверженного характера; который не нуждается в стимуляторах, потому что у него нет приступов депрессии; который не нуждается в наркотиках, потому что у него нет приступов возбуждения; который не нуждается в аскетических ограничениях, потому что он достаточно силен, чтобы использовать Божьи дары, не злоупотребляя ими; характера, одним словом, который действительно умерен не только в питье или еде, но и во всех желаниях, мыслях и действиях; свободного от диких похотей и амбиций, которым поддался ветхий Адам, и , ищущий свет и жизнь запрещенными средствами, обрел тем самым болезнь и смерть. Да, я знаю это; и знай также, что этот покой обретается только там, где ты его уже нашел.

И все же: в таком мире, как этот; управляемом Существом, которое создало солнечный свет, и цветы, и зеленую траву, и пение птиц, и счастливые человеческие улыбки; и которое воспитывало бы ими — если бы мы Ему позволили — Своих человеческих детей от колыбели до могилы; в таком мире, как этот, будете ли вы отказывать в какой-либо частице этого образования, даже в какой-либо безвредной замене ему, тем духам в тюрьме, чье окружение слишком часто искушает их, от колыбели до могилы, воображать, что мир состоит из кирпичей и железа и управляется инспекторами и полицейскими? Проповедуйте тем духам в тюрьме, поскольку вы гораздо лучше нас, священников, знаете, как проповедовать; но пусть они, кроме того, получают некоторое представление о великолепном факте, что за пределами их тюрьмы находится мир, созданный Богом, а не человеком; в котором повсюду растет то древо познания, которое также является деревом жизни; и что они имеют право на некоторую малую долю его

красоты, и его чуда, и его покоя для их собственного душевного и телесного здоровья, а также для здоровья их детей после них.

НАВСИКАЯ В ЛОНДОНЕ: ИЛИ О НИЗКОМ ОБРАЗОВАНИИ ЖЕНЩИНЫ.

Только что вышедший из музея мрамора Британского музея, я отправился в путь по лондонским улицам. Мой мозг все еще был полон прекрасных и величественных форм; форм мужчин и женщин, каждая конечность и поза которых свидетельствовали о совершенном здоровье, грации и силе, а самообладание и самоограничение были настолько привычными и полными, что стали бессознательными и неотличимыми от врожденной свободы дикаря. Ибо я ходил взад и вперед по коридорам тех греческих скульптур, которые остаются вечной проповедью богатым и бедным среди нашей искусственной, нездоровой и, возможно, загнивающей псевдоцивилизации; взглядом, более выразительным, чем все слова, я говорил— Такими могут быть мужчины и женщины; ибо такими они были; и такими еще можете быть вы, если воспользуетесь той наукой, которой вы слишком часто только хвастаетесь. Прежде всего, я размышлял об ужасной и в то же время нежной красоте девичьих фигур из Парфенона и родственных ему храмов. И они, или подобные им, подумал я про себя, были сестрами мужчин, сражавшихся при Марафоне и Саламине; матерями многих мужчин из десяти тысяч, которых Ксенофонт повел обратно из Вавилона на берег Черного моря; прародительницами многих мужчин, завоевавших Восток в войске Александра и сражавшихся с Пором в далеком Пенджабе. И были ли эти женщины всего лишь куклами? Эти мужчины - всего лишь гладиаторами? Разве не они были родителями философии, науки, поэзии, пластических искусств? Сейчас мы говорим об образовании. Являемся ли мы более образованными, чем были древние греки? Знаем ли мы что-нибудь об образовании, физическом, интеллектуальном или эстетическом, и, я могу сказать, также о нравственном — религиозного образования, конечно, в нашем смысле этого слова у них не было, — но знаем ли мы что-нибудь об образовании, которому они не научили нас, по крайней мере, началам? Разве нет некоторых отраслей образования, которые они усовершенствовали раз и навсегда, предоставив нам, северным варварам, следовать или не следовать их примеру? Воспитывать здоровье, то есть гармонию и сочувствие, пропорциональность и изящество, во всех свойствах ума и тела — таково было их представление о воспитании. Для этого учебником их детства была поэзия Гомера, а не— Но я ступаю на опасную почву. Именно для этого греческого юношумореплавателя учили находить свой идеал в Улиссе; в то время как его сестра дома нашла свой, возможно, в Навсикае. Именно по этой причине, когда, возможно, самый совершенный и утонченный из всех греков, Софокл добрый, любимый богами и людьми, представлял на афинской сцене свою драму "Навсикая" и, как обычно, не мог — из—за отсутствия голоса - сам выступить с речью, он удовлетворился тем, в чем особенно преуспел: переоделся девушкой и в маске играл на балу среди хора девушек Навсикаи.

Драма "Навсикая" утрачена; и если я осмелюсь сказать то же самое о какой-либо пьесе Софокла, я почти не сожалею об этом. Возможно, хорошо, что у нас нет второго представления об этой сцене, чтобы вмешиваться в простоту, такую величественную и в то же время такую нежную, идиллического эпизода Гомера.

Следует помнить, что Навсикая - дочь короля. Но не короля исключительно в современном европейском или древневосточном смысле. Ее отец, Алкиноус, просто "primus inter pares" в

сообществе торговцев, которых также называют “королями”; и, так сказать, пожизненный мэр нового торгового города, зарождающейся Генуи или Венеции, на берегу Средиземного моря. Но девушка Навсикая, спящая в своей “резной комнате”, “подобна бессмертным по форме и лицу”, а две служанки, которые спят по обе стороны полированной двери, “обладают красотой от Грании”.

К ней входит в образе какой-то подруги-девственницы не кто иная, как сама Афина Паллада, намеревающаяся достойно спасти своего любимца, потерпевшего кораблекрушение Улисса; и во сне повелевает ей выйти — и постирать одежду. {72}

“Навсикая, почему твоя мать вынашивает
такого забывчивого Ребенка? Это долгое время покоя,
Как бревна в доме, много красивой одежды.
Скоро ты должна выйти замуж и привести себя в порядок,
И найти для своего жениха самое лучшее одеяние.
Это то, из чего рождается хорошая репутация,
И похвалы, которые радуют родительскую грудь.
Пойдем, мы оба умоемся утром;
Тогда у тебя будет подходящая одежда.

“Знай, что твое девичество ненадолго,
За которым уже ухаживают фацианские вожди,
Владыки земли, откуда ты сама производишь.
Как только снова взойдет сияющий рассвет,
твой благородный отец подаст в суд повозку и мулов,
Которые доставят к месту стирки
Пояса, шали и ковры великолепных оттенков.
Это для тебя было бы лучше, чем пытаться
Дойти туда пешком: место это далекое, очень далекое”.

Пораженная своим сном, Навсикая просыпается и отправляется на поиски своих родителей —

Одна сидела у очага, вокруг нее были служанки,
И на мотках пряжи, цвета морской волны, проводила
Свой утренний труд. Он был связан с советом,
Созван достопочтенными королями, и она нашла его только что вышедшим.

И, называя его, как она могла бы сейчас, “Папа фил”, дорогой папочка, просит запряженную мулом повозку; но это одежда ее отца и пятерых братьев, которую она хотела бы постирать, —
“Стыдно называть ее брак с отцом дорогим”.

Но он все понял — и она отправляется в путь на повозке, запряженной мулом, с одеждой, после того как ее мать положила туда “сундук со всевозможными деликатесами, мясом и вином в козьих шкурах”; и последнее, но не менее важное: незаменимый кувшин с маслом для помазания после бани, которому евреи, греки и римляне были обязаны таким здоровьем и красотой. И затем мы читаем в простых стихах поэта, слишком утонченного, как и остальные представители его расы, чтобы видеть что-либо подлое или смешное в том, что не было уродливым и противоестественным, как она и ее служанки сели в “начищенную повозку”, “с

хорошими колесами”, и она “взяла кнут и шипованные вожжи” и “била их, пока они не тронулись с места”; и как мулы “загрохотали” прочь и “тянули друг друга”, пока

Когда они подошли к полноводной реке,
Которая круглый год питает хорошие уборные,
Приспособленные для очищения любой запачканной одежды,
Они распрягли там мулов
И выгнали их на свободу, чтобы они съели сочную пищу
У быстрой реки, на зеленой окраине;
Затем сбросили одежду, которую они сняли, в воду
И в заполненных ручьем канавах затоптали ее дочиста.

“Которые, вымыв и очистив, они разложили перед
лучами солнца на пляже, где больше всего было
толстой гальки, у выброшенной на берег морской волной.
Итак, оставив их сушиться на жаре,
они отправились в баню и мало-помалу,
натеревшись жирным маслом, устроились на зеленом дерне,
усевшись на берегу реки.
Затем, сбросив вуали, они играют в бал,
Пока белорукая Навсикая исполняет хоровую песню”.

Саму красоту этой сцены почувствуют все, у кого есть чувство прекрасного. Однако я хочу остановиться не на этом аспекте, а на его полезности. Упражнение проводится в отмеренное время под звуки песни, почти как обязанность, а также как развлечение. Ибо эта игра в мяч, которая здесь упоминается впервые в человеческой литературе почти три тысячи лет назад, считалась греками, а за ними и римлянами почти необходимой частью гуманитарного образования; главным образом, несомненно, из-за развития, которое она производила в верхней половине тела, не только в руках, но и в груди, за счет поднятия и расширения ребер и всех мышц туловища, как перпендикулярных, так и наклонных. Эластичность и изящество, которые, как считалось, она придает, ценились так высоко, что комната для игры в мяч и учитель этого искусства были неотъемлемыми частями каждого гимнастического зала; а афиняне зашли так далеко, что даровали одному знаменитому игроку в мяч, Аристонику из Каристии, статую и права гражданства. Грубые и выносливые молодые спартанцы, переходя из отрочества в зрелость, получили звание игроков в мяч, по-видимому, из-за игры, научиться которой тогда было их особой обязанностью. В случае с Навсикаей и ее служанками игра просто расставила по своим местам все, что может быть сокращено и ослаблено в женщинах, многие из занятий которых обязательно должны быть сидячими и сутулыми; в то время как песня, сопровождавшая игру, сразу же регулярно и ритмично наполняла легкие и предотвращала резкие движения или неподобающее поведение. Нам, цивилизованным людям, нужны физиологи, которые напоминали бы нам об этих простых фактах, и даже тогда мы не действуем в соответствии с ними. Эти древние полуварварские греки сами открыли их для себя и, более того, действовали в соответствии с ними.

Но прекрасная Навсикая, должно быть, была — скажут некоторые — всего лишь дитем природы и некультурным человеком?

Настолько далека от этого, что все ее поведение и речь демонстрируют культуру самого высокого уровня, полную “сладости и света”. —Умная и бесстрашная, быстро улавливающая суть своего странного и внезапного приключения, быстро улавливающая характер Улисса, быстро отвечающая на его возвышенные и утонченные просьбы словами столь же возвышенными и утонченными, а также благочестивыми; —ибо это она говорит своим служанкам некогда столь знаменитые слова:

“Все странники и бедняки посланы Зевсом;
И милостыня, хотя и небольшая, сладка”

Ясная рассудком, быстрая на действия, скромная в поведении, избегающая малейшего намека на скандал; хотя ей и не стыдно, когда Улисс, вымытый и одетый, снова становится самим собой, чтобы прошептать своим служанкам свое желание, чтобы Боги послали ей такого супруга.— Это Навсикая, какой ее рисует Гомер; и как многие ученые и поэты со времен Гомера, она считалась идеалом благородной девственности. Я прошу моих читателей самостоятельно изучить ее интервью с Улиссом в переводе мистера Уорсли, или, скорее, в величественной простоте греческого оригинала,{76} и рассудить, не является ли Навсикая такой совершенной леди, какой ее представлял поэт — или, может быть, рисовал ее с натуры, — должно быть, совершенным джентльменом; оба они обладают теми “манерами”, которые, по словам старого поэта, соответствуют действительности. пословица “сделай мужчину”: но которым является сама женщина; потому что для нее, которая действует скорее эмоциями, чем расчетом, манеры являются внешними и видимыми признаками ее внутренней и духовной грации или позора; и они инстинктивно вытекают, хорошие или плохие, из инстинктов ее внутренней природы.

Правда, Навсикая не умела ни читать, ни писать. Скорее всего, так же, как и автор "Одиссеи". То же самое, если уж на то пошло, могли сказать Авраам, Исаак и Иаков, хотя они явно были как по уму, так и по манерам самыми высококультурными людьми. Чтение и письмо, конечно, теперь стали необходимыми для человечества; и они должны быть даны каждому человеку, чтобы он мог честно начать свой жизненный путь. Но я не знаю, чтобы греческие женщины сильно улучшились ни в манерах, ни в морали, ни в счастье, приобретя их по прошествии веков. Мудрый человек скорее увидит в своей дочери Навсикаю, чем Сафо, Аспазию, Клеопатру или даже Ипатию.

Полный таких мыслей, я шел по лондонским улицам среди Навсикай наших дней; девушек того периода; дочерей и будущих матерей наших будущих правителей, великого Демоса или коммерческого среднего класса величайшего торгового города мира: и отметил то, что я отмечал со страхом и печалью много дней в течение многих лет: тип, и все увеличивающийся тип молодых женщин, которые, безусловно, не имели “преимуществ”, “образованности” и прочего, присущих той древней греческой Навсикае.

Конечно, в таком городе, как Лондон, к которому тяготеет все лучшее, физическое и прочее, я не мог не проходить время от времени мимо прекрасных особ, которые заставляли меня гордиться этими “великими англичанами с румяными девушками”, над которыми парижанки насмеются — и которым завидуют. Но я не мог отделаться от подозрения, что их внешность свидетельствовала о том, что они либо выросли в деревне, либо родились от деревенских родителей; и это подозрение усиливалось тем фактом, что по сравнению с их матерями телосложение матери в большинстве случаев превосходило телосложение дочерей. Человеку, привыкшему к румяной взрослой крестьянской девушке, крепкой, даже когда она, как правило,

приземистая и некрасивая, было больно отмечать чрезвычайно маленький рост средней молодой женщины; под этим я подразумеваю не просто недостаток роста - это мелочь, — но также недостаток ширины; общий недостаток тех крупных телосложений, которые обычно указывают на способность сохранять сильными и здоровыми не только мышцы, но и сам мозг.

Бедняжки. Я проходил мимо сотен — я прохожу мимо сотен каждый день, — пытающихся скрыть свою миниатюрность за отвратительной массой накладных волос — или что там с ними связано; и за уродливой и бесполезной шляпой, нахлобученной на нее, из—за чего голова кажется смехотворно большой и тяжелой; и за высокими каблуками, на которых они ковыляют вперед, забыв или так и не научившись простому искусству ходьбы; их тела наклонены вперед в той нелюбезной позе, которая называется — почему это название всех остальных? — “греческим изгибом”; они, по—видимому, держатся на ногах и вообще держатся вместе, в этакая поза из-за тесных корсетов, которые препятствовали всякому грациозному и здоровому движению бедер или боков; их одежда, между тем, была намеренно деформирована в ту или иную сторону, чтобы скрыть - надо полагать - недостатки формы. Если бы этот шиньон и эти каблуки были сняты, то фигура, которая осталась бы, слишком часто напоминала бы тщедушную шестнадцатилетнюю девушку. И все же не было никаких сомнений в том, что эти женщины были не только взрослыми, но некоторые из них, увы! жены и матери.

Бедняжки.— И этого они достигли благодаря так называемой цивилизации: способности подражать “моде”, с помощью которой измученная парижанка скрывает свои личные недостатки; и делать себя, из-за врожденного отсутствия того вкуса, которым обладает парижанка, лишь причиной чего-то похожего на насмешку со стороны многих культурных мужчин; и еще чего-то похожего на насмешку со стороны вон той цыганки, которая проходит мимо, с дерзким ярким лицом, покачиванием бедер и величавой и упругой поступью; гораздо лучше одетая, согласно всем истинным канонам вкуса, чем большинство горожанки; и благодарит судьбу за то, что она и ее “цыганенок” не домоседы и не туристы при газовых фонарях, а жиреют на вольном воздухе, на открытых вересковых пустошах.

Но лицо, которое скрывается под этим шиньоном и этой шляпой? Что ж, иногда оно симпатичное, но как редко красивое, что, безусловно, является более высоким качеством. Как ни странно, это не упитанное лицо. Много денег, и, возможно, даже слишком много, потрачено на эту прекрасную одежду. Судя по цвету лица, было бы лучше, если бы часть этих денег была потрачена на твердую полезную пищу. Она выглядит так, словно питалась — как, я слышал, это слишком часто бывает — чаем и хлебом с маслом, или, скорее, хлебом с минимальным количеством масла. Ибо, как отсутствие костей указывает на дефицит фосфатной пищи, так и отсутствие мяса на щеках указывает на дефицит углеводов. Бедная маленькая Навсикая: — это не ее вина. Наша хваленая цивилизация даже не научила ее, что есть, поскольку это, конечно, не увеличило ее аппетит; и она не знает того, что знает каждый деревенский житель, — что без большого количества масла и других жирных веществ она вряд ли даже согреется. Лучше есть отвратительный жирный бекон сейчас, чем восполнять его недостаток через несколько лет еще более отвратительным рыбьим жиром. Но пока нет никого, кто сказал бы ей это и дюжину других столь же простых фактов ради нее самой и ради того грядущего Демоса, который она должна принести в мир; Демоса, у которого, если мы только сможем сохранить его здоровым телом и разумом, впереди такое великолепное будущее; но который, если тело и мозг деградируют под влиянием современного варварства, с большой вероятностью последует примеру демоса древней Византии или современного Парижа.

Да, но ее интеллект. Она такая умная, и она так много читает, и ее собираются научить читать гораздо больше.

Ну что ж, когда—то существовала наука под названием физиогномика. Греки, насколько я могу судить, знали об этом больше, чем любой другой народ с тех пор; хотя итальянские художники и скульпторы, должно быть, знали многое; гораздо больше, чем мы. В более научной цивилизации такая наука возникнет снова, но ее законы, хотя и все еще находятся на стадии эмпиризма, не совсем забыты некоторыми. Маленькие дети часто обладают тонким и ясным чутьем на них. Многие культурные и опытные женщины также обладают тонким и ясным чутьем на них. И некоторые из них сказали бы нам, что у современных Навсикая интеллекта в избытке, но не того качества, которого они желают для будущего блага своей страны. Застенчивость, нетерпение, словоохотливость, раздражительность в выражении лица, в жестах и в голосе, который слишком часто бывает наиболее резким и искусственным, дыхание вырывается через сжатые зубы и почти полностью в уголках рта — и, при всем этом, усталость, часто выражающаяся в морщинах на лбу и опущенных веках; все это становится слишком распространенным явлением, не только среди демоса, и не только в городах, являются признаками, по их мнению, беспокойства, связанного с нездоровьем, физическим, интеллектуальным, духовным. По крайней мере, они различаются настолько, насколько могут различаться два типа физиономии у представителей одной расы, по выражению лица и жестам на древнегреческих скульптурах и у старых итальянских художников; и, надо сказать, на портретах Рейнольдса и Гейнсборо, Копли и Ромни. Не такими, думается, должны были быть матери Британии во второй половине прошлого века и в начале нынешнего, когда их сыновья временами держали в страхе половину мира.

И если Навсикая стала такой в городе, то кем же она становится, когда отправляется на побережье, не для того, чтобы постирать одежду в пресной воде, а для того, чтобы самой постирать себя в соленой - той самой соленой воде, насыщенной разлагающимися организмами, от которой, хотя она и не была загрязнена еще дюжиной канализационных стоков, Улиссу пришлось очиститься, умастившись к тому же елеем, прежде чем он смог появиться в обществе Навсикаи Греческой? Она пачкается грязной соленой водой; и, вероятно, мерзнет и утомляет себя, ходя туда и обратно и оставаясь в воде слишком долго; а затем красуется на пирсе, разодетая в одежды, от которых из-за чудовищности формы и дисгармонии цветов заскрежетали бы зубы у греческой Навсикаи или у любой среднестатистической индуистской женщины в наши дни. Или, что еще печальнее, она сидит на стульях и скамейках весь утомительный день, склонив голову на грудь, над каким-нибудь романом из “Библиотеки”, а затем возвращается к чаю с креветками и жилью, аромат которого не исключает, а иногда и не исключает брюшного тифа. Ах, бедная Навсикая из Англии! Это печальное зрелище для тех, кто думает о настоящем и читал о прошлом. Нет ничего печального в том, что твой старый отец — торговец, или клерк, или кто—то еще, — который в свое время хорошо потрудился и надеется сделать еще, сидит рядом с твоей старой матерью, которая в свое время хорошо потрудились — среди прочего, это самая тяжелая работа из всех, которая произвела тебя на свет и удерживает тебя в нем до сих пор, - честные, добрые, жизнерадостные люди, и не неэффективные в своем ремесле; хотя средний нортумбриец, или горец, или ирландский выходец с Востока, помимо того, что обладает мозгом, в пять раз превышающим интеллектуальную силу, мог бы управлять тобой. пятерых таких людей сбросить со скалы голыми руками. Я бы сказал, что это не печальное зрелище - видеть, как они сидят на прибрежных скамейках, безучастно глядя на воду, корабли и солнечный свет, и наслаждаются, как

множество мух на стене, новым актом ничегонеделания. Мудрецы печалются не о стариках, а о вас. Где ваша жизненная сила? Где ваше “Жизнелюбие”, ваше наслаждение избыточной жизнью и властью? Почему вы даже не можете танцевать и петь, до тех пор, пока время от времени, возможно, ночью, когда вы должны быть в безопасности в постели, но когда слабый мозг, получив дневную пищу, во второй раз пробуждается к ложному возбуждению от удовольствия при газовом свете? Все, что от этого осталось, войдет в эту дурацкую книгу, которой восхищается женское начало в тебе, все еще здоровое и живое; потому что она ставит тебя в воображаемые ситуации, в которых ты никогда не окажешься, и вдохновляет тебя на эмоции, некоторые из которых, возможно, тебе лучше никогда не испытывать. Бедная Навсикая — старая, как думают некоторые люди, еще до того, как ты стала молодой.

И теперь они собираются “развивать” вас; и позволить вам получить свою долю в “высшем образовании женщин”, заставляя вас читать больше книг, считать больше, сдавать экзамены и наклоняться над партами по ночам после того, как весь день занимались каким-нибудь другим занятием; и учить вас латыни и даже греческому.

Что ж, мы с радостью научим вас греческому, если вы таким образом научитесь читать древнюю историю Навсикаи, и каким образом она была девушкой, и каково было ее образование. Несомненно, вы будете восхищаться ею. Но не позволяйте своему восхищению ограничиться ее скучным, наполовину средневековым изображением - такой, какой она никогда не выглядела. Копируй сам; и даже если ты не опускаешься так низко — или не поднимаешься так высоко, — как стираешь домашнюю одежду, по крайней мере, научись играть в бал; и пой на свежем воздухе и при солнечном свете, а не в театрах и концертных залах при газовом свете; и пристойно следи за своим здоровьем; и одевайся не как “парижанка” - и, конечно, не как Навсикая древности, ибо это значит требовать слишком многого: — но несколько больше как среднестатистическая девушка из Хайленда; и старайся походить на нее и быть похожей на нее, о которой пел Вордсворт. —

“Выражение лица,
В котором я совершенно ясно могу проследить
Добродушие и воспитанный в домашних условиях здравый смысл,
Созревающий в совершенной невинности.
Здесь, разбросанная, как случайное семя,
Вдали от мужчин, ты не нуждаешься в
смущенном взгляде застенчивого горя
И девичьей стыдливости.
Ты носишь на своем челе ясную
свободу горца.
Лицо с разлитым весельем,
Мягкими улыбками, порожденными человеческой добротой,
И кажущейся завершенностью, которая колеблет
Твою вежливость, вокруг тебя играет.
Без всяких ограничений, спаси таких, как пружины,
От быстрых и нетерпеливых посещений
мыслей, которые лежат за пределами досягаемости
твоих немногих слов английской речи.

Сладко переносимое рабство, борьба, Которая
Придает твоим жестам изящество и жизнь”.

Ах, еще неиспорченная Навсикая Севера; потомок смуглой нежной кельтской девушки и прекрасного добросердечного скандинавского викинга, благодари Бога за твой вереск и свежий воздух, за коров, за которыми ты ухаживаешь, и за шерсть, которую ты прядешь; и не приезжай искать счастья, дитя, в порочный Лондон; и не привози, как, говорят, ты быстро делаешь, уродливую моду этого лондонского городка, неуклюжие копии парижского кокнизма в свой дом в Горах; и не отказывайся от здорового и изящного, свободное и скромное платье твоей матери и матери твоей матери, чтобы уродовать маленькую кирку в субботние дни кринолином и корсетом, сапогами на высоком каблуке и волосами других женщин.

Только что было предложено все больше и больше приравнять образование девочек к образованию мальчиков. Если это означает, что девочки должны просто выучить больше уроков и изучать то, чему учат их братьев, в дополнение к тому, чему учили их матерей; тогда остается надеяться, по крайней мере физиологам и патриотам, что схема погрузится в ту неопределенность, к которой в свободной и сносно рациональной стране, несомненно, тяготеют все несовершенно и непродуманные схемы. Но если предложение является добросовестным, то следует иметь в виду, что в государственных школах Англии и, я полагаю, во всех частных школах, которые перенимают у них свой тон, крикет и футбол более или менее обязательны, поскольку считаются неотъемлемой частью образования англичанина; и что они, вероятно, останутся таковыми, несмотря на все предписания: потому что учителя и мальчики одинаково знают, что игры в долгосрочной перспективе не мешают работе мальчика; что один и тот же мальчик очень часто преуспевает и в том, и в другом; что игры поддерживают его здоровье. за его работу; что дух, с которым он относится к своим играм, когда учится в младших классах школы, является справедливым испытанием духа, с которым он отнесется к своей работе, когда поступит в высшую школу; и что нет ничего хуже для мальчика, чем попасть в эту бездельную компанию, завсегдаев кондитерских, которые ни усердно играют, ни много работают, и обычно экстравагантны, а часто и порочны. Более того, они хорошо знают, что игры способствуют не только физическому, но и нравственному здоровью; что на игровом поле мальчики приобретают добродетели, которых им не могут дать никакие книги; не просто смелость и выносливость, но, что еще лучше, вспыльчивость, самоограничение, справедливость, честь, непредвзятое одобрение чужих успехов и все те жизненные “плюсы и минусы”, которые так полезны человеку, когда он выходит в мир, и без которых, действительно, его успех всегда ущербен и частичен.

Теперь: если организаторы программы высшего образования для женщин принуждают девочек к любому обучению аналог нашей государственной школе игры; если, например, они будут настаивать на том, что самый натуральный и полезный из всех упражнения, танцы, чтобы развивать в нижней половине тела; петь, чтобы расширить легкие и регулировать дыхание, а на некоторые игры—в мяч или что не—которые будут гарантировать, что поднятые груди, и выправка, и общую силу верхней части туловища, без полной оксигенации крови и, следовательно, общего состояния здоровья, невозможно; если они строго запрещают затаенная в корсет, высокие каблуки, и все, что мешает свободному росту и свободное движение; если они будут тщательно изучать все, что было написано на “полставки системы” Мистер Чедвик и другими; и принять определенный физический закон, что, для того, чтобы отремонтировать мозг день ото дня растущее существо, должно быть много свежего воздуха и

играй, и что ребенок, который учится в течение четырех часов и четырех часов, узнаете больше, и изучить его легче, чем ребенка, который познает мир на целых восемь часов; если, одним словом, они научат девочек не просто разобраться в греческом языке, но, чтобы скопировать несколько греческих физического воспитания, что “музыка и гимнастика”, которые помогли сделать умнейшая раса Старого Света и способнейшие гонки аналогично: то он получит благодарность от Патриота и физиолог, делая все возможное, чтобы оставаться тенденции к снижению телосложения, и, в конечном итоге, в морали, в ближайшие поколения английских женщин.

Мне жаль говорить, что пока я слышу лишь об одном движении в этом направлении среди сторонников “высшего образования женщин”. {88} Я надеюсь, что этот предмет будет методично изучен теми одаренными дамами, которые познакомились сами и прилагают усилия, чтобы познакомить других женщин с основными принципами здоровья; и что они могут помочь предотвратить “превращение” грядущих поколений в такое количество китайских карликов - или идиотов под воздействием вредных стимуляторов конкурсных экзаменов и так далее.

МАТЕРИ ВОЗДУХА.

“Die Natur ist die Bewegung.”

Кто эти, кто тихо следует за нами по болотам в осенний вечер? Их крылья взмахивают и шуршат в еловых ветвях, и они перешептываются перед нами и позади, как будто нежно окликают друг друга, как птицы, возвращающиеся домой к своим гнездам.

Дятел на сосновых стволах узнает их и громко смеется от радости, когда они пролетают мимо. Грачи над пастбищем знают их, кружат и кувыркаются в своей игре. Коричневые листья на дубах знают их, они слабо трепещут и манят, когда они пролетают. И в шелесте сухих листьев есть смысл и крик усталых существ, которые жаждут отдыха.

“Заберите нас домой, заберите нас домой, вы, нежные воздушные матери, теперь, когда солнечные лучи потускнели для наших отцов. Наша зеленая летняя красота вся потускнела, и наши лица все больше и больше бледнеют; и бутоны, дети, которых мы вскормили, прогоняют нас, неблагодарных, с наших мест. Унесите нас вниз, вы, нежные матери-воздух, на своих крыльях к тихой земле, чтобы мы могли вернуться в наш дом, как и все остальное, и снова стать воздухом и солнечным светом ”.

И смелые молодые семена елей знают их и нетерпеливо гремят в своих шишках. “Дуйте сильнее, дуйте яростнее, медленные матери воздуха, и вытряхните нас из наших тюрем из мертвого дерева, чтобы мы могли улететь на северо-восток, каждый на своем ороговевшем крыле. Помогите нам только коснуться вересковой пустоши вон там, и отныне мы будем хорошо заботиться о себе; мы будем нырять, как стрелы, сквозь вереск, и вонзать наши острые клювы в почву, и снова подниматься, как зеленые деревья навстречу солнечному свету, и расправлять крепкие ветви ”.

Они никогда не думают, дерзкие глупцы, о том, что грядет, что унизит их в разгар их гордыни; о безрассудном топоре, который срубит их, и пиле, которая превратит их в бревна; и о поездах, которые будут с ревом и грохотом проезжать над ними, пока они будут лежать погребенными в гравии дороги, пока их не перемелют и не сгнут в порошок, а потом выкопают и бросят в огонь,

чтобы они тоже могли вернуться домой, как все остальное, и снова стать воздухом и солнечным светом.

И матери воздуха слышат их молитвы и исполняют их повеления, но слабо, ибо сами они устали и опечалены.

Устали и печальны матери воздуха, и одежды их рвутся и тускнеют. Посмотрите на них, когда они струятся над черным лесом под тусклым юго-западным солнцем; длинные линии и венки меланхолично-серого цвета с тускло-желтыми или мертвенно-коричневыми пятнами. Они переплыли далеко моря и совершили много диких поступков на своем пути; и теперь, когда они достигли суши, подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, они лягут и будут плакать до тех пор, пока не перестанут плакать.

Ах, как отличались эти нежные матери-воздух, когда, невидимые для глаз смертных, отправлялись в свое долгое путешествие по небу, пять тысяч миль через море! Из пылающего котла, раскинувшегося между двумя Новыми Мирами, они выскочили, когда великое солнце позвало их, в вихрях и струях чистого горячего пара; и, движимые собственной страстью, устремились на север, в то время как вращающийся земной шар уносил их на восток. И они устремились на северо-восток, через веселые острова Вест-Индии, оставив внизу блеск летучих рыб и косые глаза жестоких акул; над полями тростника, садами равнин и рощами какао, окаймляющими берега; над скалами, содрогающимися от землетрясений, и пиками старых вулканов, усыпанными пеплом; в то время как далеко внизу призраки их умерших сестер спешили домой, уносимые северо-восточным бризом.

Дикие поступки совершали они, устремляясь вперед, и боролись, и дрались между собой, вверх и вниз, кругами и задом наперед, в ярости своей слепой горячей юности. Они не обращали внимания ни на дерево, когда ломали его, ни на корабль, когда швыряли его на волнах; ни на крик тонущего моряка, ни на нужду его малышей на берегу; поспешные и эгоистичные, как дети, и, как дети, укрощенные собственной яростью. Ибо они устали бороться друг с другом, и разбрасывая тяжелую воду в волны; и их крылья забивались морскими брызгами и все больше и больше пропитывались паром. Но наконец море под ними похолодало, и прозрачный пар превратился в туман; и они увидели себя и друг друга, окутанных тусклыми дождевыми облаками. Затем они набросили на себя свои белые облачные одежды и закрылись вуалью от великого стыда; и сказали: “Мы были дикими и своенравными; и, увы! наша чистая светлая юность ушла. Но перед смертью мы совершим еще одно доброе дело, и значит, наша жизнь была прожита не напрасно. Мы поплывем дальше, к земле, и будем плакать там; и освежим все мягким теплым дождем; и заставим траву расти, почки распускаться; утолим жажду людей и животных и очистим запятнанный мир”.

Итак, они бредут мимо нас, матерей воздуха, чтобы оплакать листья в своих могилах; оплакать семена в своих грядках и оплакать почву на равнинах; подготовить плодородную землю к зиме, а затем уползти на север, в ледяной мир, и там умереть.

Усталые, и еще более усталые, медленно, и еще медленнее они будут продвигаться далеко на север, через быстро остывающие моря. Ибо на них обречены, и они никогда больше не успокоятся, пока не упокоятся на самом Северном полюсе, неподвижной оси вращающегося мира; и не утонут в смерти вокруг него, и не станут одетыми в белый снег призраками.

Но будут ли они жить снова, эти матери холодного воздуха? Да, они должны жить снова. Ибо все движется вечно; и даже призраки не могут успокоиться. Так трупы их сестер, наваливаясь на них сверху, выталкивают их наружу, снова выталкивают на юг, к солнцу; через льдины и вокруг айсбергов, плача снежными слезами, в то время как люди ненавидят их дикие резкие голоса и сжимаются перед их горьким дыханием. Они не знают, что холодные, безжалостные снежные бури, налетающие с черного северо-востока, уносят призраков мягких воздушных матерей, как кающихся, к их отцу, великому солнцу.

Но когда они летят на юг, теплая жизнь приводит их в восторг, и они сбрасывают с себя груз мокрого снега; и встречают своих юных живых сестер с юга, и приветствуют их вспышками и раскатами грома. И, с Божьей помощью, не пройдет и нескольких недель, как мы, устремляясь на Запад, настигнем призраков этих воздушных матерей, спешащих обратно к своему отцу, великому солнцу. Свежие и сияющие под свежим ярким небом, они помчатся вместе с нами к нашему дому, чтобы обрести новое тепло, новую жизнь, новую силу и снова приступить к своей работе. Люди называют их юго-западным ветром, этими матерями воздуха; а их призраки - северо-восточной торговлей; и ценят их, и по праву, потому что они переносят торговцев за море домой. Но мудрые люди и маленькие дети должны смотреть на них более проницательными глазами и говорить: “Разве эти ветры не могут быть живыми существами? Они тоже являются мыслями о Боге, для которого все живут”.

Ибо разве наша жизнь не похожа на их жизнь? Разве мы не приходим и не уходим, как они? Мы вышли из безграничного лона Божьего, источника жизни; через эгоистичную, бурную юность и слезы раскаяния — только не слишком поздно; через зрелость, не совсем бесполезную; через медленную и холодную старость мы возвращаемся Туда, Откуда пришли; в Лоно Божье еще раз — чтобы, может быть, снова отправиться вперед со свежими знаниями и свежими силами для более благородной работы. Аминь.

* * * * *

Таково было пророчество, которое я узнал, или казалось, что узнал, от юго-западного ветра с Атлантики в один восхитительный вечер. И это было исполнено ночью, насколько нежные матери воздуха могли исполнить это для глупого человека.

“Всю ночь в лесу раздавался рев;
Шел сильный дождь, который превратился в наводнение;
Но сейчас солнце встает спокойное и яркое,
Птицы поют в дальних лесах;
Под его собственный нежный голос выводит стайка голубей,
сойка отвечает на стрекотание сороки,
И весь воздух наполняется приятным шумом вод”

Но был ли я мрачным и расстроенным человеком, если в такое утро, как это, я стоял на мостике через такой-то ручей и смотрел, как бежит вода, с чем-то вроде вздоха? Или если бы, когда школьник рядом со мной посетовал, что наводнение наверняка закончится и его день рыбной ловли испорчен, я сказал бы ему— “Ах, мой мальчик, это небольшое дело. Посмотрите на то, что вы видите сейчас, и поймите, что означают варварство и расточительство. Посмотрите на всю эту прекрасную воду, которую Бог послал нам сюда из Атлантики, без проблем и затрат для нас. Тысячи и десятки тысяч галлонов воды потекут сегодня под этим мостом; и что мы будем с

этим делать? Ничего. И все же: подумайте только о мельницах, которые могла бы вращать эта вода. Подумайте, как это могло бы поддержать здоровье и чистоту у бедных созданий, запертых на задворках ближайшего городка или даже в самом Лондоне. Подумайте хотя бы о том, что через три месяца сельские жители во многих частях Англии, возможно, будут взывать о дожде и бояться неурожая, лихорадки, скарлатины и мора скота из-за нехватки той самой воды, которой мы сейчас впустую позволяем стекать обратно в море, откуда она взялась. И все же мы называем себя цивилизованным народом”.

Я знаю, что неразумно читать проповеди мальчикам. И все же иногда человек должен высказывать свое сердце, даже, подобно рабу Мидаса, камышам на берегу реки. И я так часто, ловя рыбу вверх и вниз по течению многих ручьев, шепотом рассказывал свою историю тем же самым речным тростникам; и рассказывал им, что у моего Господина, Владыки Демоса, были, как у старого Мидаса, ослиные уши, несмотря на все его золото, что я подумал, что мог бы на этот раз рассказать ее и мальчику в надежде, что он поможет своему поколению исправить то, чего, похоже, не может исправить мое собственное поколение.

Я мог бы сказать ему больше, но не стал. Ибо нехорошо слишком рано разрушать детскую иллюзию, что люди должны быть мудрыми, потому что они выросли, имеют право голоса и правят — или думают, что правят — миром. Ребенок достаточно скоро сам поймет, насколько это верно. Если правда будет навязана ему горячими словами тех, с кем он живет, это может породить в нем то презрение, бурное и потому бесплодное, которое приводит к революциям; а не ту жалость, спокойную и потому полезную, которая приводит к реформам.

Так я мог бы сказать ему, но не сделал этого —

И тогда люди молятся о дожде:

Мой мальчик, ты когда-нибудь слышал старую восточную легенду о цыганах? О том, что они были такими хорошими музыкантами, что какой-то великий индийский султан послал за всем племенем и посадил их возле своего дворца, и дал им землю, и плуги, чтобы возделывать ее, и семена, чтобы засеять ее, чтобы они могли жить там, играть и петь для него.

Но когда наступила зима, все цыгане пришли к султану и закричали, что они умирают с голоду. “Но что ты сделал с семенами кукурузы, которые я дал тебе?” “О Свет Века, мы ели ее летом”. “А что ты сделал с плугами, которые я дал тебе?” “О Слава Вселенной, мы сожгли их, чтобы испечь на них зерно”.

Тогда сказал тот великий султан— “Подобно бабочкам, вы жили; и подобно бабочкам, вы будете странствовать”. И он изгнал их. И вот так цыгане пришли сюда с Востока.

Теперь предположим, что султан всех султанов, который посылает дождь, дал бы подобный ответ нам, глупым человеческим существам, когда мы молились о дожде: “Но что вы сделали с дождем, который я дал вам шесть месяцев назад?” “Мы позволили ему стекать в море”. “Тогда, прежде чем просить о новых дождях, подготовьте места, где вы сможете сохранить его, когда он у вас будет”. “Но в большинстве случаев это было бы слишком дорого. Мы можем с большей выгодой использовать наш капитал в других направлениях”.

Не мне говорить, какой ответ можно было бы дать на такое оправдание. Я думаю, что все еще неискушенное детское представление о добре и зле вскоре дало бы ответ; и, вероятно, один —

учитывая сложность, затруднительность и новизну всего вопроса — несколько суров, какими обычно бывают суждения детей.

Но разве не было бы хорошо, если бы наших детей не учили обвинять кого-либо в том, что произошло в прошлом, а научили чему-нибудь о том, что следует делать сейчас, что должно быть сделано в ближайшее время в связи с дождями на этих островах; и о других, родственных вопросах здравоохранения, от решения которых зависит и будет все больше и больше зависеть жизнь миллионов? Можно было бы подумать, что те государственные школы и колледжи, которые желают монополизировать образование землевладельцев; крупных работодателей труда; духовенства; и вообще всех, кому следовало бы быть знакомыми с имущественными обязательствами, условиями общественного здравоохранения и, одним словом, с общими законами того, что сейчас называется социальной наукой, — можно было бы подумать, говоря, что эти государственные школы и колледжи научили бы своих учеников хотя бы отчасти этим вопросам, чтобы они могли вступить в жизнь с по крайней мере некоторыми приблизительными представлениями о причинах, которые делают людей здоровыми или нездоровыми, о том, что они делают людей здоровыми или нездоровыми. богатый или бедный, обеспеченный или убогий, полезный или опасный для государства. Но до тех пор, пока наши великие учебные заведения, находящиеся в безопасности или воображающие себя в безопасности в каком-нибудь заколдованном замке, отгороженные древней магией от мира живых, уделяют особое внимание латинским и греческим стихам: мудрый отец во время каникул, я надеюсь, время от времени будет говорить примерно так:

Ты должен понять, мой мальчик, что вся вода в стране поступает с неба и ниоткуда больше; и что, следовательно, сберечь и сохранить воду, когда она падает, - это вопрос жизни и смерти для посевов, людей и животных; ибо с водой или без нее - это жизнь или смерть. Если бы я взял, например, воду с вересковых пустошей наверху и вылил ее вон на то поле, я мог бы удвоить, и более чем удвоить, урожай на этом поле отныне.

Тогда почему я этого не делаю?

Только потому, что поле находится выше дома; и если — теперь вот одна вещь, которую вы и каждый цивилизованный человек должны знать, — если у вас есть заливные луга или любая другая “орошаемая” земля, как ее называют, над домом или даже на одном уровне с ним, это наверняка приведет не просто к холоду и сырости, но и к лихорадке. Наши предки не понимали этого; и они строили свои дома, как строится этот, в самых низких местах, какие только могли найти: иногда потому, что они хотели быть рядом с прудами, откуда они могли добывать рыбу в Великий пост; но чаще, я думаю, потому, что они хотели быть защищенными от ветра. В их окнах не было стекол, как у нас; или, по крайней мере, только решетчатые створки, которые пропускали ветер и холод; и они боялись высоких иоткрытых, а значит, действительно полезных для здоровья мест. Но теперь, когда у нас есть хорошее стекло, створчатые окна и двери, которые будут плотно закрываться, мы можем строить теплые дома там, где нам захочется. И если вам когда-нибудь придется заниматься строительством коттеджей, помните, что ваш долг перед людьми, которые будут в них жить, и, следовательно, перед государством, позаботиться о том, чтобы они стояли высоко и сухо, чтобы вода не могла стекать в их фундаменты и чтобы туман и ядовитые газы, выделяемые гниющими овощами, также не могли стекать вниз. Ты узнаешь обо всем этом больше, когда узнаешь, как и подобает каждому цивилизованному парню в наши дни, что-нибудь о химии и законах движения жидкостей и газов. Но вы уже

знаете, что в низинах цветы гибнут от морозов раньше, чем в горах; и что по ночам над ручьями всегда стелется туман; и что кислый запах болот, который заставляет нас закрывать окна на закате, доносится с холма, а не поднимается из долины. Итак, все эти явления вызваны одним и тем же законом: холодный воздух тяжелее теплого и, следовательно, подобно большому количеству воды, должен стекать с холма.

Но как насчет осадков?

Что ж, я немного отошел от темы дождей, хотя и не так далеко, как вы предполагаете; ведь лихорадка, агония и ревматизм обычно означают — дождь не в том месте. Но если бы вы знали, сколько болезней, мучительной боли, смертей и горя возникает даже по сей день из-за незнания этих простых законов, тогда вы бы тщательно запомнили их и захотели узнать о них больше. Но теперь о том, что вода является жизнью для животных. Ты помнишь — хотя ты еще недостаточно взрослый — мор скота? Как животные умирали или их приходилось убивать и хоронить десятками тысяч; и как нищета и разорение постигли сотни честных мужчин и женщин во многих богатейших графствах Англии; но как у нас в этой долине не было чумы крупного рогатого скота; и как ее не было — насколько я помню — ни на возвышенностях Девона и Корнуолла, ни в Уэльсе, ни на Шотландском нагорье? Теперь вы знаете, почему это было? Просто потому, что мы здесь, как и другие жители нагорья, находимся в такой стране, какой была Палестина до того, как глупые евреи вырубили весь свой лес и таким образом уничтожили свои собственные дождевые потоки — “стране водных потоков, фонтанов и глубин, бьющих из долин и холмов”. Здесь едва ли найдется поле, на котором, слава Богу, не было бы своего бегущего ручья или пресного источника, из которого наш скот пил бы здоровье и жизнь, в то время как на глинистых землях Чешира и в Кембриджширских болотах, которые были осушены совершенно досуха, бедняжки слишком часто не пили воды, за исключением воды из тех же самых гнилых прудов, в которых они стояли весь день, чтобы охладиться и отогнать мух. Я, конечно, не говорю, что плохая вода вызвала чуму крупного рогатого скота. Она пришла в результате инфекции с Востока Европы. Но я говорю, что плохая вода сделала скот готовым к ней и привела к ее распространению по стране; и когда ты станешь достаточно взрослым, я дам тебе множество доказательств — некоторые из стад твоих собственных родственников, — что то, что я говорю, правда.

А что касается того, что чистая вода является жизнью для людей: почему у нас здесь никогда не бывает лихорадки и почти никогда не бывает таких болезней, как лихорадочные заразы, как их называют врачи? Или, если больной попадает в наш приход извне, почему лихорадка никогда не распространяется? По той же причине, по которой у нас не было чумы скота. Потому что у нас рядом с каждым коттеджем больше чистой воды, чем нам нужно. И вот что я вам скажу: единственные две вспышки смертельной болезни, которые были у нас здесь за тридцать лет, были, насколько я мог судить, вызваны тем, что в колодцы бедняков попала грязная вода. Вы должны помнить, что вода - это жизнь, когда она чиста, и смерть, когда она загрязнена. Ибо он может нести в себе невидимые глазу яды, даже когда выглядит чистым и искрящимся, а на вкус мягкий и сладковатый, которые, возможно, убили больше людей, чем когда-либо было убито в битве. Возможно, вы читали, как афиняне, умирая от чумы, обвиняли лакедемонян за городскими стенами в отравлении их колодцев; или как во время некоторых эпидемий средневековья простые люди обвиняли бедных, безобидных евреев в отравлении колодцев, нападали на них и совершали ужасные убийства. Я не сомневаюсь, что они были правы, полагая, что вода из колодцев заразила их мором; но у них не хватило здравого смысла понять,

что они отравляли сами колодцы своей грязью и небрежностью; или, в случае бедных осажденных Афин, вероятно, просто перенаселенностью, которая уже стоила многим жизней и будет стоять еще дороже. И мне жаль говорить тебе, мой маленький человечек, что даже сейчас у слишком многих людей не больше здравого смысла, чем было, и в результате они умирают. Если бы вы могли увидеть поле битвы и людей, подстреленных, корчащихся и умирающих сотнями от снарядов и пуль, разве это не показалось бы вам ужасным зрелищем? Тогда — я не хочу огорчать вас слишком рано, но это факт, который каждый должен знать, — что ежегодно в Великобритании из-за плохой воды и нехватки воды погибает и ранится больше людей, и не только сильных мужчин, но и женщин и маленьких детей, чем было убито и ранено в любом сражении, которое велось с тех пор, как вы родились. Медики это хорошо знают. А когда вы станете старше, вы сможете сами увидеть это в отчетах Генерального секретаря, справочниках, брошюрах и так далее, без конца.

Но почему люди не останавливают такую ужасную гибель людей?

Что ж, мой дорогой мальчик, истинные причины этого стали известны только последние тридцать или сорок лет; а мы, англичане, как, к своему огорчению, обнаружил добрый король Альфред тысячу лет назад, очень медлительны, даже когда видим, что что-то должно быть сделано. Будем надеяться, что в этом вопросе — до сих пор мы были такими в большинстве случаев — мы будем подобны черепахе из басни, а не зайцу; и, двигаясь медленно, но верно, мы наконец выиграем гонку. Но теперь подумайте сами: и посмотрите, что бы вы сделали, чтобы спасти этих людей от отравления плохой водой. Помните, что простой вопрос заключается в следующем — дождевая вода нисходит с небес в виде воды, и ничего, кроме воды. В конце концов, дождевая вода - единственная чистая вода. Как бы вы сохранили ее для бедных людей, у которых ее нет? Вот так; беги и охотись на кроликов на болотах; но посмотри, тем временем, как бы ты сохранил немного этой прекрасной и драгоценной воды, которая с ревом устремляется в море.

* * * * *

Ну? Что бы ты сделал? Соорудил пруды, говоришь, вроде старых монашеских прудов, сейчас все разрушено. Перекрыть все лощины у них во рту и превратить их в водохранилища.

“Из уст младенцев” — Что ж, это придется сделать. Это делается все чаще и чаще, более или менее успешно. Я думаю, первыми это сделали добрые люди Глазго; а теперь добрые люди Манчестера и других северных городов сделали это и тем самым уже спасли много человеческих жизней. Но когда-нибудь это должно быть сделано по всей Англии, Уэльсу и большей части Шотландии. Ибо горные вершины и вересковые пустоши, мой мальчик, по прекрасному закону природы компенсируют свою бедность, принося богатство, которого не могут дать богатые низменности. Ты не понимаешь? Тогда смотри. Вон на том болоте не растут ни кукуруза, ни трава. Но одно на нем может расти и растет, без чего у нас не было бы ни кукурузы, ни травы, и это — вода. Мало того, что наверху выпадает гораздо больше дождя, чем здесь, внизу, но даже в засуху высокогорные вересковые пустоши конденсируют влагу в росу и, таким образом, дают некоторое количество воды, даже когда низины выжжены засухой. Причину этого вы должны узнать позже. То, что это так, вы должны знать сами. Ибо, как вы знаете, на высоких меловых склонах, где фермеры устраивают пруд для овец, они, если у них хватит ума, никогда не устраивают его в долине или на склоне холма, а на самой унылой вершине самого высокого холма; и там, если они смогут однажды наполнить его зимой снегом и

дождем, благословенная ночная роса сохранит в нем немного воды на все лето, в то время как пруды внизу совершенно высохнут. И даже так, насколько я знаю, обстоит дело с этим самым болотом. Кукуруза и трава на нем расти не будут, потому что в песчаной почве слишком мало “основных продуктов”, то есть растворимых минералов. Но сколько воды в нем может вырасти, вы можете приблизительно судить сами, вспомнив, сколько таких ручьев, как этот, стекает с него сейчас, унося простую грязь в реку, а затем в море.

Но почему бы нам сразу не построить плотины и не сберечь воду?

Потому что мы не можем себе этого позволить. Никто не покупал воду, когда мы ее хранили. Богатые в городах и сельской местности всегда будут заботиться — и они совершенно правы, — о том, чтобы у них было достаточно воды для себя и для своих слуг, чего бы это им ни стоило. Но люди беднее — и поэтому обычно, увы! чем более невежественны, тем меньше воды они получают; и тем меньше они хотят иметь воду; и тем меньше они склонны платить за нее; и тем больше, к сожалению, они тратят впустую то небольшое, что получают; и мне еще больше жаль говорить, что они портят и даже крадут и продают — по крайней мере, в Лондоне — запорные краны и подводные трубы, по которым вода подается в их дома. Так что содержание водопроводной лавки - дело очень хлопотное и ненадежное, и вряд ли за него заплатят нам или кому-либо еще в округе.

Но почему бы не позволить какой-нибудь компании управлять этим, как они управляют железными дорогами, газом и другими вещами?

Ах, я вижу, в последнее время вы много слышали о компаниях. Но вот что я вам скажу: когда вы вырастаете и будете иметь право голоса и влияние, вашим долгом, если вы намерены быть добропорядочным гражданином, будет не только не передавать водоснабжение Англии в руки новых компаний, но и помочь забрать из их рук то водоснабжение, которым они уже управляют, особенно в Лондоне; а также газоснабжение; и железные дороги; и все остальное, одним словом, чем все пользуются и должны пользоваться. Ибо вы должны понять — по крайней мере, как можно скорее, — что, хотя люди, составляющие компании, ничем не хуже других людей, а некоторые из них, как вам следует знать, очень хорошие люди, все же на что они должны обращать внимание, так это на свою прибыль; и чем меньше воды они поставляют и чем она хуже, тем больше прибыли они получают. К сожалению, я должен сказать, что большая часть воды загрязняется еще до того, как до нее добираются водопроводные компании, как это будет с водой, протекающей мимо нас, и с водой Темзы над Лондоном. Поэтому он должен быть очищен или частично очищен с очень большими затратами. Таким образом, правительственные чиновники должны инспектировать компании водоснабжения — проще говоря, наблюдать — за очень большими расходами для страны; и принуждать их делать все возможное и проявлять максимальную осторожность. И вот так получилось, что лондонская вода сейчас далеко не так плоха, как была тридцать лет назад, когда ее годилось пить не больше, чем воду в резервуаре на скотном дворе. Но все же у нас в Лондоне должно быть больше воды, причем лучшего качества, потому что ее количество растет год от года. В том, что мы называем Лондоном, уже проживает более трех миллионов человек; и еще до того, как вы состаритесь, их может быть от четырех до пяти миллионов. Теперь снабжение всех этих людей водой - это обязанность, которую мы не должны перекладывать ни на какие частные компании. Это должно быть сделано государственной властью, как подобает в свободной самоуправляющейся стране. В этом вопросе, как и во всех других, мы постараемся сделать то,

что Королевская комиссия сказала нам четыре года назад, что мы должны сделать. Я надеюсь, что вы увидите, хотя я, возможно, и не увижу, тот день, когда то, что мы называем Лондоном, но которое на самом деле на девять десятых состоит всего лишь из множества отдельных деревень, прижавшихся друг к другу, будет разделено на три больших самоуправляющихся города, Лондон, Вестминстер и Саутворк; каждый со своей собственной корпорацией, как у почтенного и хорошо управляемого Лондонского сити; каждый управляет своим собственным водоснабжением, газоснабжением, канализацией и другими вопросами помимо этого; и управляет ими, как Дублин, Глазго, Манчестер, Ливерпуль и другие великие северные города. , гораздо дешевле и намного лучше, чем какие-либо компании могут сделать это за них.

Но где мы возьмем достаточно воды для всех этих миллионов людей? Рядом с Лондоном нет гор. Но мы могли бы дать им воду с наших вересковых пустошей.

Нет, нет, мой мальчик.

“Тот, кто не хочет, когда может, когда захочет, тот не получит”.

Лет пятнадцать назад лондонцы могли бы получать воду у нас; и я был одним из тех, кто делал все возможное, чтобы добыть ее для них; но компании, занимающиеся водоснабжением, отказались от нее; и теперь эта часть Англии становится такой густонаселенной и настолько ценной, что ей нужны все ее небольшие осадки для себя. Итак, вот еще один лист, вырванный из Сивиллиных книг для бедных старых водопроводных компаний. Ты не понимаешь: когда-нибудь поймешь. Но ты можешь утешать себя мыслями о Лондоне. Ибо так случилось, что это, я думаю, самый счастливый город в мире; и если бы это было не так, у нас была бы эпидемия за эпидемией, такая же ужасная, как великая чума времен Карла II. Древние бритты, ни в малейшей степени не понимая, что они делают, основали старый Лондон-сити в самом центре самого замечательного природного водоема на этом острове, а может быть, и во всей Европе, который простирается от Кента до Уилтшира и снова огибает Саффолк; и это милые старые меловые холмы.

Да ведь они всегда сухие.

ДА. Но дерн на них никогда не выгорает, а ручьи, протекающие через них, никогда не пересыхают и редко или вообще никогда не разливаются. Разве вы не знаете по Винчестеру, что это правда? Тогда куда же деваются все дожди и снега, которые выпадают на них из года в год, как не в сам мел, а также в зеленые пески под мелом? Вот она, впитанная, как губка, в неисчислимых количествах; некоторые думают, что ее хватит, чтобы снабдить Лондон, пусть он растет как можно больше. Хотел бы я тоже быть в этом уверен. Но Комиссия показала себя настолько мудрой и справедливой, а также храброй — слишком храброй, к сожалению, для тех, кто мог бы их поддержать, — что не мне оспаривать их мнение.

Но если в мелу было недостаточно воды, разве лондонцы не были достаточно богаты, чтобы привозить ее издалека?

Мой мальчик, в этом мы также согласимся с Комиссией — что нам не следует грабить Питера, чтобы заплатить Полу, и отвозить воду на расстояние, которое может понадобиться другим

людям, находящимся поблизости. Взгляните на карту Англии и южной Шотландии; и убедитесь сами, что справедливо с точки зрения географии и природы. Здесь есть четыре горных хребта; четыре больших водных поля. Во-первых, холмы на границе. Их количество осадков должно быть сохранено для Лотиана и крайнего севера Англии. Затем Йоркширские и Дербиширские холмы — центральный горный хребет Англии. К чести проницательных северян, их осадки уже накапливаются для промышленных округов к востоку и западу от холмов. Затем идут озерные горы — самое прекрасное водное поле из всех, потому что там выпадает намного больше дождей, чем в любом другом месте Англии. Но они понадобятся для снабжения Ланкашира, а когда-нибудь и самого Ливерпуля; потому что Ливерпуль сейчас использует дождевые воды, которые по праву принадлежат другим городам; и, кроме того, в Чешире есть множество графств и городков, которые были бы рады воде, в которой Ланкашир не нуждается. И последними идут горы Сноудон, величественное водное месторождение, которое я хорошо знаю; ибо моей давней мечтой было, что прежде чем я умру, я увижу, как все дожди Карнеддов, Глайдерсов, Сиабода и самого Сноудона будут перенесены через реку Конвей, чтобы питать шахтерские районы Северного Уэльса, где ручьи сейчас сплошь загрязнены нефтью и свинцом; а затем на западные месторождения угля и железа, в Вулверхэмптон и сам Бирмингем: и если бы я был инженером, который добился этого, я был бы счастливее — еще больше гордился бы тем, что я здесь. не смею сказать — чем если бы я написал более благородные картины, чем Рафаэль, или написал более благородные пьесы, чем Шекспир. Я говорю это, мальчик, совершенно обдуманно и серьезно. Но пока что, разве вы не видите, что в округах, где можно найти уголь и железо, а свежие продукты могут появиться в любой день в любом месте, каждый округ имеет право требовать для себя ближайшего количества осадков? А теперь, когда мы поставили воду на свое место, давайте посмотрим, что мы будем с ней делать.

Но почему ты говоришь "мы"? Можем ли мы с тобой все это сделать?

Мой мальчик, разве мы с тобой не свободные граждане, не являемся частью народа, Общим достоянием — как гласит старое доброе слово — этой страны? И разве мы не образованные люди — или мы не должны быть вовремя — помимо этого? Помните, что под людьми я подразумеваю не только чернорабочих, которые только что получили право голоса; я имею в виду духовенство всех деноминаций; и джентльменов из прессы; и, наконец, но не в последнюю очередь, ученых. Если бы эти четыре класса вместе заявили каждому правительству: “У нас будет бесплатная вода, и в таком количестве, какое мы разумно выберем”; и сказали каждому кандидату в Палату общин: “Если вы не пообещаете предоставить нам столько бесплатной воды, сколько мы разумно выберем, мы не вернем вас в парламент”: тогда, я думаю, мы четверо должны оказать такое “давление” на правительство, которому не смогли бы долго сопротивляться ни водные компании, ни другие заинтересованные круги. И если какой-либо из этих четырех классов будет медлить и тратить свое время и влияние на дела гораздо менее важные и не столь насущные, остальные три должны будут посмеяться над ними, и более чем посмеяться над ними; и спросить их: “Зачем вам образование, зачем вам влияние, зачем вам голоса, почему вы свободные люди, а не рабы, если не для того, чтобы сохранить комфорт, порядочность, здоровье, жизни мужчин, женщин и детей — большинство из которых ваши собственные жены и ваши собственные дети?”

Но что нам делать с водой?

Что ж, в конце концов, это более практичный вопрос, чем спекуляции, основанные на предположении, что все классы будут выполнять свой долг. Но первое, что мы сделаем, - это обеспечим в самых бедных домах постоянный приток воды под высоким давлением; чтобы каждый мог брать столько воды, сколько ему нравится, вместо того чтобы хранить ее в маленьких цистернах, где она слишком часто становится грязной и гниющей.

Но не растратят ли они его тогда впустую?

Напротив, везде, где вода подается под высоким давлением, количество отходов, которое сейчас ужасно — некоторые говорят, что в Лондоне треть воды тратится впустую, - начинает сокращаться; и экономятся как вода, так и расходы. Если вы только подумаете, то увидите одну причину этого. Если женщина оставит открытым кран высокого давления, она затопит свою квартиру и квартиру соседки тоже. Она будет подобна слуге волшебника, который призвал демона, чтобы тот набрал для него воды; и он так и сделал; но, начав, он не остановился бы, и если бы волшебник не вернулся домой, человека и дом были бы смыты водой.

Но если это экономит деньги, почему этого не делают компании, занимающиеся водоснабжением?

Потому что — и здесь действительно есть много оправданий для бедных старых водопроводных компаний, когда многие из них сворачивают с пути при одном упоминании о постоянном водоснабжении, как бедная лошадь, которую заставляют тащить поклажу, которая, по ее мнению, для нее слишком тяжела - потому что, чтобы поддерживать порядок среди грязных, беспечных и часто пьяных людей, должны быть офицеры с законными полномочиями — мы будем называть их водопроводными полицейскими — которые могут входить в дома людей, когда захотят, и, если они обнаружат, что с водой что-то не так, навести порядок властной рукой и даже вызвать людей на помощь. которые сделали это неправильно. И это власть, которая в свободной стране никогда не должна передаваться служащим какой-либо частной компании, а только должностным лицам корпорации или правительства.

А что мы будем делать с остальной водой?

Что ж, я полагаю, у нас будет так много свободных средств, что мы сможем, по крайней мере, сделать это — в каждом районе каждого города и в центре каждого населенного пункта мы можем построить общественные бани и туалеты, где бедные мужчины и женщины смогут принимать теплые ванны, когда захотят; ибо сейчас они обычно вообще никогда не моются, потому что они не будут — и не должны, если они трудолюбивый народ, — мыться в холодной воде в течение девяти месяцев в году. И там они будут стирать свою одежду и сушить ее на пару; вместо того чтобы стирать ее, как сейчас, дома, либо под навесами на задворках, где они простужаются и заболевают ревматизмом, либо слишком часто, увы! в их собственных гостиных, в атмосфере зловонных испарений, которая гонит отца в трактир, а детей на улицу; и которая не только не позволяет снова тщательно высушить одежду, но и является, мой дорогой мальчик, как ты узнаешь, когда станешь постарше, настоящим рассадником болезней. И они будут иметь другие удобства и даже роскошь, эти общественные туалеты; и со временем их сделают изящными и утонченными, а также просто полезными. Более того, я думаю, мы даже поставим перед каждым из них настоящий фонтан; не такой, как питьевые фонтанчики - хотя они являются великим и необходимым благом, — которые вы видите тут и там на улицах, с крошечной струйкой воды на большом количестве дорогого камня; но настоящие фонтаны,

которые будут прыгать, и искриться, и плескаться, и булькать; и наполнять это место жизнью, светом и прохладой; и петь в ушах людей сладчайшую из всех земных песен — за исключением песни матери над своим ребенком — песни любви. “Веселящаяся вода”.

Но не будет ли это пустой тратой времени?

Да, мой мальчик. И именно по этой причине, я думаю, у нас, людей, будут свои фонтаны; хотя бы для того, чтобы заставить наши правительства, корпорации и все государственные органы и должностных лиц помнить, что все они — за исключением Ее Величества Королевы — наши слуги, а не мы их; и что мы выбираем воду не только для умывания, но и для игр, если захотим. И я верю — ибо мир, как вы увидите, полон не только справедливых, но и великодушных душ, — что, если бы водоснабжение было налажено по-настоящему правильно, во многих городах нашлось бы немало щедрых людей, которые, помимо обязательной нормы расхода воды, устроили бы своим бедным согражданам настоящий фонтан, подобный тем, что облагораживают большую площадь в Каркалоне и большую площадь в Нисме, чтобы они были “предметом красоты и радости на веки вечные”.

А теперь, если вы хотите вернуться к своей латыни и греческому, вы должны перевести мне на латынь — я не ожидаю, что вы сделаете это на греческий, хотя на греческий это получилось бы очень хорошо, поскольку греки знали все об этом задолго до римлян, — то, что здесь следует; и вы должны проверить факты, имена и т.д., содержащиеся в нем, по вашим словарям древности и биографиям, чтобы вы могли лучше запомнить, что там говорится. И к тому времени, я думаю, вы научитесь чему-нибудь более полезному для себя и, я надеюсь, для вашей страны в будущем, чем если бы вы научились составлять самые аккуратные греческие и латинские стихи, которые появились со времен мистера Каннинга.

* * * * *

Я часто забавлялся, представляя себе вопрос, который задал бы древнеримский император, восстань он из могилы и посети достопримечательности Лондона под руководством какого-нибудь государственного министра. Августовская тень, несомненно, восхитилась бы нашими железными дорогами и мостами, нашими соборами и общественными парками, а также многим другим, чего нам не нужно стыдиться. Но через некоторое время, я думаю, он стал бы пытливо и тщетно оглядываться по сторонам, будь то в Лондоне или в большинстве наших крупных городов, в поисках одного класса зданий, которые в его империи обычно были почти такими же заметными и великолепными, потому что, по мнению общественности, почти такими же необходимыми, как базилики и храмы: “А где, — спрашивал он, — находятся ваши общественные бани?” И если государственный министр, который был его проводником, ответит — “О великий цезарь, я действительно не знаю. Я полагаю, что они есть где-то в задней части того уродливого здания, которое мы называем Национальной галереей; и я думаю, что в последнее время в Ист-Энде было проведено несколько собраний и любительский концерт в Альберт-холле в поддержку восстановления по частным подпискам некоторых бань и прачечных в Бетнал-Грин, которые пришли в упадок. И в метрополии может быть еще две или три; ибо приходские ризницы имеют право по Акту парламента учреждать такие места, если сочтут нужным, и предпочитают оплачивать их из установленных тарифов”. — Тогда, я думаю, августейший шейд вполне мог бы ответить: “Мы привыкли называть вас в старом Риме северными варварами. Похоже, ты еще не утратил всех своих варварских привычек. Знаете ли вы, что в каждом городе Римской империи, как само собой разумеющееся, были открыты общественные бани не только

для беднейшего свободного человека, но и для раба, обычно за плату самой мелкой текущей монетой и часто безвозмездно? Известно ли вам, что в самом Риме миллионер за миллионером, император за императором, от Менения Агриппы и Нерона до Диоклетиана и Константина, строили бани, и еще больше бань; и соединяли с ними гимнастические залы для упражнений, лекционные залы, библиотеки и портики, где люди могли иметь тень, кров и отдыхать?— Замечу, кстати, что я не видел во всем вашем Лондоне ни одного крытого места, в котором люди могли бы укрыться во время принятия душа — Вам известно, что эти бани были самой великолепной архитектуры, украшенные мрамором, картинами, скульптурами, фонтанами, чем только можно? И все же я слышал, в Преисподней, что вы гордитесь здесь изучением ученых языков; и, действительно, в ваших государственных школах мало что преподавали, кроме греческого и латыни?”

Затем, если министр ответит— “О да, мы все это знаем. Даже после возрождения литературы в конце пятнадцатого века была написана целая литература — боюсь, большая ее часть была написана педантами, которые редко мыли даже руки и лицо, — о ваших греческих и римских банях. Мы с трепетом и восхищением посещаем их колоссальные руины в Италии и других местах; а открытие новой римской бани в любом старом городе наших островов вызывает интерес у всех наших антикваров ”.

“Тогда почему, ” может спросить тень, - вы не копируете пример, которым вы так восхищаетесь? Англия, должно быть, испытывает острую нужду либо в воде, либо в топливе для ее обогрева?”

“Напротив, у нас выпадает слишком много осадков; наша почва настолько влажная, что нам пришлось изобрести целое неизвестное вам искусство осушения недр; в то время как что касается топлива, то наши угольные шахты делают нас крупнейшим экспортером топлива в мире”.

Какая тихая усмешка могла бы тронуть губы Константина, когда он ответил— “Не напрасно, как я уже сказал, мы называли вас около полутора тысяч лет назад северными варварами. Но скажи мне, добрый варвар, которого я знаю как храброго и мудрого — ибо слава о вашей молодой британской империи дошла до нас даже в нижних мирах, и мы со всем уважением признаем в вас народ, более похожий на нас, римлян, чем любой другой, появившийся на земле за многие столетия, — как получилось, что ты забыл о священном долге содержать народ в чистоте, которому ты, несомненно, когда-то научился у нас? Когда ваши предки вступили в наши армии и выросли, некоторые из них, до великих полководцев и даже императоров, как те два крестьянина-тевтона, Юстин и Юстиниан, которые много лет спустя после меня правили в моем родном Константинополе, тогда, по крайней мере, вы увидели бани и пользовались ими; и почувствовали после бани, что вы цивилизованные люди, а не ‘sordidi ac foetentes”, как мы привыкли называть вас, когда вы только что вышли из ваших телег, запряженных волами, и загонов для скота. Как получилось, что ты забыл этот урок?”

Боюсь, министру пришлось бы ответить, что наши предки были достаточно варварскими, чтобы разрушить не только римские города, храмы, базилики и статуи, но и римские бани; а затем удалились каждый в свое поместье в сельской местности, чтобы вести жизнь ненамного более чистую или изящную, чем жизнь свиней, которые были его любимым блюдом. Но у него было бы право сослаться в качестве оправдания на то, что не только в Англии, но и во всей завоеванной Латинской империи латинское духовенство, которое в некоторых отношениях было — к их чести — представителями римской цивилизации и защитниками ее остатков, было

решительными врагами ее чистоты; что они смотрели на личную грязь — подобно древним отшельникам Фиваиды — как на признак святости; и не поощряли — как, говорят, до сих пор делают в некоторых романских странах Европы — пользование ванной как на не только роскошь, но и вред. тоже неприлично.

При таком ответе, как мне кажется, еще одна усмешка могла бы тронуть губы августейшего шейда, поскольку он сказал себе— “Этого, по крайней мере, я не ожидал, когда делал христианство государственной религией моей империи. Но ты, добрый варвар, выглядишь достаточно чистым. Ты не считаешь грязь признаком святости?”

“Напротив, сир, высшие классы нашей империи хвастаются тем, что они самые чистоплотные — возможно, единственные безупречно чистоплотные — люди в мире, за исключением, конечно, дикарей Южных морей. И грязь настолько далека от того, чем мы восхищаемся, что наши ученые, мудрее которых мир никогда не видел, доказали нам на протяжении целого прошедшего поколения, что грязь является благодатной причиной болезней и пьянства, нищеты и безрассудства”.

“И, следовательно, ” отвечает тень, прежде чем исчезнуть, “недовольства и революции, за которыми последует тирания, переносимая, как в Риме и многих других местах, людьми, когда-то свободными; потому что тирания, по крайней мере, сделает для них то, что они слишком ленивы, трусливы и жадны, чтобы сделать для себя сами. Прощайте и процветайте, как, по-видимому, вы и будете процветать в целом. Но если вы хотите, чтобы я считал вас цивилизованной нацией, позвольте мне услышать, что вы подняли великую реку из глубин земли, будь они глубиной в тысячу морских саженей, или из ближайших гор, будь они в пятистах милях отсюда; и смыли лондонскую грязь - и ваш собственный позор. До тех пор воздерживайтесь от слишком сурового осуждения Константина или даже Каракаллы, ибо они, каковы бы ни были их грехи, строили бани и содержали свой народ в чистоте. Но неужели ваши гимназии, ваши школы и университеты ничему не учат вашу молодежь всему этому?”

БЕРЕЖЛИВОСТЬ. ЛЕКЦИЯ, ПРОЧИТАННАЯ В ВИНЧЕСТЕРЕ 17 марта 1869 года.

Дамы, — я выбрал для названия этой лекции практичное и прозаичное слово, потому что я хочу, чтобы сама лекция была настолько практичной и прозаичной, насколько я могу это сделать, не становясь совсем скучной.

Вопрос о лучшем или худшем образовании женщин слишком важен для смутных чувств, необузданных устремлений или утопических мечтаний.

Это практический вопрос, от которого зависят не только деньги или комфорт, но слишком часто здоровье и жизнь, как последствия хорошего образования, или болезни и смерть — я слишком хорошо знаю, о чем говорю, — как последствия плохого.

Поэтому я прошу вас с самого начала выбросить из головы любые фантазии о том, что я желаю социальной революции в положении женщин; или что я хочу, чтобы они получали образование точно такими же методами и по тем же предметам, что и мужчины. Британские мальчики, в среднем, все еще слишком плохо обучены, несмотря на все недавние улучшения, чтобы я желал, чтобы британских девочек обучали таким же образом.

Более того, какие бы изъяны ни были — а изъяны должны быть во всем человеческом — в прошлом образовании британских женщин, это, безусловно, был великолепный моральный успех. Это сделало, по милости Божьей, британских женщин лучшими женами, матерями, дочерьми, тетями, сестрами, которых, насколько я могу судить, когда-либо видел мир.

Пусть те, кто будет насмехаться над женщинами Англии. Мы, которым приходится выполнять работу и сражаться в жизненной битве, знаем, какое вдохновение черпаем в их добродетели, их советах, их нежности и — но слишком часто — в их сострадании и прощении. Я не сомневаюсь, что в Англии все еще осталось много мужчин, обладающих достаточным рыцарством и патриотизмом, чтобы бросить вызов миру и показать такой совершенный образец человечности, как образованная британская женщина.

Но только потому, что образованная британская женщина - такой совершенный персонаж; поэтому я хочу видеть всех британских женщин образованными. Потому что женственность Англии - это такое драгоценное сокровище; я не хочу, чтобы оно было потрачено впустую. Это бесценный капитал, или материал, из которого должна быть получена максимально возможная прибыль для нации. А этого можно добиться только бережливостью; и этого, опять же, можно достичь только знанием.

Подумайте об этом слове "бережливость". Если вы заглянете в словарь доктора Джонсона или если вы знаете своего Шекспира, вы увидите, что бережливость изначально означала прибыль, наживу, нажитое богатство — одним словом, признаки процветания человека.

Как же тогда слово "бережливость" стало означать скупость, бережливость, противоположную расточительству? Точно так же, как экономия, которая сначала, конечно, означала управление домашним хозяйством, стала означать и противоположность расточительству.

Было обнаружено, что в торговле, в сельском хозяйстве, в любом процессе люди преуспевают пропорционально тому, насколько они сберегают свой капитал, свои материалы, свою силу.

Итак, это великий закон, который проходит через всю жизнь; один из тех законов природы — назовем их, скорее, законами Бога, — которые применимы не только к политической экономии, коммерции и механике; но и к физиологии, к обществу; к интеллекту, к сердцу каждого человека в этом зале.

Секрет процветания - бережливость; экономия сил; выполнение как можно большего объема работы с наименьшими затратами энергии, с наименьшими толчками и препятствиями, с наименьшим износом.

А секрет бережливости - в знаниях. По мере того, как вы будете знать законы и природу предмета, вы сможете работать над ним легко, уверенно, быстро и успешно; вместо того чтобы тратить свои деньги или энергию на ошибочные схемы, нерегулярные усилия, которые заканчиваются разочарованием и истощением.

Секрет бережливости, говорю я, в знании. Чем больше вы знаете, тем больше вы можете спасти себя и то, что принадлежит вам; и можете выполнять больше работы с меньшими усилиями.

Все мы знаем, что знание законов коммерческого кредита экономит капитал, позволяя меньшему капиталу выполнять работу большего. Знание электрического телеграфа экономит время; знание письма экономит человеческую речь и передвижение; знание домашней

экономики экономит доход; знание санитарных законов экономит здоровье и жизнь; знание законов интеллекта экономит износ мозга; а знание законов духа — чего только оно не экономит?

Хорошо развитое моральное чувство, хорошо регулируемый характер спасают от праздности и уныния, чередующихся с сентиментальностью и возбуждением, те более нежные эмоции, те более глубокие страсти, те более благородные устремления человечества, которые являются наследием женщины в гораздо большей степени, чем мужчины; и которые обладают в ней силой во зло или во благо, в той мере, в какой они остаются необузданными и недисциплинированными, или тренируются и развиваются в изящную, гармоничную, сдерживающую себя силу, прекрасную саму по себе и благословение для всех, кто попадает под их влияние.

Поэтому в этой лекции я рекомендую дамам бережливость; бережливость по отношению к себе и своим силам: и знания как основу бережливости.

И поскольку разумно начинать с низших проявлений бережливости и продвигаться к высшим, я очень рада слышать, что первый курс предлагаемых лекций для женщин в этом заведении будет посвящен домашнему хозяйству.

Я полагаю, что образованный джентльмен, который прочтет эти лекции, будет последним, кто будет подразумевать под этим термином простую экономию денег; что он скажет вам, поскольку — будучи немцем — у него будут веские основания знать, что молодая леди, которая учится бережливости в домашнем хозяйстве, также учится бережливости в отношении самых высоких способностей своего бессмертного духа. Он расскажет вам, я не сомневаюсь — ибо он должен знать, — как вы можете видеть в Германии молодых леди, живущих в условиях, которые мы, более роскошные британцы, сочли бы чем-то вроде бедности; готовящих, прислуживающих за столом и выполняющих многие домашние обязанности, которые здесь сочли бы черными; и все же находящих время для развития интеллекта, что, к сожалению, слишком редко встречается в Великобритании.

Правда в том, что мы, британцы, слишком богаты. Мы зарабатываем деньги, если и не слишком быстро для блага нации в целом, то, боюсь, слишком быстро для блага дочерей тех, кто их зарабатывает. Их искушение — я, конечно, не говорю, что все они поддаются ему, — но их искушение состоит в растрате самого простого — я чуть было не сказал, если мне простят это выражение, самого варварского рода; в восточной трате денег и времени; в пристрастии к простым нарядам, достаточно простительным, но все же расточительстве; и в ошибочном представлении, что леди свойственно сидеть сложа руки и позволять слугам делать все за нее.

Таким женщинам вполне можно преподать урок, отличаясь от чистой и благородной, полезной и воспитанной бережливости среднестатистической немецкой молодой леди — ибо эти немецкие женщины леди во всех возможных смыслах этого слова.

Но не о таком расточительстве я хотел бы говорить сегодня. Я упоминаю об этом лишь вскользь, чтобы показать, что высокая интеллектуальная культура не является несовместимой с выполнением домашних обязанностей, и что моральному успеху, о котором я только что говорил, интеллектуальный успех не должен быть нанесен больший ущерб, чем в Германии. Я надеюсь, что эти слова могут успокоить тех родителей, если таковые здесь есть, которые могут опасаться, что эти лекции уведут женщин из их существующей сферы интересов и

деятельности. То, что они питают такой страх, неудивительно после экстравагантных мнений и планов, которые в последнее время обсуждались в различных кругах.

Программа этих лекций прямо отвергает любые подобные намерения; и я, как муж и отец, также категорически отвергаю любые подобные намерения.

“Подготовить женщин к более просвещенному выполнению их особых обязанностей”; помочь им научиться лучше делать то, в чем, мы не сомневаемся, они уже преуспевают; я искренне верю, что единственная цель сторонников этой схемы.

Давайте теперь посмотрим, как можно лучше выполнять некоторые из этих особых обязанностей с помощью небольшого ознакомления с законами, которые их регулируют.

Итак, ни один мужчина не станет отрицать — и уж точно ни один мужчина, которому перевалило за сорок пять и чье пищеварение начинает сдавать перед кусками говядины и баранины, которыми гордится британская кухня, и отдавать предпочтение, по справедливости говоря, мелкому, а также, я полагаю, сэру Джону Фальстафу, “любим хорошеньким крошечным котлеткам”, — ни один мужчина, достигший этого возраста, не почувствует практического утешения, узнав, что юные леди из его семьи, во всяком случае, хорошо готовят; и понимают, как понимают французы, бережливость в еде. вопрос о еде.

Точно так же ни один родитель, который, вполне естественно, желает, чтобы его дочери обходились ему как можно дешевле; и желает, также вполне естественно, чтобы они были как можно лучше одеты, не будет отрицать, что для них было бы неплохо стать практичными модистками и мантуанистками; и, изящно и хорошо шья себе одежду, проявлять бережливость в одежде.

Но, помимо этой бережливости в одежде, я полагаю, я не одинок в желании немного бережливости в энергии, которая ее производит. Труд, примененный не по назначению, согласитесь, это труд впустую; а поскольку одежда, я полагаю, предназначена для украшения личности носящей ее, то пошив платья, которое только уродует ее, может рассматриваться как простое расточительство. С моей стороны было бы дерзостью вдаваться в какие-либо подробности, но сейчас невозможно ходить по улицам, не наткнувшись на молодых людей, которые, должно быть, пребывают в глубоком заблуждении относительно успеха своего собственного туалета. Вместо изящной и благородной простоты форм, вместо сочетаний цветов, одновременно насыщенных и нежных, потому что в соответствии с цветовыми законами природы, человек встречается с явлениями, все более и более неприятными для глаза и поражающими здравый смысл, пока человек не будет едва ли более удивлен и, конечно, едва ли более шокирован, если через год или два встретит кого-нибудь, расхаживающего, как китаянка, с искривленными ступнями, или как дикарка из племени амазонок, с деревянной заглушкой в нижней губе. Легко жаловаться на эти уродства, но, как мне кажется, их невозможно вылечить без воспитания вкуса, без знания тех законов природы, которые создают красоту в форме и красоту в цвете. То, что причина этих неудач кроется в недостатке образования, очевидно. Они наиболее распространены среди — я чуть было не сказал, что они ограничены ими — тех слоев состоятельных людей, которые наименее образованны; у которых нет собственного стандарта вкуса; и которые не приобретают ничего от образованных друзей и родственников; которые, как следствие, одеваются вслепую в соответствии с тем, что они считают парижской модой, передаваемой из третьих рук через столь же необразованную

портниху; в невинном неведении о том факте - ибо я верю, что это так, - что парижская мода сейчас изобретена ни в малейшей степени не ради красоты, а ради удобства. производя за счет разнообразия увеличенные расходы и, следовательно, увеличенную занятость; в соответствии со странной системой, которая сейчас преобладает во Франции, предполагающей если не процветание, то, по крайней мере, признаки такового; и, как школьники перед каникулами, прибавают крышку флюгера, чтобы обеспечить хорошую погоду.

Пусть британские леди учатся у тех законов красоты, которые столь же вечны, как и любые другие законы природы; которые, как красноречиво говорит нам мистер Рескин, проявляются в каждой цветке и каждом листе, в каждой ниспадающей и колышущейся волне: и они смогут изобретать для себя изящные и экономичные платья, не импортируя безвкусное и дорогое уродство из Франции.

Позвольте мне теперь сделать еще один шаг вперед и попросить вас обдумать это. В настоящее время в Англии существует огромное количество, и число молодых женщин растет, которые в силу различных обстоятельств, которые мы все знаем, должны в последующей жизни быть либо хозяйками своей судьбы, либо сами добывать себе хлеб. И чтобы делать это мудро и хорошо, они должны быть более или менее деловыми женщинами; а чтобы быть деловыми женщинами, они должны кое-что знать о значении слов "капитал", "прибыль", "цена", "ценность", "труд", "заработная плата" и об отношении между этими двумя последними. Одним словом, они должны немного разбираться в политической экономии. Более того, я иногда думаю, что хозяйка любого дома могла бы обрести не только бережливость в деньгах, но и бережливость ума; свободу от ошибок, тревог, забот самого разного рода, которые подрывают здоровье так же, как и сердце, благодаря небольшому знанию принципов политической экономии.

Если мы примем во внимание, что каждая хозяйка дома постоянно покупает, если не продает; что она постоянно нанимает рабочую силу в виде прислуги; и очень часто, в придачу, ведет счета своего мужа: Я не могу не думать, что ее напряженно работающий мозг мог бы проясниться, а ее настойчивое желание выполнять свой долг по отношению к каждому подданному в ее маленьком королевстве было бы легче удовлетворить, если бы она прочитала что-нибудь из того, что написал мистер Джон Стюарт Милль, особенно об обязанностях работодателя и нанятого. Капиталист, коммерсант, наниматель рабочей силы и бухгалтер — каждая хозяйка домашнего хозяйства является всеми этими людьми, нравиться ей это или нет; и для нее, несомненно, было бы хорошо в таком очень сложном состоянии общества, как это, не полагаться только на материнский ум, интуитивную проницательность и врожденную способность управлять своими ближними, которые так благородно помогают женщинам выполнять свою работу в более простых и менее цивилизованных обществах.

И здесь я останавливаюсь, чтобы ответить тем, кто может сказать — как я слышал, — что интеллект женщины непригоден для бизнеса; что когда женщина берется за бизнес, она склонна делать это плохо, а также неприятно; быть более подозрительной, более раздражительной, более жадной, более неразумной, чем были бы обычные деловые люди; что, как я слышал, "женщина сражается нечестно". Ответ прост. То, что интеллект женщины в высшей степени приспособлен для ведения бизнеса, доказывается огромным объемом дел, с которыми она справляется без какой-либо специальной подготовки для этого: но те недостатки в женщине, на которые жалуются некоторые мужчины, являются просто результатом того, что она не прошла специальной подготовки. Она не знает законов бизнеса. Она не знает правил

игры, в которую играет; и поэтому она играет в темноте, в страхе и подозрительности, склонна судить о вопросах исходя из личных соображений, часто обижая тех, с кем ей приходится иметь дело, и еще чаще делает себя несчастной из-за вопросов права или бизнеса, в которых немного здравого смысла успокоило бы ее голову и сердце.

Когда я видел вдов, заботящихся о детях, о большом домашнем хозяйстве, о большом поместье, о большом бизнесе, героически борющихся, и все же часто ошибочно; их сурово обвиняли в эгоизме и честолюбии, в то время как на самом деле они жертвовали собой с божественным материнским инстинктом ради интересов своих детей: я стоял рядом со смешанным чувством восхищения и жалости и говорил себе— “Как благородно она выполняет свою работу, не обучая! Насколько благороднее она поступила бы, если бы ее научили! Сейчас она выполняет эту работу с огромной тратой энергии и добродетели: если бы у нее были знания, за ними последовала бы бережливость; она выполнила бы больше работы с гораздо меньшими затратами. Она, вероятно, покончит с собой, если продолжит: здравые знания спасли бы ее здоровье, спасли бы ее сердце, спасли бы ее друзей и помогли бы тем, кого она очень любит, ради кого она трудится, не всегда с успехом ”.

Таким образом, небольшая политическая экономия, по крайней мере, не повредит женщине; особенно если ей придется самой заботиться о себе в дальнейшей жизни; я думаю, ей не повредит и некоторое хорошее знание другого предмета, который, как я вижу, обещан в этих лекциях, — “Натурфилософии в ее различных областях, таких как химия обычной жизни, свет, тепло, электричество и т. Д.”.

Небольшое знание законов света, например, научило бы многих женщин тому, что, запираясь день за днем, неделю за неделей в затемненных комнатах, они так же растрачивают здоровье, разрушают свою жизненную энергию и поражают мозг болезнями, как если бы они все время принимали столько яда.

Немного знаний о законах тепла будет учить женщин не одевать себя и своих детей после глупых и недостаточно моды, которые в этом климате сеять семена с десятков разных заболеваний, и должны быть искуплены от вечной тревоги, и на бессрочные счета за медицинские услуги; и как мало знаний о законах электричества, один секонд-я уверен, что он будет производить—бережливость, чтобы нам, мужчинам, того, чтобы ответить на постоянные вопросы, как, в какой погода будет, когда поверхностные знания барометр, или в виде облаков и направления ветра, позволит многим леди судить для себя, а не так, после расследования на дознание, игнорируя все предупреждения, выйти на первое появление полосы голубого неба, и пришелдомой мокрый, с тем, что она называет “только холод”, но что на самом деле означает гвоздь, вбитый в гроб—вероятное сокращение, хотя это может быть очень маленький, ее земной жизни; потому что еда в следующие двадцать четыре часа, которые должны были пойти, чтобы сохранить жизненное тепло на своем обычном стандарте, должны быть потрачены на повышение его до стандарта, от которого она упала на холод.

Дамы, это темы, на которые я должен попросить разрешения поговорить немного подробнее, предваряя их одним утверждением, которое может показаться шутливым, но на самом деле очень серьезным— если бы медики этого или любого другого города были тем, что мир сейчас называет “живыми ради своих собственных интересов”, то есть простым зарабатыванием денег; вместо того, чтобы быть тем, кем являются медики, самым щедрым, бескорыстным и благородно мыслящим классом в этих сферах, тогда они всеми доступными им средствами

противодействовали бы чтению лекций по натурфилософии для женщин. Ибо, если женщины будут действовать в соответствии с тем, что они узнают из этих лекций, — а имея женские сердца, они будут действовать в соответствии с этим, — за этим должно последовать уменьшение заболеваемости и улучшение здоровья, особенно среди детей; кроме того, это приведет к бережливости в жизни и расходовании средств, что очень серьезно скажется на доходах врачей.

Ибо позвольте мне спросить вас, дамы, со всей вежливостью, но и со всей серьезностью — осведомлены ли вы о некоторых фактах, о которых слишком хорошо осведомлен каждый из этих превосходных медиков? Известно ли вам, что ежегодно в Англии от ненужных и предотвратимых болезней погибает больше людей, чем при Ватерлоо или Садовой? Известно ли вам, что подавляющее большинство этих жертв - дети? Знаете ли вы, что болезни, которые уносят их, по большей части таковы, что должны находиться под особым контролем женщин, которые их любят, балуют, дают им образование и во многих случаях, если понадобится, отдали бы за них свою жизнь? Знаете ли вы, опять же, об огромном количестве болезней, которые, как уверяют меня и мудрые матери, и мудрые врачи, зарождаются в спальне из-за простого незнания законов вентиляции, а в классной комнате точно так же из-за простого незнания законов физиологии? из-за незнания, о котором я не буду упоминать здесь ни в одном другом случае, кроме одного — что слишком часто из-за незнания признаков приближающейся болезни ребенка наказывают за то, что называется бездельем, вялостью, своенравием, угрюмостью; и наказывают тоже самым неразумным образом — увеличением количества заданий и заточением дома, что еще больше перегружает мозг, и без того перегруженный, и еще больше угнетает, лишая его кислорода и физических упражнений, систему, и без того угнетенную? Я спрашиваю еще раз, осознаете ли вы все это? Я говорю серьезно по этому вопросу, потому что я говорю с опытом. В качестве единственного примера: один медик, мой друг, проходя мимо своей классной комнаты, услышал, как одна из его собственных маленьких девочек кричит и плачет, и зашел внутрь. Гувернантка, превосходная женщина, но совершенно несведущая в законах физиологии, жаловалась, что в последнее время девочка стала упрямой и не хочет учиться; и что поэтому она должна наказывать ее, держа дома за невыученные уроки. Отец, который знал, что обычно девочка была очень хорошей, некоторое время внимательно смотрел на нее, затем выгнал ее из классной комнаты, а затем сказал: “Этот ребенок не должен открывать книгу в течение месяца”. “Если бы я не поступил так, - сказал он мне, - этот ребенок умер бы от болезни мозга в течение года”.

Теперь, перед лицом подобных фактов, не слишком ли много требовать от матерей, сестер, тетушек, нянек, гувернанток — всех, кто может быть занят уходом за детьми, особенно за девочками, — чтобы они научились бережливому отношению к человеческому здоровью и человеческой жизни, немного изучив законы жизни и оздоровления? Есть книги — я бы сказал, целая подборка книг, — написанных докторами наук по этим вопросам, которые, на мой взгляд, гораздо важнее для школьной аудитории, чем половина так называемых дрянных достижений, о которых, как ожидается, должны знать гувернантки. Но покупаются ли они? Их вообще можно купить у большинства сельских книготорговцев? Ах, ради небольшого знания законов, пренебрежение которыми является причиной столь многих страшных болезней, которые, если и не приводят к немедленной смерти, слишком часто оставляют конституцию ослабленной на долгие годы. Ах, напрасная трата здоровья и сил у молодых; напрасная трата также тревог и страданий у тех, кто любит их и заботится о них. Сколько из этого можно было бы спасти, получив небольшое рациональное образование в тех законах природы, которые являются волей

Бога о благополучии наших тел и которые, следовательно, мы в такой же степени обязаны знать и повиноваться, как мы обязаны знать и повиноваться духовным законам, от которых зависит благополучие наших душ.

Простите меня, дамы, если я причинил кому-либо здесь минутную боль, но я обращаюсь к каждому медику в зале, сказал ли я неправду; и, имея такую возможность, как эта, я почувствовал, что должен высказаться ради детей, а также женщин, или же навсегда отныне хранить молчание.

Позвольте мне перейти от этой болезненной темы — ибо болезненной она была для меня много лет — к вопросу интеллектуальной бережливости, под которой я сейчас подразумеваю бережливость слов; бережливость правды; сдержанность языка; точность и скромность в высказываниях.

Матери жалуются мне, что девочки склонны — не намеренно лгать, а преувеличивать, предвзято, некорректно повторять разговор или описывать событие; и что из—за этого, как и следовало ожидать, возникают недоразумения, ссоры, слухи, клевета, скандалы и тому подобное.

Итак, от этой пустой траты слов есть только одно лекарство: и если мне скажут, что это естественный недостаток женщин; что они не могут придерживаться спокойного судебного взгляда на вещи, которым хвастаются мужчины, и часто хвастаются самым ошибочным образом, на что они только способны; что под влиянием надежды, страха, деликатной антипатии, честного морального негодования они позволяют своим глазам и ушам руководствоваться своими чувствами; и будут видеть и слышать только то, что они хотят видеть и слышать: я отвечу, что не мне, как мужчине, выдвигать такую теорию; но что если это правда, то это не так. Это дополнительный аргумент в пользу какого-либо образования, которое исправит этот предполагаемый естественный дефект. И я намеренно говорю, что есть только один вид образования, который исправит это; тот, который научит молодых женщин точно наблюдать за фактами, спокойно судить о них и тщательно описывать их, не добавляя и не искажая: и это некоторое обучение естественным наукам.

Я прошу вас не пугаться: но если это так, то проверьте истинность моей теории, сыграв сегодня вечером в игру под названием “Русский скандал”; в которой история, втайне повторяемая одним игроком другому, выходит в конце игры, благодаря неточным и - простите, если я это говорю — необразованным мозгам, через которые она прошла, совершенно непохожей на оригинал; не только нелепо искаленной и искаженной, но часто с самыми фантастическими добавлениями событий, деталей, имен, дат, мест, которые каждый игрок найдет в своем воображении. авер, который он получил от игрока, стоявшего перед ним. Боюсь, что слишком большая часть обычных сплетен в каждом городе и деревушке - это не более чем игра в “Русский скандал”; с той разницей, что, хотя одно - всего лишь игра, другое - слишком серьезное озорство.

Но теперь, если среди вашей компании окажется обычный юрист, медик или деятель науки, вы обнаружите, что он, и, возможно, только он, сможет точно пересказать историю, которую ему рассказали. И почему? Просто потому, что его разум был натренирован иметь дело с фактами; точно определять, что он действительно видит или слышит, и прочно и ясно запечатлевать в своей памяти основные черты этого.

Итак, вы, конечно, не можете сделать из юных леди барристеров или поверенных; также вы не можете использовать их мозги для возбуждения дел, гражданских или уголовных; а что касается химии, то они и их родители могут испытывать обоснованную антипатию к запахам, почерневшим пальцам и случайным взрывам и отравлениям. Но вы можете сделать из них кого-то вроде ботаников, зоологов, геологов.

Я мог бы многое сказать по этому поводу; позвольте мне, по крайней мере, сказать следующее: я искренне верю, что любая молодая леди, которая потратила бы часть своего свободного времени на сбор полевых цветов, тщательное их изучение, проверку и упорядочивание; или которая во время своей летней поездки на морское побережье сделала бы то же самое с обычными предметами на берегу, вместо того чтобы тратить свой отпуск, как это делают сотни людей, бездельничая на скамейках на эспланаде, читая никчемные романы и критикуя платья, - что такая молодая леди, говорю я, не только открыла бы свой разум миру развлечений. чудо, красота и мудрость, которые, если бы не сделали ее более почтительной и благочестивой душой, не сделали бы ее женщиной, которой я считаю само собой разумеющейся, но избавили бы ее от привычки — я чуть было не сказал необходимости — сплетничать; потому что ей было бы о чем подумать, а не просто о людях; факты, а не фантазии; в то время как она приобрела бы некоторую точность, терпение, методичную наблюдательность и рассудительность, которые сослужили бы ей хорошую службу в событиях повседневной жизни и увеличили бы ее способность обуздывать свой язык и воображение. “Бог на небесах, а ты на земле; поэтому пусть слов твоих будет немного” - вот урок, который каждый день усваивают те, кто изучает дела Божьи с благоговейной точностью, чтобы, искажая их, не поддаваться искушению сказать, что Бог совершил то, чего Он не совершал; и я желаю, чтобы в этой полезной дисциплине участвовали как женщины, так и мужчины.

И теперь я подхожу к бережливости высочайшего рода, противопоставляемой расточительству самому прискорбному и разорительному из всех; бережливости тех способностей, которые связывают нас с невидимым и духовным миром; с человечеством, со Христом, с Богом; бережливости бессмертного духа. Я не собираюсь сейчас читать вам дежурную проповедь. Не сомневаюсь, что вы слышите такое в церкви каждое воскресенье, и это гораздо лучше, чем я могу проповедовать вам. Я собираюсь говорить скорее о бережливости сердца, об бережливости эмоций. Все слишком хорошо знают, как они тратятся в наши дни на чтение так называемых романов—сенсаций; как британской литературой — всем, что завещали нам лучшие сердца и интеллекты наших предков, — пренебрегают ради легкой беллетристики, чтение которой, как метко сказала одна дама, является “наихудшей формой невоздержанности - пьянства и поедания опиума, интеллектуального и нравственного”.

Я знаю, что молодежь будет в восторге — они восхищались во все века и будут восхищаться до скончания веков — от художественных произведений, повествующих о “древнейшей сказке, которая вечно нова”. Романы будут прочитаны: но это еще одна причина, по которой женщины должны научиться, изучая более высокую, широкую, глубокую литературу, отличать хороший роман от плохого, нравственное от безнравственного, благородное от низменного, истинное произведение искусства от притворства, которое скрывает свою поверхностность и вульгарность под запутанным сюжетом и мелодраматическими ситуациями. Она должна научиться — и этому она может научиться только путем совершенствования — с радостью различать и с благоговением впитывать хорошее, прекрасное и истинное; и отворачиваться с

изысканным презрением чистой и сильной женственности от плохого, уродливого и фальшивого.

И если кто—нибудь из родителей захочет ответить: “Зачем придавать такое большое значение обучению девочки британской литературе? Разве не гораздо важнее научить наших дочерей читать религиозные книги?” Я отвечаю — Конечно, это так. Я считаю само собой разумеющимся, что это делается в христианской стране. Но я прошу вас помнить, что есть книги и что в наши дни свободной прессы в долгосрочной перспективе невозможно помешать девочкам читать книги самых разных оттенков мнений и совсем другой религиозной ценности. Поэтому, возможно, для девушки чрезвычайно важно, чтобы ее интеллект, ее вкус, ее эмоции, ее моральное чувство, одним словом, вся ее женственность были настолько развиты и регламентированы, чтобы она сама была способна отличать истинное от ложного, ортодоксальное от неортодоксального, истинно набожное от просто сентиментального, Евангелие от его подделок.

Я бы подумал, что со времен Реформации в Британии никогда не было кризиса, при котором молодые англичанки нуждались бы в более тщательном воспитании в этих вопросах; если, по крайней мере, они хотят спастись от того, чтобы сделать себя и свои семьи несчастными; и от того, чтобы закончить — как заканчивали слишком многие из них — с разбитыми сердцами, сломанными мозгами, подорванным здоровьем и ранней могилой.

Примите во внимание то, что вы видите за границей. В каждой стране, где женщины необразованны, незаняты; где их единственная литература — французские романы или их переводы, - в каждой из этих стран женщины, даже самого высокого ранга, являются рабынями суеверий и марионетками священников. В той же мере, в какой в некоторых других странах — особенно, я бы сказал, в Шотландии — женщины высокообразованны, семейная жизнь и семейные тайны священны, и женщина хранит верность не духовнику или директору, а своему собственному мужу или своей собственной семье.

Я говорю прямо, что если какие—либо родители хотят, чтобы их дочери в конце концов поддались какому—нибудь шарлатанству или суевию, называющему себя научным или религиозным, - а сейчас слишком много и того, и другого, - они не могут более определенно достичь своей цели, чем позволить ей вырасти невежественной, легкомысленной, роскошной, тщеславной; с ее эмоциями, возбуждаемыми, но не удовлетворяемыми чтением глупых и даже аморальных романов.

В таком случае, чем тоньше и изящнее организация, чем благороднее и серьезнее природа, которой пренебрегли, тем больше вероятность — я слишком хорошо знаю, что говорю, — сбиться с пути.

Должно наступить время депрессии, разочарования, пустоты, всего, кроме отчаяния. Бессмертный дух, не находящий здорового удовлетворения своим высшим устремлениям, слишком склонен впадать в нездоровое и возбуждающее суеверие. Стыдясь собственного долгого потакания своим желаниям, оно слишком склонно бежать от самого себя в болезненный аскетизм. Не будучи обученной своим данным Богом и естественным обязанностям в мире, она, скорее всего, перейдет от простой жажды действия к самостоятельно изобретенным и неестественным обязанностям вне мира. Невежественный в истинной науке, но страстно желающий понять чудеса природы и духа, он, скорее всего,

обратится к ненауке — бессмыслице, как ее обычно называют, — будь то постукивание по духу и месмеризм, или чудесные реликвии и мерцающие картинки. Жаждающая руководства и поучений, но никогда не обучавшаяся направлять и учить саму себя, она, скорее всего, в отчаянии отдаст себя на попечение тех, кто, будь то шарлатаны или фанатики, смотрят на необразованных женщин как на свою естественную добычу.

Я уверен, из того, что я сказал, вы поймете, что я не желаю, чтобы вы становились простыми учеными женщинами; простыми женщинами-педантами, такими же бесполезными и неприятными, какими обычно бывают мужчины-педанты. Образование, которое я предлагаю вам, нельзя получить, просто слушая лекции или читая книги: ибо это воспитание всего вашего характера; самообразование; которое на самом деле означает посвящение себя Богу, чтобы Он мог дать вам образование. Слушать лекции полезно, потому что это научит вас, как много нужно знать и как мало вы знаете. Чтение книг полезно, потому что это привьет вам привычку к регулярному и прилежному обучению. И поэтому я настоятельно призываю вас к частному изучению, особенно на случай, если здесь будет сформирована библиотека из книг по тем наиболее практическим предметам, о которых я говорил. Но, в конце концов, и лекции, и книги хороши, главным образом, в той мере, в какой они дают материал для размышлений: в то время как желание размышлять и способность размышлять должны приходить, как я полагаю, свыше. Искренняя жажда света и силы, знания, мудрости, активной полезности должна прийти — и пусть это придет к вам — по вдохновению Духа Божьего.

Еще одно слово, и я закончила. Позвольте мне попросить женщин заниматься самообразованием не только ради себя, но и ради других. Ибо, хотя бы они того или нет, они должны обучать других. Я говорю не только о тех, кто может быть вовлечен в работу прямого обучения; кто может сомневаться в том, что они сами должны быть хорошо обучены? Я говорю о тех - и при этом я говорю о каждой женщине, молодой и старой, — кто как жена, как мать, как тетя, как сестра или как друг оказывает влияние, пусть косвенное и бессознательное, но все же мощное и практичное, на умы и характеры окружающих, особенно мужчин. Насколько мощно и практично это влияние, лучше всего знают те, кто знает большую часть мира и большую часть человеческой природы. Есть те, кто считает — и я согласен с ними, — что воспитание мальчиков в возрасте до двенадцати лет следует, насколько это возможно, доверить женщинам. Позвольте мне спросить — к какому периоду юности и возмужания не относится то же самое? Мне жаль невежества и тщеславия мужчин, которые воображают, что им больше нечему учиться у культурных женщин. Я бы подумал, что само предназначение женщины состоит в том, чтобы быть в высшем смысле воспитателем мужчины от младенчества до старости; что это была работа, на которую указывали все данные Богом способности женщин; для которой они должны были получить высочайшее образование. Я бы подумал, что слава женщины в том, что она была послана в мир жить для других, а не для себя; и поэтому я должен сказать — Пусть будут уважены ее малейшие права, исправлены ее малейшие проступки; но пусть ее никогда не убедят забыть, что она послана в мир, чтобы учить мужчину — чему, я полагаю, она учила его все это время, даже в диком состоянии, — а именно, что есть нечто более необходимое, чем отстаивание прав, а именно выполнение обязанностей; особенно научить его в наши так называемые интеллектуальные дни, что нет ничего важнее. Это нечто большее, чем интеллект, и это - чистота и добродетель. Пусть ее никогда не убедят забыть, что ее призвание - не низшее и более земное самоутверждение, но высшее и божественное призвание самопожертвования; и пусть она никогда не покидает ту высшую жизнь, которая живет в других и для других, подобно ее Искупителю и ее Господу.

И если кто-нибудь ответит, что эта доктрина сохранит женщину зависимой и рабыней, я отвечу — это не так: это сохранит ее такой, какой она должна быть, — хозяйкой всего вокруг, потому что хозяйкой самой себя. И более того, я должен выразить опасение, что те, кто дал такой ответ, еще не проникли в тайну истинного величия и истинной силы; что они еще не поняли истинного великодушия, истинной царственности того духа, благодаря которому Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но для того, чтобы послужить и отдать Свою жизнь в качестве выкупа за многих.

Несомненно, это призвание женщины - учить мужчину: и учить его чему? В конце концов, научить его, что его призвание такое же, как и у нее, если он только захочет увидеть то, что относится к его миру. Умерить свою более свирепую, грубую, самоутверждающуюся натуру, соприкоснувшись с ее мягкостью, чистотой, самопожертвованием. Заставить его увидеть, что не ревом труб, не шумом, гневом, жадностью, честолюбием, интригами, бахвальством нужно заниматься на земле: но мудрым недоверием к себе, безмолвным трудом, возвышенным самообладанием, тем милосердием, которое на все надеется, всему верит, все переносит; короче говоря, таким примером, который женщины десятками тысяч подают сейчас окружающим; таким примером, который они будут показывать все больше и больше, чем больше вся их женственность обучается использовать свои силы без расточительно и без спешки в гармоничном единстве. Пусть женщина начнет с девичества, если таков ее счастливый удел, — цитируя слова великого поэта, великого философа и великого церковника Уильяма Вордсворта, — пусть она начнет, говорю я...

“Со всеми вещами вокруг нее, нарисованными
Из майской поры и веселого рассвета;
Танцующая фигура, веселый образ,
Чтобы преследовать, пугать и подстергать”.

Позвольте ей развиваться дальше —

“Дух, но в то же время и женщина,
С легкими и свободными движениями по дому,
И поступью девственной свободы.
Лицо, в котором встретятся
Приятные воспоминания, обещания столь же приятные;
Создание не слишком яркое и доброе
Для ежедневной пищи человеческой натуры;
Для преходящих печалей, простых уловок,
похвалы, порицания, любви, поцелуев, слез и улыбок.

Но пусть ее высшим и окончательным развитием будет то, что может дать не природа, а только самообразование - то, что делает ее раз и навсегда —

“Существо, вдумчиво дышащее;
Путешественник между жизнью и смертью.
С твердым разумом, умеренной волей,
Выносливостью, дальновидностью, силой и умением.
Идеальная женщина, благородно спланированная,
Умеющая предупреждать, утешать и командовать.

И все же дух спокоен и светел,
В нем есть что-то от ангельского света”.

ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ. ЛЕКЦИЯ, ПРОЧИТАННАЯ ОФИЦЕРАМ КОРОЛЕВСКОЙ Артиллерии, Вулвич.

Джентльмены: Когда я принял честь читать здесь лекцию, я считал само собой разумеющимся, что столь избранная аудитория ожидает от меня не просто развлечения, но и некоторого наставления; или, если это слишком амбициозное слово для меня, по крайней мере, какого—то свежего намека — если я смогу его дать — на то, как они должны соответствовать идеалу военных в такой век, как наш.

Затрагивать военные вопросы, даже если бы я был знаком с ними, казалось мне дерзостью. Я вынужден считать само собой разумеющимся, что каждый человек лучше всего знает свое дело; и я все больше и больше склоняюсь к мнению, что военным следует предоставить самим решать проблемы своего искусства, без советов или критики гражданских лиц. Но я считаю — и я уверен, что вы согласитесь со мной, — что для того, чтобы солдат пользовался таким доверием нации и был предоставлен самому себе, чтобы выполнять свою работу по-своему, он должен быть образован во всех практических вопросах на таком же высоком уровне, как и средний образованный штатский. Он должен знать все, что знают они, и, кроме того, свое собственное искусство. Точно так же, как священнослужитель, будучи мужчиной плюс священник, обязан быть мужчиной, и хорошим человеком, помимо своего священства, так и солдат обязан быть гражданским лицом, и высокообразованным гражданским лицом, плюс его солдатские качества и приобретения.

Поэтому мне показалось, что я мог бы, не проявляя дерзости, попросить вас рассмотреть отрасль знаний, которая с каждым годом становится все более и более важной в глазах хорошо образованных гражданских лиц; следовательно, солдат должен по крайней мере что-то знать, чтобы поставить его в один ряд с общим интеллектом нации. Я не говорю, что он должен посвящать этому много времени или изучать его в специальных областях; но что он должен быть хорошо знаком с его принципами и методами; что он должен осознавать его важность и полезность; что таким образом, если он вступает в контакт — а он будет все больше и больше — с учеными, он может понимать их, уважать их, дружить с ними и, в свою очередь, получать от них поддержку; и насколько желателен этот последний результат, я расскажу вам позже.

Я не сомневаюсь, что среди моих слушателей есть те, кто не нуждается в советах, которые я осмелюсь дать сегодня вечером; они принадлежат к тому быстро растущему классу офицеров, о которых я часто говорил — и я обнаружил, что ученые мужи искренне согласны со мной, — что они самые скромные и наиболее обучаемые из людей. Но даже в их случае не может быть никакого вреда в том, чтобы обдуманно обсудить вопрос такой важности; придать ему, так сказать, форму; и настаивать на аргументах, которые, возможно, не приходили некоторым из них в голову.

Позвольте мне, во-первых, успокоить тех - если таковые найдутся, — кто может предположить, судя по названию моей лекции, что я всего лишь собираюсь порекомендовать им собирать сорняки и бабочек, “крыс и мышей, и таких маленьких оленей”. Отнюдь. Почетное звание

естественной истории в последние годы слишком часто и неразумно ограничивалось простым изучением растений и животных. Я хочу вернуть этим словам их первоначальное и правильное значение — историю природы; то есть всего, что рождается и растет со временем; короче говоря, всех природных объектов.

Если кто—нибудь скажет - согласно этому определению, вы относите не только геологию и химию к разделам естественной истории, но также метеорологию и астрономию, — я не смогу этого отрицать. Каждый из них имеет дело с областями Природы. Геология - это, буквально, естественная история почв и угодий; химия - естественная история соединений, органических и неорганических; метеорология - естественная история климата; астрономия - естественная история планетарных и солнечных тел. И более того, теперь вы не можете глубоко изучать ни одну отрасль того, что в народе называется Естественной историей, то есть растений и животных, не считая необходимым изучать что—то, и все больше и больше по мере углубления, из этих самых наук. По мере того как удивительная взаимозависимость всех природных объектов и сил раскрывается все больше и больше, некогда отдельные науки, которые рассматривали различные классы природных объектов, вынуждены, так сказать, взаимопроникать и дополнять себя знаниями, заимствованными друг у друга. Таким образом, — приведу единственный пример — ни один человек не может быть первоклассным ботаником, если он не является также посредственным метеорологом, посредственным геологом и - как показал мистер Дарвин в своих экстраординарных открытиях об оплодотворении растений насекомыми — также не является посредственным энтомологом.

Поэтому трудно и даже несколько неразумно и несправедливо ограничивать термин "Естественная история" каким-либо иным образом, за исключением того, что она должна иметь дело только с природой и материей; и не должна претендовать — как некоторые хотели бы этого прямо сейчас — на то, чтобы выходить за пределы своей сферы и вмешиваться в моральные и духовные вопросы. Но для практических целей мы можем определить естественную историю любого данного места как историю причин, которые сделали его таким, какое оно есть, и наполнили его природными объектами, которые в нем содержатся. И если кто-то хочет знать, как изучать естественную историю местности и как написать о ней, пусть прочтет — и если он читал ее восхитительные страницы в юности, прочтите еще раз — эту доселе непревзойденную небольшую монографию Уайта "Естественная история Селборна"; и пусть он затем попытается в свете усовершенствованной науки сделать для любого района, где он может быть размещен, то, что Уайт сделал для Селборна почти сто лет назад. Пусть он изучит его растения, животных, почвы и горные породы; и последнее, но не менее важное, его пейзаж, как совокупный результат того, что создали почвы, растения и животные. Я говорю, сделали это. Насколько природа почв и горных пород повлияет на ландшафт местности, можно хорошо узнать из очень умной и интересной небольшой книги профессора Гейки 'Ландшафт Шотландии под влиянием его геологической структуры'. То, насколько растения и деревья влияют не только на общую красоту, богатство или бесплодие местности, но и на саму ее форму; скорость, с которой холмы разрушаются и смываются в низменность; скорость, с которой морское побережье сносится под действием волн, — все это области изучения, которые становятся все более и более важными.

И даже при изучении животных и их воздействия на растительность будут возникать вопросы, представляющие действительно глубокий интерес. Вы обнаружите, что определенные растения и деревья не могут процветать в округе, в то время как другие могут, потому что первые

поедаются скотом или их семена поедают птицы, а вторые — нет; что определенные семена разносятся в шкурах животных или разносятся ветром - другие нет; определенные деревья массово уничтожаются насекомыми, в то время как другие - нет; что сотнями способов животная и растительная жизнь района действует друг на друга и реагирует на них, и что климат, средняя температура, максимальная и минимальная температуры, количество осадков воздействуют на них, а в случае с растительностью - на них самих. они снова реагируют на это. Уменьшение количества осадков из-за уничтожения лесов, их увеличение из-за их пересадки и влияние того и другого на здоровье или нездоровость местности — как в случае с Маврикием, где некогда здоровый остров стал зараженным, по-видимому, из-за вырубки растительности на берегах ручьев — все это, хотя для его глубокого изучения требуется изрядное знание метеорологии и даже одной-двух других наук, несомненно, заслуживает внимания любого образованного человека, на которого возложена ответственность за здоровье и жизни людей.

Вы, несомненно, согласитесь со мной, что для такого изучения, как это, требуется такой же склад ума, какой требуется для успешного изучения военного дела. Фактически, я должен сказать, что тот же интеллект, который развился бы в великого военного, развился бы и в великого натуралиста. Я говорю, интеллект. Военному потребовалось бы то, чего не потребовалось бы натуралисту, помимо его интеллекта, особая сила воли, чтобы воплотить свои теории в реальность и проводить свои кампании в полевых условиях, а не только на бумаге. Но я говорю только о привычке ума, необходимой для изучения; о той индуктивной привычке ума, которая неуклонно и поправилу движется от известного к неизвестному; о той привычке ума, о которой было сказано: “Привычка видеть; привычка знать то, что мы видим; привычка различать различия и сходства; привычка соответствующим образом классифицировать; привычка искать гипотезы, которые свяжут и объяснят эти классифицированные факты; привычка проверять эти гипотезы, применяя их к свежим фактам; привычка смело отбрасывать их, если они не подходят; привычка искать гипотезы, которые свяжут и объяснят эти классифицированные факты”. привычка к общему терпению, усердию, точности, уважению к фактам ради них самих и любви к истине ради нее самой; одним словом, привычка к почтительному и беспрекословному подчинению законам природы, какими бы они ни были, — это не только интеллектуальные, но и моральные привычки, которые сослужат людям практическую службу во всех сферах жизни и в каждом вопросе, даже самом ужасном, который может встать перед ними как разумными и социальными существами ". И особенно ценны они, несомненно, для военного, сама суть обучения которого, чтобы быть успешным, заключается сначала в непрерывном и точном наблюдении, а затем в спокойной и рассудительной организации.

Поэтому я придерживаюсь, и твердо придерживаюсь, того, что изучение физики отнюдь не мешает учебе офицера, а тем более не подходит для нее, должно помогать ему в ней, постоянно удерживая его ум в том самом настрое, которого они требуют. Если кто-нибудь улыбнется этой моей теории, пусть вспомнит один любопытный факт: возможно, величайший полководец старого света обучался у, возможно, величайшего философа старого света — отца естественной истории; что Аристотель был наставником Александра Македонского. Я, конечно, не думаю, что Аристотель преподавал Александру какую-либо естественную историю. Но мы знаем, что он научил его использовать те самые способности, благодаря которым Аристотель стал естествоиспытателем, и многое другое помимо этого; что он пробудил в своем ученике что-то от своей собственной необычайной наблюдательности, необычайной способности к организации. Он помог ему стать великим полководцем, но он помог сделать из него нечто

большее — великого политика, колонизатора, первооткрывателя. Он внушил ему такое чувство важности естественной истории, что Александр благородно помогал ему в его исследованиях; и, если верить Афиней, дал ему 800 талантов на совершенствование его истории животных. Конечно, не будет преувеличением сказать, что эта тесная дружба между натурфилософом и солдатом изменила весь ход развития цивилизации по сей день. Не сочтите меня утопистом, когда я говорю вам, что я хотел бы видеть изучение физических наук неотъемлемой частью учебной программы каждого военного училища. Я бы тренировал ум юноши, которому предстояло впоследствии стать офицером в армии - и на флоте, как уайзу, — приучая его к тщательному наблюдению и здравому размышлению о лике природы; о самых обычных предметах под ногами в той же степени, что и о звездах над головой; при условии, что он всегда учился не из вторых рук, из книг, а там, где только он может по—настоящему изучить войну или природу - в полевых условиях; путем реального наблюдения, реального эксперимента. Лаборатория для химических экспериментов - вещь хорошая, это правда, насколько это возможно; но я бы предпочел лаборатории полевой клуб натуралистов, подобный тем, что процветают сейчас в нескольких лучших государственных школах, уверенный, что мальчики приобретут больше здравых индуктивных привычек ума, а также больше здоровья, мужественности и жизнерадостности среди сцен, запоминать которые будет радостью навсегда, чем они когда-либо смогут, склоняясь над ретортами и тиглями, среди запахов, запоминать которые даже мучительно навсегда.

Но я бы, независимо от того, существует полевой клуб или нет, потребовал от каждого молодого человека, вступающего в армию или флот, — более того, от каждого молодого человека, вступающего в любую свободную профессию вообще, — достаточных знаний, которые позволили бы ему сдать экзамен по тому, что немцы называют *Erd-kunde* — земные знания - по тому знанию лица земли и ее продуктов, о котором мы, англичане, пока заботимся так мало, что фактически не имеем для него английского названия, кроме неуклюжего и сомнительного "физическая география"; и, к сожалению, должен сказать, что едва ли есть какое—либо читаемое школьные учебники об этом, за исключением "Физического атласа" Кита Джонстона — ознакомления с которым в последнюю очередь я, безусловно, потребовал бы от молодых людей.

Действительно, кажется самым странным — или, скорее, будет казаться самым странным через 100 лет, — что мы, нация колонистов, нация моряков, нация иностранной торговли, нация иностранных военных баз, нация путешественников ради путешествий, нация, в которой один человек здесь, а другой там, — как утверждает Шлейден в своей книге "Растение" в очаровательной идеальной беседе в Клубе путешественников, — видели и насладились чудесами и красотами этой планеты больше, чем люди любой другой нации, даже не исключая немцев, — что эта нация, я говорю, должна была бы, как и все остальные, наслаждаться чудесами и красотами этой планеты. и все же она ничего не сделала, или почти ничего, чтобы преподавать в своих школах знания об этой планете, о которой ей нужно знать больше, и она может знать, если захочет, больше, чем любая другая нация на ней.

Что же касается практической пользы подобных занятий для солдата, то, надеюсь, мне нужно только намекнуть на это такому собранию, как это. Все должны видеть, каким преимуществом было бы приблизительное знание ботаники местности для офицера, возглавляющего исследовательскую группу или участвующего в войне в буше. Знать, какие растения ядовиты; какие растения также съедобны — и их съедобно гораздо больше, чем обычно предполагается;

какие растения дают маслянистые вещества, как для употребления в пищу, так и для других целей; какие растения выделяют растительные кислоты для профилактики цинги; какая древесина пригодна для различных целей; что выдержит сырость, соленую воду и нападения насекомых; что, опять же, можно использовать, в крайнем случае, в медицине или для кровоостанавливающих средств - и быть уверенным, как однажды сказал мне мудрый вест-индский врач, что в дикой природе гораздо больше хороших лекарств. в буше их больше, чем во всех аптекарских лавках — несомненно, все это знание не стоит внимания ни одного предприимчивого офицера, прежде всего офицера инженерных войск. Я только прошу всех, кто считает, что я, возможно, прав, просмотреть списки полезных растительных продуктов, приведенные в книге Линдли 'Растительное царство' — чуде учености, — и увидеть обширное поле деятельности, все еще открытое для вдумчивого и наблюдательного человека, даже находясь на службе; и не забывать, что такие знания, если он впоследствии оставит службу и поселится, как это делают многие, в далекой стране, могут стать серьезным подспорьем к его будущему процветанию. Мои чувства по этому поводу настолько сильны, что я хотел бы, чтобы от всех офицеров, отправляющихся в нашу Индийскую империю, требовалось хотя бы некоторое знание превосходной маленькой "Первой книги индийской ботаники" доктора Оливера: но поскольку этого не будет, по крайней мере, в течение многих последующих лет, я рекомендую всем джентльменам, отправляющимся в Индию, взять эту книгу и скоротать часы путешествия за границу, приобретая знания, которые будут постоянным источником интереса и, возможно, время от времени принесут им пользу во время их пребывания за границей.

И снова о геологии. Как я не ожидаю, что вы все, или, возможно, кто-либо из вас, станете такими ботаниками, как генерал Монро, чья недавняя 'Монография о бамбуке' является честью для британских ботаников и доказательством научного могущества, которое можно найти кое-где среди британских офицеров, так и я не ожидаю, что вы станете такими геологами, как сэр Родерик Мерчисон, или даже добавите такую грандиозную главу в историю вымерших животных, какую сделал майор Коутли своими открытиями на холмах Сьюалик. Тем не менее, вы можете изучить — и я бы искренне советовал вам изучить — геологию и минералогию в достаточной степени, чтобы принести вам большую пользу в вашей профессии, а также в том случае, если вы оставите свою профессию в будущем. Любому человеку, и особенно вам, должно быть выгодно знать, как и где найти хороший известняк, строительный камень, металлопрокат; должно быть полезно уметь различать руды и минеральные продукты; должно быть полезно знать — как обычно знает геолог, даже в стране, которую он видит впервые, — где, вероятно, можно найти воду и на какой вероятной глубине; должно быть полезно знать, пригодна ли вода для питья или нет, вредна ли она для здоровья или просто мутная; должно быть полезно знать, какие места, вероятно, будут полезными для здоровья. , и какой вредный для здоровья, для лагеря. Два последних вопроса зависят, несомненно, как от метеорологических, так и от геологических случайностей, но ответы на них человек науки наверняка найдет, потому что факты, связанные с ними, как и все другие факты, определяются законами природы. После того, что приходилось слышать в прошлые годы о казармах, построенных в местах, явно зараженных; о солдатах, разбитых лагерями в разрушенных городах, пропитанных грязью и ядом столетий; о — но не мое дело придирается; все, что я скажу, это то, что мудрый и гуманный офицер, когда однажды у него откроются глаза на практическую ценность физической науки, несомненно, попытается немного ознакомиться с теми законами дренажа и климата, геологическими, метеорологическими, химическими, которые влияют, часто со страшной внезапностью и яростью, на здоровье целых армий. Он не

сможет выйти за рамки своей компетенции, чтобы установить количество и периодичность дождей, максимумы жары и холода, которые, возможно, придется выносить его войскам, и многие другие моменты, от которых может зависеть их здоровье и эффективность — более того, сама их жизнь, - но которые сейчас слишком исключительно переданы врачу, к компетенции которого они на самом деле не относятся. Ибо лечение, беру на себя смелость полагать, является обязанностью медицинского работника; профилактика - обязанностью военных.

Вот что я могу сказать прямо сейчас — и еще многое предстоит сказать — о практической пользе изучения естественной истории. Но позвольте мне напомнить вам, с другой стороны, если Естественная история поможет вам, вы, в свою очередь, можете помочь ей; и я не сомневаюсь, помогли бы ей и ученым у себя дома, если бы однажды честно и неуклонно взглянули на огромную важность естественной истории — знания “лица земли”. Я верю, что однажды все более или менее почувствуют, что знать землю, *на* которой мы живем, и законы, *по* которым мы живем, - это священный долг перед самими собой, перед нашими детьми после нас и перед всеми, кем нам, возможно, придется командовать и влиять; да, и долг перед Богом в равной степени. Ибо разве это не долг общего почтения и веры по отношению к Нему, если Он поместил нас в прекрасное и удивительное место и дал нам способности, с помощью которых мы можем видеть, наслаждаться и использовать это место, — разве это не долг почтения и веры по отношению к Нему использовать эти способности и усваивать уроки, которые Он открыл для нас? Если вы чувствуете это, как, я думаю, вы все когда-нибудь почувствуете, то вы, несомненно, почувствуете также, что это будет добрым делом — я не говорю, необходимой обязанностью, но все же добрым делом и достойным похвалы — помочь физической науке двигаться вперед; и внести свой вклад, каким бы незначительным он ни был, в наши общие знания о земле. И мне нет нужды указывать, как много могут сделать для науки британские офицеры, особенно на зарубежных станциях. Я знаю, что офицеры сделали многое, порывисто и хорошо, и что люди науки в долгу перед ними и сердечно благодарят их за их труды. Но, признаюсь, мне хотелось бы, чтобы было сделано еще больше. Я хотел бы видеть каждую зарубежную станцию, которую один или два высокообразованных офицера могли бы легко превратить в передовой пост физической науки, в постоянном контакте с нашими научными обществами на родине, посылая им точные и методичные подробности естественной истории каждого района - детали, 99/100 из которых могут показаться бесполезными в глазах общественности, но которые все были бы драгоценны в глазах ученых, которые знают, что ни один факт на самом деле не является маловажным; и более того, терпеливо исследуя кажущиеся неважными факты, вы можете наткнуться на один бесконечно важный, как научный, так и практический. и практичный. Ибо изучающий природу, джентльмены, если он будет терпелив, прилежен, методичен, в любой момент может рассчитывать на ту же удачу, что выпала на долю Саула в древности, когда он отправился на поиски ослов своего отца и нашел королевство.

Наконец, есть те, у кого нет ни времени, ни вкуса к техническим деталям и приятным различиям официальной естественной истории; кто наслаждается Природой, но как художники или спортсмены, а не как люди науки. Пусть они свободно следуют своим наклонностям, но пусть они не думают, что, следуя им, они ничего не смогут сделать для расширения наших знаний о Природе, особенно когда находятся за границей. Напротив, рисунки всегда должны быть ценными, будь то изображения растений, животных или пейзажа, при условии, что они точны; и чем они одухотвореннее и гениальнее, тем более точными они наверняка будут; поскольку природа живая, ее безжизненная копия обязательно является неистинной копией. Больше

всего любому офицеру за простой просмотр эскизов будет благодарен скрытый ботаник, который, к своему собственному сожалению, знает три четверти своих растений только по высушенным образцам; или скрытый зоолог, который знает своих животных по шкурам и костям. И если кто—нибудь ответит -Но я не умею рисовать. Повторяю, Вы можете хотя бы фотографировать. Если бы молодой офицер, отправляясь в чужие края и совершенно ничего не зная о физических науках, оказал мне честь и спросил, что он может сделать для науки, я бы ответил ему— Учитесь фотографировать; фотографируйте каждый необычный участок скального образования, который поражает ваше воображение, и каждый широко раскинувшийся вид, который может дать представление об общем рельефе местности. Приложите, если сможете, пару примечаний, указывающих, богата ли равнина или бесплодна; является ли порода песчаником, известняком, гранитом, метаморфической или вулканической лавой; и если камней больше, чем один, какой из них лежит на другом; и отправьте их для показа на собрании Геологического общества. Я не сомневаюсь, что тамошние ученые джентльмены найдут в ваших фотографиях пару ценных намеков, за которые они будут им премного признательны. Я извлек, например, то, что казалось мне наиболее ценным геологическим уроком, просто взглянув на рисунки — я полагаю, на фотографии — абиссинских хребтов около Магдалы.

Или, опять же, пусть человек, если он ничего не смыслит в ботанике, не утруждает себя сбором и сушкой образцов; пусть он просто фотографирует каждое странное и новое дерево или растение, которое он видит, чтобы дать общее представление о его виде; пусть он прилагает, где может, фотографию его листьев, цветков, плодов; и пошлет их доктору Хукеру или любому выдающемуся ботанику: и он обнаружит, что, хотя он может ничего не знать о ботанике, он почти наверняка расширил знания тех, кто знает.

Опять же, спортсмен — я имею в виду спортсмена того типа, который кажется характерным для этих островов, который любит тяжелый труд и опасность ради них самих; он, несомненно, натуралист, *ipso facto*, хотя и не знает этого. У него есть те самые привычки к острой наблюдательности, на которых основано все основательное знание природы; и он, если захочет — что он может делать, не мешая своему занятию спортом, — может изучать повадки животных, среди которых он проводит полезные и увлекательные дни. Достаточно полистать такие старые добрые книги, как "Дикие виды спорта Востока" Уильямса, "Старый лесничий" Кэмпбелла, 'Скандинавские приключения' Ллойда и, наконец, "Странствия" Уотертона, чтобы увидеть, какие ценные дополнения к настоящей зоологии — знанию живых существ, а не только мертвых — внесли и все еще могут внести британские спортсмены. А что касается использования времени, которое часто так тяжело ложится на плечи солдата, то я действительно готов сказать: если вы не являетесь ни людьми науки, ни рисовальщиками, ни спортсменами, зачем идти собирать жуков? Я знаю, это не очень достойно и не волнующе, но это будет чем заняться. Это не причинит вам вреда, если вы возьмете, как это делают охотники на жуков, простыню из индийской резины, чтобы лечь на нее; и это, безусловно, принесет пользу науке. Более того, в этом поступке будет присутствовать благородное смирение. Вы признаетесь публике, что считаете себя пригодным только для ловли жуков; самым этим признанием вы докажете, что пригодны для гораздо более тонких занятий, чем ловля жуков; а тем временем, как я уже говорил, вы, по крайней мере, будете вне опасности. Однажды в казарме для иностранцев самым счастливым офицером, которого я встретил, потому что он чаще всего работал на постоянной основе, был тот, кто проводил время за коллекционированием бабочек. Он ничего

не знал о них с научной точки зрения — даже их названий. Он брал их просто за их удивительную красоту и разнообразие, а также в надежде — в которой он был по—настоящему ученым, - что, если он будет бережно хранить каждую форму, которую увидит, его коллекция когда-нибудь пригодится домашним энтомологам. Он был в высшей степени приятным джентльменом и, я не сомневаюсь, ничуть не худшим солдатом в своей ловле бабочек. Похвальным, в моих глазах, был также другой офицер, которого я не имею удовольствия знать, который на отдаленной зарубежной станции мудро воспользовался случаем, чтобы сбежать от соблазнов мира в совершенно оригинальное и самое приятное уединение. Обнаружив, — так гласила история, — что многие из прекраснейших насекомых держатся на верхушках деревьев и вообще никогда не опускаются на землю, он устраивался среди ветвей какого-нибудь дерева в тропических лесах с сачком на длинной ручке и большим количеством сигар и проводил часы в этом воздушном цветнике, время от времени бросаясь на какое-нибудь великолепное чудовище, порхающее у него над головой. Его примеру необязательно должны следовать все; но следует признать, что — по крайней мере, пока он был на своем дереве — он не бездельничал, не ворчал, не тратил деньги и иным образом не вредил себе и, возможно, своим ближним из-за простой нехватки работы.

Еще одно слово, и я закончил. Если бы мне было позволено дать один особый совет молодому офицеру, будь то армии или флота, я бы сказал— уважайте ученых; общайтесь с ними; учитесь у них; находите их, как это обычно бывает, самыми приятными и поучительными товарищами; но всегда уважайте их. Отнеситесь к ним по-рыцарски, вы, имеющие признанный ранг, к их еще непризанному рангу; и относитесь к ним так, как будет относиться к ним весь мир, в более высоком и истинном состоянии цивилизации. Они еще не носят форму королевы; они еще не признанные слуги государства; какими они будут в какой-нибудь более прекрасно организованной и цивилизованной стране; но, тем не менее, они солдаты, хорошие солдаты и рыцари, сражающиеся за свою нацию, часто за еще меньшее жалованье, чем вы, - и с еще меньшими шансами на продвижение по службе и славу, против самых реальных и смертельных врагов — против незнания законов этой планеты и всех страданий, которые порождает это незнание. Уважайте их за их работу; сочувствуйте им; протягивайте им руку помощи при любой возможности — а какие возможности у вас есть, я пытался нарисовать для вас сегодня вечером; и более того, работайте над этим сами, когда и где сможете. Покажите им, что дух, который одушевляет их — ненависть к невежеству и беспорядку и их звериным последствиям — одушевляет и вас; покажите им, что образ мыслей, который они ценят в себе, — привычка точного наблюдения и взвешенных суждений — является и вашей привычкой; покажите им, что вы цените науку не только потому, что она дает лучшее оружие разрушения и защиты, но и потому, что она помогает вам стать трезвым, широкомыслящим, способным справедливо и безошибочно смотреть на любой предмет, который предстает перед вами, и отбросить все старые предрассудки и всякое поспешное суждение перед лицом истины и справедливости. дежурный: и так будет лучше для вас и для них.

Но почему? Зачем солдату и человеку науки брататься именно сейчас? Эта потребность: — Двумя классами, которые будут оказывать возрастающее, возможно, преобладающее влияние на судьбу человеческой расы в течение некоторого времени, будут ученики Аристотеля и Александра — люди науки и солдаты. Несмотря на всю видимость и все заявления об обратном, это мое твердое убеждение. Они, и только они, будут оставлены править, потому что только они, каждый в своей сфере, научились повиноваться. Поэтому для благополучия общества наиболее необходимо, чтобы они поддерживали друг друга, а не противостояли друг

другу; чтобы они понимали друг друга, уважали друг друга, советовались друг с другом, дополняли недостатки друг друга, выявляли высшие тенденции друг друга, противодействовали низшим тенденциям друг друга. Ученому человеку есть чему поучиться у вас, джентльмены, и я не сомневаюсь, что в свое время он это узнает. Вам, опять же, есть — как я намекал вам сегодня вечером — чему поучиться у него, что, я не сомневаюсь, вы тоже узнаете в свое время. Повторите, каждый из вас в меру своих сил, старую дружбу между Аристотелем и Александром; и таким образом, из симпатии и сотрудничества вас двоих еще может возникнуть класс мыслителей и действующих лиц, который сможет спасти эту нацию и другие цивилизованные нации мира от того, о чем я предпочел бы не говорить; и хотел бы, чтобы я не думал слишком часто и слишком серьезно.

Возможно, я мечтатель: и я могу считать, в свою очередь, еще более безудержными мечтателями, чем я сам, некоторых людей, которые воображают, что их единственное дело в жизни - делать деньги, единственное дело ученого - показывать им, как делать деньги, а единственное дело солдата - охранять для них их деньги. Как бы то ни было, лучший тип цивилизованного человека, который мы, вероятно, увидим в течение нескольких грядущих поколений, будет создан сочетанием истинно военного с истинно научным человеком. Я говорю — может быть, я и мечтатель, но, по крайней мере, вы, а также мои друзья-ученые, будете терпеливы ко мне, ибо моя мечта делает вам честь.

ПО БИОГЕОЛОГИИ. ОБРАЩЕНИЕ К НАУЧНОМУ ОБЩЕСТВУ ВИНЧЕСТЕРА.

Я не уверен, что тема моего выступления выбрана правильно. Я не уверен, что мне не следовало отложить вопрос простой естественной истории, чтобы поговорить с вами, как с учеными, о вопросах жизни и смерти, которые были поставлены перед нами ужасным предупреждением о болезни выдающейся личности; о болезни, которую можно предотвратить, о ее ужасающей распространенности; о 200 000 человек, которые, как говорят, умерли только от лихорадки после смерти принца-консорта десять лет назад; о лекарствах; о дренаже; о дезинфекции и утилизации сточных вод; и о помощи, которую вы, как группа ученых, можете оказать любым усилиям по спасению людей. жизни и здоровье наших сограждан защищены от тех невидимых ядов, которые таятся, подобно диким зверям, затаившимся в джунглях, готовым в любой момент наброситься на ничего не подозревающих, невинных, беспомощных. Обо всем этом мне очень хотелось рассказать, но я счел за лучшее только намекнуть на это и оставить этот вопрос вашему здравому смыслу и вашей человечности, принимая как должное, что ваши умы, как и умы всех здравомыслящих англичан, в последнее время болезненно осознали его важность. Мне показалось почти дерзостью говорить больше в городе, о местных условиях которого я почти ничего не знаю. Как старый санитарный реформатор, как практический, так и теоретический, я слишком хорошо осведомлен о трудностях, с которыми сталкивается любая полноценная схема дренажа, особенно в таком древнем городе, как этот; где люди расплачиваются за невежество своих предшественников; и живут, хотя бы того или нет, в пятнадцати веках скопившейся грязи.

И, следовательно, принимая как должное, что в Винчестере достаточно энергии и интеллекта, чтобы преодолеть эти трудности в свое время, я продолжаю просить вас подумать некоторое время о предмете, который становится все более и более важным и интересным, предмете, изучение которого во многом поможет превратить полевого натуралиста из простого

коллекционера образцов — каким он был двадцать лет назад — в философа, проясняющего некоторые из величайших проблем. Я имею в виду зарождающуюся науку биогеологию - науку, которая изучает распределение растений и животных по земному шару и причины этого распределения.

Я не сомневаюсь, что здесь есть многие, кто знает об этом предмете гораздо больше меня; кто гораздо лучше меня знаком с работами Форбса, Дарвина, Уоллеса, Хукера, Морица Вагнера и других выдающихся людей, писавших на эту тему. Но я, возможно, смогу дать несколько советов, которые будут полезны молодым членам этого Общества, и укажу им, как обрести новый вкус к занятиям полевой наукой.

Таким образом, биогеология начинается с того, что вы спрашиваете каждое встреченное вами растение или животное, большое или маленькое, а не просто - Как вас зовут? Такова обязанность коллекционера и классификатора; и это в высшей степени необходимая обязанность, которую необходимо выполнять с самым добросовестным терпением и точностью, чтобы можно было заложить прочную основу для будущих спекуляций. Но юные натуралисты должны действовать не просто как регистраторы и переписчики природы, но как ее полицейские и егеря; и спрашивать всех, кого они встречают — как вы сюда попали? Какой дорогой вы пришли? Каким было ваше последнее место жительства? И теперь, когда вы здесь, как вы зарабатываете на жизнь? Процветаете ли вы и ваши дети, как порядочные люди, которые могут сами о себе позаботиться, или становитесь нищими, деградируете и вымираете? Не то чтобы мы боялись, что вы станете опасным классом. Госпожа Природа не допускает опасных занятий в современном смысле этого слова. Она, несомненно, по какой-то мудрой причине, не щадит слабых. Она вознаграждает каждый организм в соответствии с его трудами; и если что-то становится слишком слабым или глупым, чтобы позаботиться о себе, она воздает ему по заслугам, позволяя ему умереть и исчезнуть. Итак, вы растение или вы животное, относитесь ли вы к числу сильных, успешных, размножающихся, колонизирующих? Или вы относитесь к числу слабых, терпящих неудачу, истощающихся, обреченных?

Эти вопросы могут показаться несколько грубыми, но вы можете утешить себя мыслью, что растения и животные, хотя и заслуживают всяческой доброты, всякого восхищения, не заслуживают никакой вежливости — по крайней мере, в этом отношении. Ибо они, все до единого, где бы вы их ни встретили, бродяги и землевладельцы, незваные гости и завоеватели, которые попали туда, где оказались, просто по закону сильнейшего — как правило, не без небольшого грабежа и убийства. У них нет другого права, кроме права собственности; того самого, по которому тупик выгоняет старых кроликов, поедает молодых, а затем откладывает яйца в кроличью нору — просто потому, что она может.

Итак, вы сразу увидите, что такой ход расспросов вызовет множество любопытных ответов, если только вы сможете заставить предметы рассказать вам их историю; как вы всегда можете, если будете достаточно долго подвергать их перекрестному допросу; и приведет вас ко многим предметам, помимо простой ботаники или энтомологии. Темы, к которым вы приступите, действительно, настолько разнообразны, что я могу сейчас лишь намекнуть на них самым беглым образом.

Вначале вы вскоре обнаружите, что занимаетесь химическими и метеорологическими вопросами: как, например, когда вы спрашиваете: "Как получилось, что я нахожу одну флору на морском берегу, другую - на песчанике, третью - на мелу, а третью - на торфообразующих

щелнистых слоях?" Обычный ответ был бы, я полагаю, таков: если бы мы могли определить это с помощью двадцатилетнего эксперимента, подобного тому, который проводил мистер Лоус из Ротампстеда над ростом трав и бобовых растений на разных почвах и под разными удобрениями, — обычный ответ, говорю я, был бы таков: Потому что нам, растениям, нужны такие—то минеральные компоненты в нашем древесном волокне; опять же, потому что нам нужно определенное количество влаги в определенный период года; или, возможно, просто потому, что механическое расположение частиц определенной почвы соответствует форме наших корней и удобрениям. из их устьиц. Иногда вы получите ответ достаточно быстро, иногда нет. Если вы спросите, например, *Asplenium viride*, как ему удастся в изобилии расти в Крейвене в Йоркшире на высоте 600 или 800 футов над уровнем моря, в то время как в Сноудоне ему не нравится расти ниже 2000 футов, и даже там его мало?— Потому что в Крейвене я могу получить столько углекислоты, сколько захочу, из разлагающегося известняка; в то время как на Сноудонском силурийском я получаю очень мало; и мне приходится восполнять это, цепляясь за горные вершины, ради большего количества осадков. Но если вы спросите *Polopodium calcareum* — Как получилось, что вы решили расти только на известняке, в то время как *Polypodium Dryopteris*, разновидностью которого, я подозреваю, вы являетесь, готов расти где угодно?—*Polypodium calcareum* пока отказывается отвечать ни на одно слово.

Опять же — я могу дать вам лишь несколько намеков — вы обнаружите в своих расспросах, что у многих растений и животных вообще нет причин указывать, почему они должны находиться в одном месте, а не в другом, за исключением очень веской причины для последнего, которая была предложена мне однажды великим натуралистом. Я спрашивал — почему я не нахожу такой-то вид в моем приходе, в то время как он в изобилии произрастает в нескольких милях отсюда, на точно такой же почве? — и он ответил — По той же причине, по которой вы не в Америке. Потому что вы туда не попали. Этот ответ пролил на меня поток света на всю эту науку. Вещи часто находятся там, где они есть, просто потому, что они случайно оказались там, а не где-то еще. Но они должны были каким-то образом попасть туда, и я хочу, чтобы эти средства открыли юные натуралисты; по крайней мере, догадаться об этом.

Например, какой—либо вид - и я подозреваю, что это обычный случай с насекомыми — может в изобилии скапливаться в одном месте просто потому, что много лет назад один выводок яиц случайно вылупился в то время, когда яйца других видов, которые конкурировали бы с ними за пищу, не вылупились; и они могут оставаться прикованными к этому месту, хотя за его пределами для них много хорошей пищи, просто потому, что они размножаются недостаточно быстро, чтобы требовалось расселяться в поисках новой пищи. Таким образом, я должен объяснить случай, о котором я недавно услышал, когда *Anthocera trifoli* в течение многих лет в изобилии росла в одном углу определенного поля, и только там; в то время как вокруг было столько же трилистника для ее личинок, сколько и на выбранном месте. Я могу, говорю я, дать только намеки, но, надеюсь, их будет достаточно, чтобы показать путь мысли, на который я хочу направить свои умы юных натуралистов.

Или, опять же, вам придется поинтересоваться, не помешал ли распространению этого вида какой-нибудь естественный барьер. Мистер Уоллес, которого вы все, конечно, знаете, показал в своем 'Малайском архипелаге', что глубоководный морской пролив может служить таким барьером между видами. Мориц Вагнер показал, что в случае с насекомыми умеренно широкая река может разделять два близкородственных вида жуков или очень узкий снежный покров - два близкородственных вида мотыльков.

Опять же, есть еще одна причина, и наиболее распространенная: растения не могут распространяться, потому что они обнаруживают, что земля за ними уже занята другими растениями, которые не потерпят свежего привкуса, поскольку их едва хватает, чтобы прокормить себя. Возьмем случай с *Saxifraga hypnoides* и *S. umbrosa*, "гордостью Лондона". Это два особенно сильных вида. Они демонстрируют это, особенно *S. hypnoides*, своей способностью к спорту, к разделению на разновидности; они демонстрируют это в равной степени своей способностью процветать где угодно, если только смогут туда добраться. Они оба будут расти в моем песчаном саду при количестве осадков всего 23 дюйма, более пышно, чем в их родных горах при количестве осадков 50 или 60 дюймов. Тогда как же получается, что *S. hypnoides* не может спуститься с гор; и что *S. umbrosa*, хотя в Керри она спустилась с гор до уровня моря, уничтожив, как я подозреваю, многие виды в своем развитии, все же не может пересечь графство Корк? Я полагаю, что единственный ответ таков: оба вида постоянно пытаются идти вперед; но другие растения, уже находящиеся перед ними, слишком сильны для них и уничтожают их детенышей сразу после рождения.

И это подводит нас к другому любопытному вопросу: внезапному и обильному появлению растений, таких как наперстянка и *Epilobium angustifolium*, в местах, где их никогда раньше не видели. Являются ли их семена, как думают некоторые, дремлющими в земле; или же семена, которые проросли свежими, занесены туда ветром или иным способом и способны прорасти только в этом одном месте, потому что там почва чистая? Генерал Монро, ныне известный своими непревзойденными мемуарами о бамбуке, придерживается последней теории. Он указал мне, что семена *Epilobium*, будучи оперенными, могут разноситься ветром; что растение всегда появляется первым на новых берегах, оползнях, полянах, где ему не с чем конкурировать; и что наперстянка делает то же самое. Верно, и это наиболее болезненно верно в случае чертополоха и молочая, но семена наперстянки, хотя и мельчайшие, вряд ли будут разноситься ветром больше, чем семена белого клевера, который в такой изобилии растет на осушенных болотах. Существует соответствующий субъективный подход, и я хотел бы, чтобы некоторые юные натуралисты тщательно поработали над решением; экспериментальным путем, который является наиболее надежным способом выяснить что-либо.

Но в исследованиях в этом направлении они найдут достаточно загадок. Я задам им вопрос, который я буду очень благодарен услышать, что они решили в течение следующих семи лет— Как получается, что мы находим определенные растения, а именно, черноплодку и цинготную траву, в изобилии произрастающие на морском побережье и распространенные на некоторых горных вершинах, но нигде между ними? Ответь мне на это. Потому что я годами смотрел на этот факт — до, позади, сбоку, с ног на голову и наизнанку — и я не могу этого понять.

Но все эти вопросы, и особенно, я подозреваю, последний, должны подвести молодого исследователя к великому и сложному вопросу — как эти острова были вновь заселены растениями и животными после длительной и повсеместной катастрофы ледниковой эпохи?

Я полагаю, вы все знаете и согласитесь, что все эти острова к северу от Темзы, за исключением некоторых покрытых льдом горных вершин, были на долгие века погребены под ледяным морем. Откуда растительная и животная жизнь выползла обратно на сушу, когда она снова поднялась, и покрыла ее мантию ледниковых заносов свежей жизнью и зеленью?

Теперь позвольте мне дать вам несколько пролегоменов по этому вопросу. Вы, конечно, должны изучать растения, вид за видом. Возьмите "Кибелу британскую" Уотсона и "Кибелу

гиберниканскую" Мура; и пусть, как сказал бы мистер Мэтью Арнольд, "ваши мысли свободно вращаются вокруг них". Также внимательно посмотрите в отношении каждого вида на примечание о его распространении, которое вы найдете в приложении к "Справочнику" Бентама и "Флоре для студентов" Хукера. Если вы хотите разобраться в предмете, обратитесь за посильной помощью к иностранным ботаникам, как европейским, так и американским; и я думаю, что в целом вы придете к некоторым подобным выводам. теория как таковая для общей стартовой платформы. Своей флорой мы обязаны не стольким различным регионам или типам — сейчас я должен остановиться на флоре, — как полагает мистер Ватсон, а трем, а именно: европейской или германской флоре с юго-востока; атлантической флоре с юго-запада; северной флоре с севера. Эти три вида вторглись к нам после ледниковой эпохи, и наша общая флора является их результатом.

Но это доставит вам много хлопот. Прежде чем вы сделаете еще один шаг, вам придется исключить из всех ваших расчетов большинство растений, которые Уотсон называет *glareal, то есть*, произрастающих на обработанной земле около жилых помещений. И каким может быть их предел, я думаю, мы никогда не узнаем. Но в одном мы можем быть уверены: точно так же, как вторгающиеся армии всегда приносят с собой, в качестве фуража или иным образом, некоторые растения из своей страны — точно так же, как казаки в 1815 году привезли не одно русское растение через Германию во Францию, — точно так же вы уже собрали урожай северогерманских растений на полях сражений Франции, - так и расы—завоеватели приносят новые растения. Я полагаю, римляне за 300 или 400 лет своей оккупации и цивилизации, должно быть, привезли больше видов, чем я осмеливаюсь упоминать. Я подозреваю, что они привезли не только обыкновенный вяз с юга, не только три вида крапивы, но и все наши красные маки и огромное количество сорняков, распространенных на наших кукурузных полях; и когда мы добавляем к ним растения, которые, возможно, были привезены возвращающимися крестоносцами и паломниками; монахами со всех концов Европы, фламандцами или другими торговцами иностранной шерстью, нам приходится вырезать огромный кусок из нашей местной флоры: только, не имея записей, мы едва ли знаем, где и что вырезать; и можем только, мы, старшие, рекомендуем обратить внимание на этот предмет младшим ботаникам, чтобы они могли разобраться с ним после того, как наша работа будет завершена.

Конечно, эти растения, интродуцированные человеком, если их вырезать, должны быть вырезаны только из одной флоры, а именно европейской; ибо они, вероятно, пришли с юго-востока, какими бы путями они ни пришли.

Я полагаю, что европейская флора вторглась к нам сразу после ледниковой эпохи, в то время, когда Франция и Англия были объединены, а германский океан представлял собой всего лишь сеть рек, впадающих в глубокое море между Шотландией и Скандинавией. И здесь я должен добавить, что бесконечные вопросы, представляющие интерес, возникнут у тех, кто будет изучать не просто вторжение этой истинно европейской флоры, но вторжение рептилий, насекомых и птиц, особенно перелетных, которые, должно быть, последовали за этим, как только земля была достаточно покрыта растительностью для поддержания жизни. На эту тему еще предстоит написать целые тома. Я надеюсь, что кто-нибудь из ваших молодых членов доживет до того, чтобы написать один из них. Начнем с того, что очень тщательно сравним флору и фауну этой части Англии с флорой южных и восточных графств; а затем снова сравним их с фауной и флорой Франции, Бельгии и Голландии.

Что касается атлантической флоры, вам придется решить для себя, принимаете ли вы теорию о затонувшем атлантическом континенте или нет. Я признаю, что все возражения против этой теории, какой бы поразительной она ни казалась, перевешиваются в моем сознании множеством фактов, которые я не могу объяснить никакой другой теорией. Но вы должны судить сами; а для этого вы должны тщательно изучить распространение вересковых пустошей как в Европе, так и на Капской земле; и их отсутствие за Уральскими горами и в Америке, за исключением Лабрадора, где обитает обыкновенный линь, более древняя и менее специализированная форма. Вы также должны учитывать растения, распространенные на Азорских островах, в Португалии, на западе Англии, в Ирландии и на Западных Гебридах. Поступая таким образом, юные натуралисты, по крайней мере, найдут доказательства изменения в распределении суши и воды, которое совершенно поразит их, когда они столкнутся с этим впервые.

Что касается северной флоры, то вопрос, откуда она взялась, достаточно загадочен. Кажется трудным представить, как какие-либо растения могли выжить, когда Шотландия была архипелагом, покрытым таким же льдом, как сейчас Гренландия; и у нас нет доказательств того, что после ледниковой эпохи существовал какой-либо северный континент, с которого растения и животные могли вернуться к нам. Виды растений и животных, общие для Британии, Скандинавии и Северной Америки, должно быть, распространились в доледниковые времена, когда еще существовал соединяющий их континент.

Но некоторый свет на этот вопрос пролила настолько очаровательная, насколько это возможно, статья доктора Брауна из Кэмпстера “Физика арктических льдов”. Вы найдете это в ‘Ежеквартальном журнале Геологического общества’ за февраль 1870 года. Там он показывает, что даже в Гренландии вершины и утесы достаточно свободны ото льда, чтобы поддерживать растительность из 300-400 видов цветковых растений; и поэтому, как он правильно говорит, мы должны быть осторожны, чтобы не прийти к выводу, что растительная и животная жизнь на унылых берегах или горных вершинах старой ледниковой Шотландии была бедной. То же самое справедливо и для наших гор; и, если это так, мы можем смотреть с уважением, даже с благоговением, на альпийские растения Уэльса, Шотландии и Озерных гор, как на организмы, возможно, отсталые и даже деградировавшие в результате долгой борьбы со стихиями; но почтенные по своему возрасту, исторические по своей выносливости. Реликвии более древнего мира с умеренным климатом, они пережили тысячи веков морозов и туманов, чтобы снова погреться на солнце в умеренном климате. Я никогда не могу выбрать ни одного из них без тени стыда; и уничтожить одного из них - значит уничтожить ради простого удовольствия собрать последних представителей семьи, которую Бог позаботился сохранить на протяжении тысячелетий.

Я надеюсь, что эти подсказки — ибо я не могу назвать их иначе — по крайней мере, пробудят любого молодого натуралиста, который до сих пор только собирал природные объекты, к изучению действительно важного и интересного вопроса — как эти предметы сюда попали?

Отсюда возникают вопросы, которые могут озадачить ум гэмпширского натуралиста. Как вам хорошо известно, в этом районе есть две, или, скорее, три почвы, на каждой из которых произрастает своя особая растительность. Во-первых, у вас есть глина, лежащая на мелу, и обширные леса, кажущиеся первозданными. Далее, у вас есть мел с его своеобразными, нежными и часто ароматными растениями, любящими известь; а затем у вас есть бедные пески

и глины бассейна Нью-Форест, насыщенные железом и, следовательно, покрытые вересковой пустошью или торфяной растительностью, во многих отношениях совершенно отличной от других. И эта вересковая почва и эта растительность, за несколькими исключениями, повторяются, как я полагаю, вы знаете, на севере графства, в Бэгшотской котловине, как ее называют — вересковые пустоши Олдершота, Хартфордский мост и Виндзорский лес.

Какие разнообразные интересные вопросы возникают из-за этих простых фактов. Как каждая из этих трех флор оказалась на своем нынешнем месте? Откуда взялась каждая? Как он прошел мимо другого, пока каждая группа растений после долгой междоусобной конкуренции не обосновалась на наиболее подходящем для нее участке земли? И когда каждое из них появилось здесь? Какой из них древнейший? Кто-нибудь скажет мне, были ли вересковая флора вересковых пустошей или тимиевая флора меловых холмов более ранними обитателями этих островов? На эти вопросы я не могу получить никакого ответа; и на них нельзя ответить, во—первых, без очень тщательного изучения ареала каждого вида растений на европейском континенте; и, во-вторых, без тщательного изучения тех колоссальных изменений в форме этого острова, которые произошли в очень позднюю геологическую эпоху. Состав флоры наших вересковых пустошей до сих пор остается для меня полной загадкой. У нас есть папоротники — три вида — чрезвычайно древние формы, которые пережили ледниковый период: но ползли ли они сюда вниз с северных гор или вверх сюда с Пиренеев? У нас снова есть прекрасный болотный асфодель — чрезвычайно древняя форма; как ни странно, она распространена в Северной Америке и Северной Европе, но не проникает в Азию — почти уникальный экземпляр. Он, несомненно, должен был прийти с севера и указывает — как и многие виды растений и животных — на то время, когда Северная Европа и Северная Америка были соединены. У нас в Северном Гэмпшире, хотя, как ни странно, и не на Бэгшотских пустошах, встречается в редких случаях обыкновенная, или Северная, масляница (*Pinguicula vulgaris*); а также на юге, в части графства Нью-Форест, изящная маленькая *Pinguicula lusitanica*, единственный вид, который сейчас встречается в Девоне и Корнуолле, что указывает на Нью-Форест как на крайнюю восточную границу атлантической флоры. У нас снова есть вересковые пустоши, которые, как я только что сказал, не встречаются ни в Америке, ни в Азии и, как я полагаю, происходят из какой-нибудь юго-западной земли, давным-давно затопленной морем. Более того, у нас в Нью-Форесте есть два растения, которые являются представителями южно-европейской, или, точнее, атлантической флоры; которые, должно быть, пришли с юга и юго-востока; и которые не встречаются ни в каких других местах на этих островах. Я имею в виду прекрасный гладиолус, который в изобилии растет под папоротниками близ Линдхерста, безусловно, дикий, но ближе к Луаре и Рейну он нигде в Англии не встречается; и затем, ту нежную орхидею, *Spiranthes estivalis*, которая известна только в болотах близ Линдхерста и на Нормандских островах, в то время как на Континенте она простирается от южной Европы через всю Францию. Итак, что обозначают эти два растения? Они дают нам представление о ботанике, хотя и не по времени, чтобы определить, когда юг Англии отделился от противоположных берегов Франции; и когда бы это ни произошло, это было сразу после того, как сюда добрались гладиолусы и спиранты. Две маленькие колонии этих прекрасных цветов прибыли как раз перед тем, как им отрезали путь к отступлению. Они обнаружили, что местность уже заселена другими растениями, и, не получив подкрепления от свежих колонистов с юга, не смогли распространиться дальше на север, чем Линдхерст. Таким образом, в Нью-Форесте и, я могу сказать, на Бэгшотских пустошах вы находите растения, которых не ожидаете, и не находите растений, которых ожидаете; и вы

озадачены, или должны быть озадачены, и, я надеюсь, также заинтересованы, и стремитесь узнать больше.

Я только что говорил о времени, когда Англия была присоединена к Франции, как имеющем отношение к ботанике Хэмпшира. Это имеет не меньшее отношение к зоологии Хэмпшира. У насекомых, например, присутствие пурпурного императора и белого адмирала в наших лесах Хэмпшира, а также обилие большого жука-оленья указывают на то время, когда две страны были объединены, по крайней мере, на западе до Хэмпшира; в то время как отсутствие этих насекомых дальше к западу показывает, что страны, если когда-либо и были объединены, уже были разделены; и что у этих насекомых еще не было времени распространиться на запад. Присутствие этих двух бабочек и частично жука-оленья вдоль юго-восточного побережья Англии вплоть до девственных лесов Южного Линкольншира указывает — как и сотни других фактов — на то время, когда Дуврского пролива либо не существовало, либо он был руслом реки, текущей с запада; и когда, как я только что вам сказал, все реки, которые сейчас впадают в Германский океан, от Хамбера на западе до Эльбы на востоке, впадали в море между Шотландией и Норвегией, пройдя через обширную акваторию. низменность, покрытая бесчисленными стадами мамонтов, носорогов, гигантских быков и других млекопитающих, ныне вымерших; в то время как птицы, насколько нам известно; насекомые; пресноводная рыба; и даже, как доказал мой друг мистер Брейди, *речные энтомостраты* были такими же на территории нынешней Голландии, как и на территории нынешних наших Восточных графств. Я мог бы долго останавливаться на этом вопросе. Я мог бы долго говорить о том, как определенные виды *чешуекрылых* — мотыльки и бабочки, такие как *Papilio Machaon* и *P. Podalirius*, расселяются по Франции, достигают Британского пролива и не пересекают его; за исключением одной колонии *Machaon* в Кембриджширских болотах. Я мог бы долго говорить о подобном явлении в случае с нашими перелетными и певчими птицами: сколько изысканных видов — особенно эти два великолепных певчих птиц, орфейская камышевка и Ипполай, которые улаждают наш слух повсюду по ту сторону Ла—Манша, — каждую весну следуют за нашими соловьями, черными шапками и камышевками на север почти до Дуврского пролива, но не осмеливаются пересечь его просто потому, что они были, так сказать, созданы с тех пор, как открылся залив, и никогда не учились у своих родителей летать над ним.

В случае с рыбами, опять же, я мог бы много сказать о любопытном факте, что карповые, или белая рыба — карп и т. Д., — и их естественный враг, щука, являются местными, я полагаю, только в реках, английских или континентальных, на восточной стороне Дуврского пролива; в то время как реки на западной стороне изначально были населены, как и наши Хэмпширские ручьи, как и сейчас, почти исключительно форелью, единственным карповым видом в них был голец — если он тоже не вторгся; и я мог бы попросить вас рассмотреть влияние этого любопытного факта на бывшее соединение Англии и Франции.

Но у меня есть время только для того, чтобы указать вам на несколько любопытных фактов, касающихся рептилий, которые должны быть особенно интересны биологу из Хэмпшира. Вы, конечно, знаете, что в Ирландии нет рептилий, за исключением маленькой обыкновенной ящерицы *Lacerta agilis* и нескольких лягушек на горных вершинах — как они туда попали, я не могу себе представить. И вы, конечно, догадаетесь, и справедливо, что причина отсутствия рептилий заключается в том, что Ирландия была отделена от Англии до того, как туда успели добраться существа, которые, несомненно, распространились из южного и более теплого климата. Вы, конечно, знаете, что у нас в Англии есть несколько рептилий. Но вы, возможно, не

осознаете, что, как только вы пересекаете Ла-Манш, вы обнаруживаете гораздо больше видов рептилий, чем здесь, а также тех, которые вы находите здесь. Великолепная зеленая ящерица, которая копошится, как кролик, во французском лесу, здесь никогда не водится; просто потому, что она не двигалась на север до образования Канала. Но есть три рептилии, характерные для этой части Англии, которые должны были бы представлять наибольший интерес для гэмпширского зоолога. Одна из них - песчаная ящерица (*L. stirpium*), обитающая на Борн—хит и, я подозреваю, также на вересковых пустошах Южного Гэмпшира - североевропейский и французский вид. Другая, *Coronella laevis*, безвредная французская и австрийская змея, которую находили около меня, в Северном Ханте и Южном Берксе, уже раз пятнадцать или двадцать. У меня было три экземпляра из моего собственного прихода. Я полагаю, что в этом нет ничего необычного; и, скорее всего, те, кто захочет поискать, найдут его как в Нью-Форесте, так и в Вулмере. Третий - наттерджек, или бегущая жаба (*Bufo Rubeta*), животное с прекрасными пятнами, с желтой полосой вдоль спины, которое водится у меня в Эверсли, а также на многих вересковых пустошах Хантса и Суррея; и, по словам Флеминга, на вересковых пустошах близ Лондона и даже на северо-востоке до Линкольншира; в этом случае оно будет принадлежать к германской фауне. И здесь мы снова сталкиваемся со случаями появления животных, которые только что смогли добраться сюда до разделения Англии и Франции; и которые, не получив подкрепления с тыла, были вынуждены остановиться небольшими и, вероятно, уменьшающимися колониями в ближайших к побережью местах, которые были пригодны для них.

Надеюсь, я не слишком задержал вас на этих деталях. Что я хочу донести до вас, так это то, что Хэмпшир - это графство, специально приспособленное для изучения важных биогеологических вопросов.

Чтобы разобраться в них, вы должны проследить геологию Хэмпшира, да и всего Восточного Дорсета. Вы должны попытаться составить представление о том, как формировалась суша во времена миоцена, до того огромного переворота, который поднял меловые скалы у Пресноводных водоемов вертикально, подняв слои третичного периода на их северных склонах. Вы должны спросить — не было ли земли к югу от острова Уайт в те века и в последующие века; и каковы были ее протяженность и форма? Вы должны спросить — когда был пропилен промежуток между островом Уайт и островом Пурбек, в результате чего Иголки остались в виде остатков с одной стороны, а Старый Гарри - с другой? И был ли он распилен на части просто в результате многовекового разгрызания волн? Вы должны спросить — откуда взялась великая река, которая текла с запада, где сейчас находится Пул-Харбор, и, вероятно, через то, что сейчас является Солентом, оставляя солоноватые русла справа и слева - где, я говорю, она впадала в море? Где сейчас находится Дуврский пролив? Или, если не там, то где? Что также стало с землей к Западу, состоящей из древних метаморфических пород, из которых она вытекала, и отложившейся там, где сейчас находятся Хаггерстоунские вересковые пули, обширные пласты песка? Каким был климат на ее берегах, когда она смыла нежные листья широколиственных деревьев, похожих на наши современные английские, которые растут в тонких илисто-песчаных слоях Борнмута? Когда, наконец, она сократилась до ручья, который сейчас протекает через город Уэйрхэм? Было ли ее дно морем, или сушей, или под ледяным покровом в течение долгих веков ледниковой эпохи? И если вы скажете — Кого достаточно для всего этого? — Кто может ответить на эти вопросы? Я отвечу — Кто, кроме вас или ваших учеников после вас, если вы только попытаетесь?

И если кто-нибудь ответит — И какая польза, если я попытаюсь? Какая польза, если я попытаюсь? Какая польза, если мне удастся ответить на каждый вопрос, который вы задали сегодня вечером? Стану ли я от этого счастливее? Стану ли я мудрее?

Друзья мои, станете ли вы счастливее от этого, или от любого знания физической науки, или от любого другого знания вообще, я не могу сказать: это зависит от решения Более Высокой Силы, чем я; и, действительно, честно говоря, я не думаю, что биогеология или любая другая отрасль физической науки, по крайней мере на первых порах, сделают вас счастливыми. Как и изучение своих собратьев. Как и сама религия. Мы были посланы в мир не для того, чтобы быть счастливыми, а для того, чтобы быть правыми; по крайней мере, мы, бедные создания, настолько правы, насколько это возможно; и мы должны довольствоваться тем, что мы правы, а не счастливы. Ибо я боюсь, или, скорее, надеюсь, что большинство из нас не способно воспользоваться рецептом Талейрана для достижения совершенного счастья на земле, а именно — иметь твердое сердце и хорошее пищеварение. Следовательно, поскольку наши сердца, к счастью, не всегда черствы, а пищеварение, к несчастью, не всегда хорошее, мы будем довольны тем, что физическая наука сделала нас мудрее, даже если это не сделает нас счастливыми.

И мы станем по-настоящему мудрыми, если будем довольны; довольны также не только тем, что мы можем понять, но и тем, чего мы не понимаем — привычкой ума, которую теологи называют — и справедливо — верой в Бога; истинной и твердой верой, которая часто проистекает из печали и сомнений, таких как биогеология, которые вполне могут пробудить в нас с первого взгляда. Ибо нашим первым чувством будет — я знаю, что именно таким было мое чувство, когда я начал разбираться в этих вопросах, — нечто вроде страха.

Здесь были все эти существа, животные и растительные, соревнующиеся друг с другом. И их соперничество было настолько серьезным и тотальным, что это не означало — как это происходит среди честных лавочников в цивилизованной стране — "я заработаю немного больше денег, чем вы"; но — "Я раздавлю вас, поработю вас, уничтожу вас, съем вас". "Горе слабым", кажется, девиз Природы. Псалмопевец говорит: "Праведные унаследуют землю". Если вы отправитесь в тропический лес или, действительно, если вы внимательно осмотрите квадратный акр любой английской земли, возделанной или необработанной, вы обнаружите, что текст Nature на первый взгляд выглядит совсем по-другому. Кажется, она говорит — Не праведные, а сильные унаследуют землю. Растение, насекомое, птицу, что угодно — Найди более слабое растение, насекомое, птицу, чем ты сам, и убей его, и завладей его маленьким виноградником, и никакое проклятие Навуфея не постигнет тебя; но ты унаследуешь его и будешь процветать в нем, ты и твои дети после тебя, если они будут такими же сильными и жестокими, как ты. Таков закон Природы, и разве на первый взгляд это не устрашающий закон? Междоусобная конкуренция, безжалостный эгоизм, настолько междоусобный и настолько безжалостный, что, бродя по тропическим лесам, где этот темперамент проявляется быстрее и свирепее, хотя и ничуть не более злобно, чем в нашем медленном и холодном умеренном климате, я сказал — на самом деле эти деревья и растения такие же злые, как и многие человеческие существа.

Во всей великой республике органического мира девиз большинства таков и всегда был, насколько мы можем судить, тем, чем он является и всегда был для большинства людей: "Каждый за себя, и дьявол заберет самого последнего". Всепоглощающая тирания; характер,

который подлизывается, цепляется и играет роль паразита, пока он подавлен, а когда он поднимается, жиреет на крови и жизни своего покровителя — эти и другие проявления плоти присущи обычным растениям и животным, насколько они могут их использовать. По крайней мере, так говорит на первый взгляд наука биогеология; до тех пор, пока натуралист, если он к тому же человеколюбив, не будет рад вырваться из неразберихи и тьмы универсального поля битвы эгоизма к порядку и свету рождественского прилива.

Ибо тогда ему приходит в голову мысль — И это все факты? И это все, что означают факты? То, что взаимная конкуренция является одним из законов Природы, мы видим слишком ясно. Но разве нет, помимо этого закона, закона взаимопомощи? Верно, как сказал мудрец, что сам иссоп на стене растет там, потому что все силы вселенной не могли помешать его росту. Вся честь иссопу. Храброе растение, оно вело отважную борьбу и получило по заслугам — как и все в Природе — и поэтому победило. Но объединились ли все силы Вселенной, чтобы помешать ему расти? Разве это не односторонняя констатация фактов? Разве не объединились все силы Вселенной, чтобы заставить его расти, если бы только у него была доблесть и ценность, с помощью которых он мог расти? Разве дожди не питали его, разве сам раствор в стене не давал извести его корням? Разве электричество, гравитация и я не знаю, какие еще химические и механические силы не хлопотали вокруг маленького растения и каждой его клетки, любезно и терпеливо готовые помочь ему, если только оно само поможет себе? Несомненно, это правда; насколько я знаю, это верно для каждого органического существа, животного и растительного, а также минерального; и поэтому мы должны смягчить нашу печаль при виде всеобщей взаимной войны видом столь же всеобщей взаимопомощи.

И даже больше. Это правда — даже слишком, если хотите, — что все вещи живут друг за счет друга. Но не является ли, следовательно, столь же истинным то, что все вещи живут друг для друга? — что самопожертвование, а не эгоизм, является в основе законом Природы, поскольку это закон Благодати; и законом биогеологии, поскольку это закон любой религии и добродетели, достойной этого названия? Разве это не правда, что все должно помогать жить чему-то другому, знает оно об этом или нет? — что ни одно растение или животное не может снова обратиться в прах, не дав пищи и существования другим растениям, другим животным? — что сам тигр, кажущийся самым бесполезным тираном из всех тиранов, все еще полезен, когда, внезапно и почти безболезненно отправив из мира множество животных, которые без него умерли бы в нищете от болезненной старости, он сам умирает и, умирая, своей тушей дает средства к жизни. и доставит удовольствие в тысячу раз большему количеству живых существ, чем когда-либо уничтожали его лапы?

Итак, чем дольше наблюдаешь за великой борьбой за существование, тем более милосердным, тем более обнадеживающим становишься; поскольку видишь, что, сознательно или бессознательно, законом Природы, в конце концов, является самопожертвование; бессознательное у растений и животных, насколько нам известно; всегда за исключением тех великолепных примеров истинного самопожертвования, которые демонстрируют общественные насекомые, муравьи, пчелы и другие, которые посрамляют цивилизацию поистине благородную — почему бы мне не сказать божественную, ибо так предопределил Бог? — эгоизм и варварство человека. Но как бы то ни было, в человеке закон самопожертвования — бессознательный или нет у животных — проявляется в сознании ровно настолько, насколько он человек; и венцом биогеологии может стать, когда мы, в конце концов, с ним разберемся, урок

рождественского прилива — о бесконечном самопожертвовании Бога ради человека; и природа, а также религия могут сказать нам:

“Ах, могли бы вы подавить эту вечно жаждущую жажду
блаженства, которая убивает всякое блаженство, и потерять свою жизнь,
Свою бесплодную единичную жизнь, чтобы снова
тысячу раз обрести ее в тех, за кого вы умираете —
Таковыми были вы, мужчины и женщины, и должны занимать
Свое законное место в великой вселенной Бога,
Где, на небесах или на земле, по воле или природе,
Ничто не живет для себя. Все, все, от макушки до основания —
Агнец, закланный до основания мира —
Ангелы, служащие избранным Богом—
Солнце, которое сияет только для того, чтобы освещать миры—
Облака, чья слава умирать в ливнях—
Бегущие ручьи, которые в своих океанских могилах
Спасаются от разложения застойного самодовольства -
Дуб, облагороженный топором корабельного мастера—
Почва, которая дает сердцевину цветку —
Цветок, который питает тысячу бархатных червей,
Рожденных только для того, чтобы стать добычей каждой птицы —
Все тратят себя на других: и должен ли человек,
чье двуединое существо является мистическим узлом,
Соединяющим землю с небом, вдвойне связанный,
Будучи одновременно червем и ангелом, тем служением,
Которым и черви, и ангелы хранят свою жизнь,
Должен ли он, чей каждый вздох — долг за долг,
Отказаться быть тем, кем его создал Бог?
Нет; пусть он покажет себя Повелителем созданий
добровольно пожертвовав тем самопожертвованием,
На которое они, волей-неволей, по законам Природы идут”.

Друзья мои, ученые и прочие, если изучение биогеологии поможет научить вас этому или чему-то подобному, я думаю, что, хотя это, возможно, и не сделает вас более счастливыми, оно все же может сделать вас более мудрыми; и, следовательно, что лучше, чем быть более счастливыми, а именно более благословенными.

ГЕРОИЗМ

Остается открытым вопрос, не деморализует ли нас полицейский; и это в той мере, в какой он хорошо выполняет свой долг; не может ли совершенство правосудия и безопасности, полное “сохранение тела и имущества” низвести образованные и обеспеченные классы в то состояние комнатной собачки, в котором не совесть, а комфорт делают всех нас трусами. Нашим предкам, в целом, приходилось самим заботиться о себе; мы считаем более удобным нанимать людей, которые заботились бы о нас. Тем лучше для нас в некоторых отношениях, но, может быть, тем хуже в других. Тем лучше; потому что, как обычно бывает в результате разделения труда, эти люди, которым почти нечего делать, кроме как заботиться о нас, делают это намного лучше, чем

мы могли бы; и таким образом предотвращают огромное количество насилия и несправедливости, а следовательно, и несчастий, особенно для слабых: по этой последней причине мы согласимся с существованием полицейских и адвокатов, как мы это делаем с результатами арбитража, как с меньшим из двух зол. Шансы на войне в пользу большего хулигана; в арбитражном разбирательстве - в пользу большего негодяя; и вопрос в том, лев или лиса будут более надежными защитниками человеческих интересов. Но арбитраж предотвращает войну: и это в трех случаях из четырех является веской причиной для его применения.

С другой стороны, состояние комнатной собачки, будь то у собак или у людей, безусловно, неблагоприятно для развития высших добродетелей. Безопасность и комфорт действительно хороши для хороших; для храбрых, самозарождающихся, серьезных. Они дают такую ясную почву и не дают возможности беспрепятственно трудиться на благо своих собратьев. Но для большинства, которые не являются ни храбрыми, ни самозарождающимися, ни серьезными, а всего лишь марионетками обстоятельств, безопасность и комфорт могут сделать их жизнь подлой и мелочной, женственной и унылой. Поэтому их сердца необходимо пробуждать как можно чаще, чтобы они достаточно упражнялись для здоровья; и им нужно постоянно и назойливо напоминать о том, что некий великий философ назвал "все, что истинно, благородно, справедливо, непорочно, прекрасно и заслуживает похвалы"; "если есть хоть капля мужества и хоть какая-то справедливая похвала, думать о таких вещах".

Эта мелочность и унылость нашей современной жизни - как раз то, что поддерживает жизнь на нашей сцене, на которую люди идут, чтобы увидеть что-то чуть менее мелочное, чуть менее унылое, чем то, что они видят дома. Это также причина — я чуть было не сказал "оправдание" — современной страсти к романам-сенсациям. Те, кто читает их с такой жадностью, сознают, бедняги, в себе способности к страсти и действию, к добру и злу, для которых их легкомысленная будничная жизнь не дает ни места, ни выхода. Они слишком хорошо знают, что человеческая природа может быть более плодородной, будь то сорняки и яды, или цветы и фрукты, чем это обычно бывает на улицах и в домах благоустроенного и сносно трезвого города. И поскольку изучение человеческой природы - это, в конце концов, то, что ближе всего каждому и интереснее всего для каждого, поэтому они обращаются к художественной литературе, поскольку не могут обратиться к факту, чтобы увидеть, кем они сами могли бы быть, если бы у них был шанс; увидеть, какие фантастические трюки перед высшими небесами могут разыгрывать мужчины и женщины, подобные им самим; и как они их разыгрывают.

Что ж, не мне судить, не мне винить. Я только скажу, что есть те, кто не может читать сенсационные романы или вообще какие-либо романы только потому, что они видят, как вокруг них разыгрывается так много сенсационных романов, описывающих болезненные факты из греховной плоти и крови. Есть также те, кто слишком часто смотрелся в зеркало, чтобы желать больше видеть в нем свое изуродованное лицо; кто слишком устал от себя и стыдится себя, чтобы хотеть слышать о людях, похожих на себя; кто хочет слышать о людях, совершенно непохожих на них, более благородных, и способных, и справедливых, и милых, и чистых; кто жаждет услышать о героизме и побеседовать с героями; и кто, если случайно они встречаются с героическим поступком, омыают свой дух в нем, как в майской росе, и чувствуют себя таковыми, хотя бы на час. , более справедливо.

Если кому-нибудь из таких доведется увидеть эти слова, позвольте мне попросить их поразмыслить вместе со мной над одним словом "Герой" и что оно означает.

Герой; Героический; Героизм. Эти слова указывают на фазу человеческой природы, способность к которой есть в каждом из нас, которая столь же поразительна и интересна в своих проявлениях, как и любая другая, и которая всегда прекрасна, всегда облагораживает и, следовательно, всегда привлекательна для тех, чьи сердца еще не опалены миром и не ожесточены потаканием своим желаниям.

Но давайте сначала разберемся, что означают эти слова. Нет смысла говорить о слове, пока мы не поймем его значение. Мы можем использовать это как банальную фразу, как партийный клич на платформах; мы можем даже ненавидеть и преследовать наших собратьев ради этого; но пока мы четко не уладим в своих умах, что означает то или иное слово, оно подойдет для борьбы, но не для работы. Сократ в древности часто говорил молодым афинянам, что основой всякого здравого знания является понимание истинного значения слов, которые были у них на устах в течение всего дня; и Сократ был более мудрым человеком, чем мы когда-либо увидим. Поэтому, вместо того чтобы начинать речь с восхваления героизма, я попрошу своих читателей подумать вместе со мной, что такое героизм.

Итак, мы всегда сможем наиболее точно понять значение слова, изучив его этимологию, то есть то, что оно означало изначально. И если героизм означает вести себя как герой, то, как мне кажется, мы должны выяснить не только то, что слово "герой" может означать прямо сейчас, но и то, что оно означало в самой ранней человеческой речи, в которой мы его находим.

Таким образом, герой или героиня у древних гомеровских греков означали мужчину или женщину, которые были подобны богам и которые благодаря этому сходились стояли выше своих собратьев-созданий. Боги, герои и люди - это тройственное подразделение разумных существ, с которыми мы встречаемся не раз и не два. Эти великие древние греки глубоко прониклись правдивостью высказывания поэта:

“Насколько жалок человек, если он не может возвыситься над самим собой”.

Но более того: греки полагали, что эти герои так или иначе являются участниками божественной природы; сродни богам; обычно либо они сами, либо какой-нибудь их предок происходил от бога или богини. Те, кто читал "Ювентус Мунди" мистера Гладстона, наверняка помнят раздел (глава ix. § 6) о способах сближения божественной и человеческой природы; и независимо от того, согласны они в целом с автором или нет, я думаю, все согласятся, что первой идеей героя или героини был богоподобный мужчина или богоподобная женщина.

Богоподобный человек. Какие разнообразные, какие бесконечные формы благородства могло включать это слово, постоянно возрастающие по мере того, как представления людей о богах становились чище и возвышеннее, или, увы! уменьшающиеся по мере того, как их представления деградировали. Древние греки с тем глубоким восхищением красотой, которое сделало их в последующие века мастерами скульптуры и рисования в своей стране, да и в любом другом веке, конечно, требовали от своего героя, своего богоподобного человека, красоты и силы, а также манер, красноречия и всех внешних совершенств человечности и пренебрегали его моральными качествами. Пренебрегать, говорю я, но не игнорировать. От

героя, в силу его родства с богами, всегда ожидали, что он будет лучше обычных людей, как тогда понимали добродетель. И насколько лучше? Давайте посмотрим.

От героя, по крайней мере, ожидалось, что он будет относиться с большим почтением, чем другие люди, к тем божественным существам, природу которых он разделял, обществом которых он мог наслаждаться даже здесь, на земле. Он мог быть неверен своему высокому происхождению; он мог злоупотреблять своими дарами из эгоизма и своеволия; он мог, подобно Аяксу, бушевать из простой ревности и уязвленной гордости, пока его ярость не выльется в постыдное безумие и самоубийство. Он мог бы восстать против самих богов и всех законов добра и зла, пока не погиб бы в своем *ατασθαλίᾳ*,

“Сраженный наповал, слепой в своей гордыне, как знамение и ужас для смертных”.

Но он должен обладать, он обязан обладать, чтобы быть верным своему имени Героя, справедливостью, самоограничением и αἰδώς — той высшей формой скромности, которой мы, увы! нет названия в английском языке; то совершенное уважение к чувствам других, которое проистекает из совершенного самоуважения. И у него также должен быть — если он хочет быть героем высшего типа — инстинкт готовности прийти на помощь; инстинкт, согласно которому, если он родственник богов, он должен сражаться на их стороне, несмотря на тяжелый труд и опасности, против всего, что не похоже на них и, следовательно, ненавистно им. Кто не любит старые легенды, непревзойденные по красоте в литературе любой расы, в которых герой выделяется как избавитель, разрушитель зла? Тесей, избавляющий страну от разбойников и освобождающий ее от ежегодной дани в виде мальчиков и дев, которых пожирает Минотавр; Персей, убивающий Горгону и спасающий Андромеду от морского зверя; Геракл с его двенадцатью знаменитыми подвигами против великанов и чудовищ; и все остальные -

“Которые осмелились в данной богом мощи своей зрелости

Много делать и страдать, и далеко в болотах и лесах

Поражать пожирателей людей, ненавистных небесам, выводок великанов;

Преобразованные, странные, не имеющие себе подобных, которые не подчиняются золотоволосым правителям” -

Это фигуры, чья божественная нравственная красота запала в сердца не только поэтов или художников, но и мужчин и женщин, которые страдали и которые боялись; память о них, какими бы баснями они ни были, облагородила старое греческое сердце; они облагородили сердце Европы в пятнадцатом веке, когда греческая литература была заново открыта. Они не только не противоречили христианскому идеалу, но гармонизировали — я чуть было не сказал, дополняли — тот более нежный и святой идеал героизма, который возник в раннее Средневековье. Они оправдали и фактически дали новую жизнь старому благородству рыцарства, которое выросло в позднее Средневековье как необходимое дополнение активной и мужской добродетели к пассивной и женской добродетели монастыря. Они вдохновили, смешавшись с этими двумя другими элементами, литературу Англии, Франции и Италии, в которой три элемента, святой, рыцарский и греческий героизм, стали единым целым, потому что все три являются человеческими и все три божественными; литературу, которая развилась у Ариосто, у Тассо, в "Гипнеротомахии", "Аркадии", "Эвфюях" и других формах, иногда фантастических, иногда сомнительных, но которая достигла своего совершенства в "Королеве фей" нашего Спенсера — возможно, самой известной. восхитительное стихотворение, которое когда-либо было написано смертным человеком.

И почему? Что дало жизнь этим древнегреческим мифам, какими бы мифами они ни были, и басням, и прекрасным мечтам? Что, хотя у них нет тела и, возможно, никогда им не было, дало им бессмертную душу, которая может говорить с бессмертными душами всех грядущих поколений?

Что, как не то, что в них — может быть, смутная и неразвитая, но все же присутствующая — заложена божественная идея самопожертвования как совершенства героизма; самопожертвования как высшего долга и высшей радости того, кто претендует на родство с богами?

Итак, давайте скажем, что истинный героизм должен включать в себя самопожертвование. Эти истории, древние или современные, несомненно, связаны с тем, что сердца не только философов или поэтов, но и самых бедных и невежественных людей инстинктивно приняли их как высшую форму нравственной красоты — высшую форму, и все же единую для всех.

Грейс Дарлинг гребет в шторм к месту крушения.— "Пьяный рядовой из числа любителей", который, попав в плен к китайцам и получив приказ пасть ниц вместе с котоо, отказался во имя чести своей страны — "Он не поклонился бы ни одному китайцу на земле", - и поэтому был ранен по голове и, несомненно, погиб смертью героя.—Те солдаты "Биркенхеда", которые держали свои ряды, чтобы дать женщинам и детям спастись, пока они смотрели на акул, которые через несколько минут разорвали бы их на куски. — Или, чтобы пересечь Атлантику — ибо на Дальнем Западе есть герои — "Флинн из Вирджинии" мистера Брета Харта, на Центрально—Тихоокеанской железной дороге — путешественникам показывают это место, — который пожертвовал жизнью ради своего женатого товарища, -

Там, в сугробе,
спиной к стене,
Он держал бревна,
готовые упасть.
Затем в темноте
я услышал, как он крикнул:
"Спасайся, Джейк!
Беги ради своей жены!
Не жди меня".

— И это все, что
было слышно в этом шуме -
Слышали о Томе Флинне,
Флинне из Вирджинии.

Или опять же инженер на Миссисипи, который, когда пароход загорелся, держал, как он поклялся, нос корабля у берега, пока все, кроме него, не оказались в безопасности на берегу, —

"Сквозь горячее черное дыхание горящей лодки "
Послышался голос Джима Блудсо;
И все они поверили в его упрямство
И знали, что он сдержит свое слово.
И, конечно, когда ты родился, они все выбрались
До того, как рухнули дымовые трубы,

И призрак Блудсо поднялся один
В дыму "Красавицы прерий".

“Он не был святым, но на страшном суде”
Я бы рискнул с Джимом
"Лонгсайд из числа благочестивых джентльменов"
Это не подало бы ему руки.
Он понимал свой долг — совершенно верно —
И пошел на это тут же;
И Христос не будет слишком суров
К человеку, который умер за людей”.

По поводу этого доблестного стихотворения полковника Джона Хэя — а он написал много доблестных и прекрасных стихотворений — у меня есть только одно возражение: Джим Блудсо не просто выполнил свой долг, но нечто большее, чем просто долг. Он совершил добровольный поступок, к которому его не связывал никакой кодекс или контракт, гражданский или моральный; точно так же, как тот, кто познакомил меня с этим стихотворением, получил свой Крест Виктории — как было завоевано много крестов Виктории и других, — добровольно совершив поступок, к которому он тоже не был связан никакими кодексами или контрактами, военными или моральными. И суть самопожертвования, а следовательно, и героизма, в том, что оно должно быть добровольным; работа сверхзадачи, по крайней мере, по отношению к обществу и человеку: поступок, к которому герой или героиня не привязаны долгом, но который выше долга, хотя и не противоречит ему.

Более того, в силу того же элемента самопожертвования я не откажусь от эпитета героический, который мой уважаемый друг мистер Дарвин справедливо применяет к бедной маленькой обезьянке, которая однажды в своей жизни сделала то, что было выше ее долга; которая жила в постоянном страхе перед огромным павианом, и все же, когда животное набросилось на его друга-сторожа и рвало ему горло, победила свой страх любовью и, рискуя мгновенной смертью, в свою очередь набросилась на своего страшного врага, кусала и визжала, пока не подросла помощь. .

В наши дни некоторые используют эту историю просто для доказательства того, что природа обезьяны и природа человека, в конце концов, одно и то же. Что ж, я, по крайней мере, никогда не отрицал, что в человеке есть обезьянья натура, так же как есть натура павлина, натура свиньи и натура волка — всех этих четверых я вижу каждый день слишком часто. Резкое и суровое различие между людьми и животными в том, что касается их природы, имеет более современное происхождение, чем принято думать. В древности ассирийцы считали орла, быка и льва — и не без оснований — тремя высшими типами человеческих способностей. Лошади Гомера могли быть бессмертными и оплакивать смерть своего хозяина. Животные и чудовища из греческих мифов — подобно пауку Ананзи из негритянской басни - незаметно проникают в речь и разум. Птицы — самые удивительные из всех животных в глазах человека науки или поэта — иногда считаются более мудрыми и более близкими к богам, чем человек. Норвежец — самый благородный и способный человек, за исключением грека, о котором может рассказать нам история, — не постеснялся сказать о медведе из своих родных лесов, что у него “сила вдесятером и мудрость одиннадцати человек”. Как мог Райнеке Фукс обрести бессмертие в Средние века и позже, если не благодаря истинности своей слишком твердой и унижительной теоремы — что действиями человеческого мира в целом руководили страсти, но слишком

похожие на действия низших животных? Я уже говорил и повторяю это снова вместе со старым добрым Воаном —

“Насколько ничтожен человек, если он не может
Возвыситься над самим собой”.

Но я не могу забыть, что многие древнегреческие поэты или мудрецы, а также многие поэты шестнадцатого и семнадцатого веков истолковали бы героизм обезьяны совсем с другой точки зрения; и сказали бы, что бедное маленькое создание внезапно посетило некое “божественное озарение” — выражение столь же философское и столь же понятное, как большинство философских формул, которые я читаю сейчас, - и таким образом оно на мгновение поднялось над своей жалкой эгоистичной обезьяньей природой, точно так же, как человек требует, чтобы его подняли над своей собственной. Но эта теория принадлежит философии, которая устарела и вышла из моды, и которой придется подождать столетие или два, прежде чем она снова войдет в моду.

А теперь: если самопожертвование и героизм, как я полагаю, тождественны, я должен протестовать против использования слова “жертва”, которое становится все более распространенным в газетных колонках, в которых нам сообщают об "огромном жертвоприношении жизнью"; выражение, которое означает просто, что огромное количество бедняг было убито совершенно против их собственной воли и без какой-либо цели: никакой жертвы вообще, если только она не была принесена демонам невежества, алчности или бесхозяйственности.

Дородный студент-вигист лучше понимал значение этих слов, и когда его спросили: “В каком смысле Карла Первого можно назвать мучеником?” - ответил: “В том же смысле, в каком о человеке можно сказать, что он стал мучеником от подагры”.

И я должен точно так же протестовать против неправильного использования слов "герой", "героизм", "героический", которое становится слишком распространенным, а именно, применения их к простому мужеству. Я полагаю, мы позаимствовали это злоупотребление, поскольку у нас есть еще не одно, из французской прессы. Я верю, что мы не примем ни его, ни характер, который его вдохновляет. Возможно, тем, кто льстит своей нации, и особенно ее военной части, до пагубного самомнения, будет удобно сформулировать такой силлогизм, как этот: “Мужество - это героизм: каждый француз от природы храбр; следовательно, каждый француз - герой”. Но мы, которые были воспитаны в более прочной школе морали и в большем уважении к фактам и к языку как выражению фактов, будем осторожны, я надеюсь, и не будем так шутить с этим мощным и ужасным механизмом - человеческой речью. Я надеюсь, что мы также воздержимся от подобного злоупотребления словом "мораль", которое время от времени проникает из французской прессы не только в нашу собственную прессу, но и в труды некоторых наших военных, которым, как англичанам, следовало бы знать лучше. В конце войны нам снова и снова говорили, что моральный эффект такого успеха был велик; что моральный дух войск был превосходным; или, опять же, что моральный дух войск пострадал, или даже что они были несколько деморализованы. Но когда приходишь к проверке того, что на самом деле подразумевается под этими прекрасными словами, обнаруживаешь, что мораль не имеет ничего общего с фактами, которые они выражают; что войсками в одном случае руководила просто животная страсть надежды, в другом - просто животная страсть страха. Это злоупотребление словом "мораль", к сожалению, пересекло Атлантику; и остроумный

американец, которого мы должны извинить, хотя и не должны подражать, когда кто-то стрелял в него из револьвера, поскольку он был безоружен, как говорят, описал свои вполне естественные эмоции по этому поводу, сказав, что он чувствовал себя ужасно деморализованным. Я надеюсь, что мы ограничим слово "деморализация", как сделали бы наши генералы прошлого столетия, применительно к солдатам преступлением, включая, конечно, пренебрежение долгом или дисциплиной; и мы будем точно так же подразумевать под словом "героизм", независимо от того, применяется ли оно к солдату или к любому другому человеческому существу, не просто храбрость; не просто выполнение долга; но совершение чего-то сверх долга; чего-то, что не связано обязательствами; некий спонтанный и неожиданный акт самоотдачи.

Я рад, но не удивлен, видеть, что мисс Йонг придерживалась этого разумного различия в своей золотой книжечке "Золотые подвиги"; и сказала: "Послушание, любой ценой и риском, является самой сутью жизни солдата. В нем есть прочный материал, но вряд ли он обладает исключительной яркостью золотого произведения".

Я знаю, что очень трудно провести грань между простым подчинением долгу и проявлением героизма. Я также знаю, что было бы завистью и дерзостью со стороны такого совершенно негероического персонажа, как я, пытаться провести эту черту; и спокойно сидеть дома, анализируя и критикуя поступки, которые я не смог бы совершить сам: но — чтобы привести один—два примера того, что я имею в виду -

Защищать пост, пока он надежен, - это не героизм. Это простой долг. Защищать ее после того, как она стала несостоятельной, и даже умереть при этом - это не героизм, а благородное безумие, если только таким образом не будет получено преимущество для своей собственной стороны. Тогда, действительно, оно возвышается до героизма самопожертвования, если не до него.

Кто, например, не поддержит вердикт всех веков о поведении тех спартанцев при Фермопилах, когда они сидели на берегу моря, "расчесывая свои желтые волосы в ожидании смерти"? Они посвятили себя безнадежному разрушению: но почему? Они чувствовали — я должен в это верить, поскольку они вели себя так, как будто чувствовали, — что от них могут зависеть судьбы Западного мира; что они были на переднем крае битвы между цивилизацией и варварством, между свободой и деспотизмом; и что они должны учить эту огромную толпу персидских рабов, которых офицеры Великого царя гнали кнутами до острия копий, что дух древних героев не умер; и что грек, даже потерпев поражение и смерть, был более могущественным и благородным человеком, чем они. И они сделали свое дело. Они произвели, если хотите, "моральный" эффект, который сохраняется и по сей день. Они вселили ужас в сердца не только персидского войска, но и всей персидской империи. Они сделали исход этой войны несомненным, а победы при Саламине и Платеях сравнительно легкими. Они сделали завоевание Востока Александром 150 лет спустя не только возможным вообще, но и постоянным, когда оно произошло; и таким образом помогли определить будущую цивилизацию всего мира.

Всего этого они, конечно, не предвидели. Ни один великий или вдохновенный человек не может предвидеть всех последствий своих поступков; но эти люди, как я полагаю, были вдохновлены увидеть хотя бы часть огромной ставки, на которую они играли, и считать свои жизни ничем не стоящими, если Спарта послала их туда, чтобы помочь в этой великой игре.

Или мы должны отказать в присвоении звания героических тем трем немецким кавалерийским полкам, которые в битве при Марс-ла-Туре были вынуждены броситься на шасеты и митральезы несломленной французской пехоты и пошли почти на верную смерть по трупам своих товарищей, вперед, вглубь и сквозь, перетягивая человека через лошадь, лошадь через человека, и вцепились, как бульдоги, в свою работу и не хотели уходить, даже по сигналу горна, пока в одном полку тринадцать офицеров из девятнадцати не были убиты или ранены? И почему?

Потому что французская армия должна быть остановлена, хотя бы на четверть часа. Необходимо дать передышку измотанному Третьему корпусу. И как много могли бы сделать, даже за четверть часа, люди, которые знали, когда, где и за что умирать. Кто откажет этим людям в звании героев? И все же они, вероятно, категорически отказались бы от такой чести. Они всего лишь сделали то, что было в узах. В конце концов, они всего лишь выполняли приказы. Как хорошо говорит мисс Йонг обо всех героических личностях: “Я всего лишь сделала то, что было моим долгом сделать”, — таков естественный ответ тех, кто способен на подобные поступки. Они были вынуждены прибегнуть к ним из чувства долга или жалости; никогда не считали возможным действовать иначе; и вообще ни разу не подумали о себе в этом вопросе”.

Эти последние правдивые слова подводят нас к другому элементу героизма: его простоте. Все, что непросто; все, что наигранно, хвастливо, своевольно, алчно, запяtnает, даже разрушает героический характер поступка; потому что все эти недостатки проистекают из “я”. С другой стороны, везде, где вы находите совершенно простого, откровенного, бессознательного персонажа, у вас есть возможность, по крайней мере, совершить героический поступок. Ибо гораздо благороднее выполнять самые обычные обязанности по хозяйству или за прилавком, не забывая о долге, просто потому, что его необходимо выполнять, — гораздо благороднее, я говорю, чем изо всех сил пытаться совершить блестящий поступок, думая двойко и говоря себе не только— “Это будет блестящий поступок”, но и: “и это мне заплатит, или повысит меня, или выделит из толпы, в придачу”. Героизм не знает “ничего взамен”. И поэтому, опять же, я должен протестовать против применения слова “героический” к любым поступкам, какими бы благотворительными, какими бы тяжелыми, какими бы опасными они ни были, совершаемым ради того, что некоторые французские дамы, как мне сказали, называют “faire son salut” — спасения души в грядущем мире. Я не хочу никого осуждать. К этому эгоистичному мотиву могут быть примешаны и, несомненно, часто примешиваются другие, совершенно бескорыстные мотивы: женская жалость и нежность; любовь к некоему воплощенному идеалу самопожертвования и желание подражать ему, который является одновременно человеческим и божественным. Но этот мотив спасения души, который слишком часто открыто предлагается, совершенно негероичен. Желание избежать страданий и наказаний в будущей жизни с помощью страданий и наказаний здесь; баланс нынешних потерь и будущих приобретений — что это, как не эгоизм, простирающийся за пределы этого мира в вечность? “Не мирское”, — действительно, как однажды горько сказал сатирик, — “а потустороннее”.

Более того — и молодые и полные энтузиазма также должны помнить об этом, — хотя героизм означает выход за рамки строгого долга, он никогда не означает ухода с пути строгого долга. Если ваш долг — отправиться в Лондон, отправляйтесь туда: после этого вы можете ехать так далеко, как пожелаете. Но сначала вы должны отправиться в Лондон. Сначала исполни свой долг; после этого придет время поговорить о героизме.

И поэтому нужно серьезно предостерегать молодежь, чтобы они не принимали за героизм и самопожертвование то, что является просто гордыней и своеволием, недовольством отношениями, которыми Бог связал их, и обстоятельствами, которые Бог назначил для них. Я знала девушек, которые думали, что поступили правильно, оставив неподходящих родителей или несговорчивых сестер, и избрав для себя, как им казалось, более полезную и возвышенную стезю жизни, чем выполнение простых домашних обязанностей; в то время как, в конце концов, бедняжки, они всего лишь говорили вместе с древними фарисеями: “Корбан, это дар, чем бы я ни помог тебе”; и во имя Бога пренебрегали заповедью Бога почитать своих отца и мать.

Есть также мужчины, которые пренебрегают своим домашним хозяйством и оставляют своих детей без средств к существованию и даже необразованными, в то время как сами тратят свои деньги на филантропические или религиозные увлечения. Нехорошо брать хлеб у детей и бросать его собакам; или даже ангелам. Нехорошо, говорю я, пытаться делать подарки Богу, прежде чем мы попытаемся заплатить Богу наши долги. Первый долг каждого мужчины - перед женой, на которой он женился, и перед детьми, которых она произвела на свет; и пренебрегать ими - это не героизм, а сомнение; сомнение, что мужчина настолько необходим Всемогущему Богу, что Бог действительно позволит ему поступать неправильно, если только он сможет таким образом заручиться неоценимыми услугами этого человека. Будьте уверены, что каждый мотив, исходящий не от единственного глаза; каждый мотив, исходящий от самого себя, по самой своей сути негероичен, пусть он выглядит таким безвкусным или благотворным, каким только может.

Но я не могу зайти так далеко, чтобы сказать то же самое о любви к одобрению — желании любви и уважения наших ближних.

Это не должно быть исключено из списка героических мотивов. Я знаю, что это эмоция, или может быть доказано победоносным анализом, эмоция, общая для нас и низших животных. И все же ни один человек не исключает ее меньше, чем истинный герой, святой Павел. Если бы те храбрые спартанцы, если бы те храбрые германцы, о которых я только что говорил, знали, что храбрые мужчины и прекрасные женщины будут оплакивать их память и боготворить ее, и что их имена станут лозунгами для детей в их отечестве: что нам до этого, кроме того, что это должно радовать нас, если мы действительно люди, что в свои последние минуты они думали о том, чтобы сделать самопожертвование более легким, а смерть более сладкой?

И все же — и все же - разве высший героизм не тот, который свободен даже от одобрения наших собратьев, даже от одобрения лучших и мудрейших? Героизм, известный только нашему Отцу, который видит тайну? Богоподобные деяния в одиночестве в уединенной комнате? Богоподобные жизни, прожитые в неизвестности? — героизм, редкий среди нас, мужчин, волей-неволей живущих в блеске и шуме внешнего мира; более распространенный среди женщин; женщин, о которых мир никогда не слышит; которые, если бы мир обнаружил их, только плотнее закрыли бы свои лица и сердца вуалью и молили бы оставить их наедине с Богом. Верно, они не могут постоянно прятаться. Они не должны постоянно прятаться, иначе их собратья потеряют золотой урок. Но, тем не менее, суть совершенного женского героизма, в котором, как и во всех духовных силах, женщина превосходит мужчину, заключается в том, что она скрыла бы, если бы могла.

И это была приятная мысль для меня, когда я недавно взглянула на золотые дела женщины в книге мисс Йонг - это была приятная мысль для меня, что я могла сказать себе — Ах, да. Эти

героини известны, и слава о них слетает с уст мужчин. Но если так, то сколько тысяч героинь должно было быть тогда, сколько тысяч может быть сейчас, о которых мы никогда не узнаем. Но все же они есть. Они тайно сеют семя, из которого мы срываем цветок и едим плод, и не знают, что ежедневно встречаем на улице сеятеля; возможно, это какая-нибудь скромная, обездоленная женщина, с трудом добывающая себе скудное пропитание. Та, кто ухаживает за прикованной к постели матерью, вместо того чтобы отправить ее в работный дом. Та, кто тратит свое сердце и деньги на пьяного отца, безрассудного брата, на сирот родственника или друга. Она, которая — Но зачем продолжать длинный список великих маленьких подвигов, с которыми священнослужитель, по крайней мере, сталкивается ежедневно — а то, что он соприкасается с ними, является одной из самых облагораживающих привилегий высокого призвания священнослужителя, — зачем продолжать, говорю я, если не вспомнить еще одну форму великого маленького подвига — самую распространенную и в то же время наименее запоминающуюся из всех, а именно героизм среднестатистической матери? Ах, когда я думаю об этом последнем общем факте, я снова обретаю надежду для бедного человечества; и этот темный мир кажется мне светлым, этот больной мир снова кажется мне здоровым — потому что, чем бы еще он ни был полон или не полон, он, по крайней мере, полон матерей.

В то время как сатирик только иронизирует, как над задницей для своих насмешек, над управляющей матерью, пытающейся выдать своих дочерей замуж собственными руками с помощью махинаций и подлостей, которые каждый романист слишком хорошо знает, как изобразить, — вознесся бы на небеса он, или, скорее, увы! она нашла бы какое-нибудь более рыцарское занятие для его или ее пера — ибо разве они тоже не были рождены женщиной?— Я только говорю себе — я всегда питал тайную нежность к бедняжке Ревекке, хотя я люблю Исава больше, чем Иакова, — Оставь бедняжку в покое. С болью она произвела этих девочек на свет. С болью она воспитала их в соответствии со своим светом. С болью она пытается добиться для них высшего земного благословения, о котором только может помыслить, а именно удачного замужества; и если, добиваясь последнего, она немного маневрирует, совершает несколько низостей, даже говорит несколько неправд, к чему все это приводит, кроме того, что в смутной интенсивности своего материнского самопожертвования она пожертвует ради своих дочерей даже собственной совестью и собственным кредитом? Мы можем, если захотим, насмехаться над такой бедной измученной душой, когда встречаем ее в обществе: мне кажется, наш долг и как христиан, и как леди и джентльменов - сделать для нее что—то совсем другое.

Но вернемся. Глядя на количество маленьких подвигов, которые, как я утверждаю, совершаются вокруг нас каждый день, никто не имеет права сказать то, что всех нас время от времени так и подмывает сказать— “Как я могу быть героическим? Это не героический век, который подает мне героические примеры. Мы становимся все более и более комфортными, легкомысленными, ищущими удовольствий, зарабатывающими деньги; все более и более утилитарными; все более и более корыстными в нашей политике, в нашей морали, в нашей религии; все меньше и меньше думаем о чести и долге и все больше и больше о потерях и приобретениях. Я родился в негероическое время. Вы не должны просить меня становиться героем в нем”.

Я не отрицаю, что гораздо труднее быть героическим, когда вокруг нас негероические обстоятельства. Мы все слишком склонны быть марионетками обстоятельств; все слишком

склонны следовать моде; все слишком склонны, подобно множеству пескарей, выбирать свой цвет из почвы, на которой мы лежим, в надежде, подобно им, удобно спрятаться, чтобы новое божество—тиран, называемое общественным мнением, не выследило нас и, подобно Навуходоносору древности, не бросило нас в раскаленную печь — которую общественное мнение может очень сильно раскалить - за то, что мы осмелились поклоняться любому богу или человеку, кроме воли временного большинства.

Да, трудно быть кем угодно, только не бедными, подлыми, неполноценными людьми, похожими друг на друга, как множество овец; и, подобно множеству овец, не имеющими собственной воли или характера, но совершенно слепо бросающимися через одну и ту же пропасть в глупом страхе перед одной и той же собакой, которая, в конце концов, не посмеет нас укусить; и так было всегда и всегда будет.

В третий раз я говорю:

“Насколько жалок человек, если он не может возвыситься над самим собой”.

Но, тем не менее, любой мужчина или женщина, которые захотят, в любом возрасте и при любых обстоятельствах могут жить героической жизнью и оказывать героическое влияние.

Если кто-нибудь попросит доказательств этого, я, в свою очередь, попрошу их прочитать два романа; действительно, романы, но в их методе и морали присутствует тот героический и идеальный элемент, который, я надеюсь, заставит их жить еще долго после того, как тысячи простых романов обратятся в прах. Я имею в виду "Джона Галифакса, джентльмена" мисс Малок и "Эсмонда" мистера Теккеря, две книги, которые ни мужчина, ни женщина не должны читать, не став от этого благороднее.

‘Джон Галифакс, джентльмен’ - это просто история бедного молодого клерка, который в начале нынешнего столетия стал богатым владельцем фабрики в промышленных районах. Но он ухитряется быть героическим и идеальным клерком и героическим и идеальным владельцем фабрики; и это, не делая ничего, что мир назвал бы героическим или идеальным, или каким-либо образом выходя за пределы своей сферы, занимаясь просто своим делом и выполняя ближайший к нему долг. И каким образом? Вбив себе в голову с юности самое странное представление о том, что, в каком бы положении или бизнесе он ни находился, он всегда может быть тем, кого считает джентльменом; и что если он только будет вести себя как джентльмен, все наконец-то наладится. Прекрасная книга. Как я уже говорил, в некотором роде героическая и идеальная книга. Книга, которая пошла мне на пользу, когда я впервые ее прочитал; которая должна пойти на пользу любому молодому человеку, который прочтет ее, а затем попытается быть, подобно Джону Галифаксу, джентльменом, будь то в магазине, конторе, банке или мануфактуре.

Другой — еще более поразительный пример возможности героизма, по крайней мере, где бы то ни было — это "Эсмонд" мистера Теккеря. О значении этой книги я могу говорить авторитетно. Ибо мой дорогой и опечаленный друг сам сказал мне, что моя интерпретация этого была истинной; что это был урок, который, по его мнению, люди должны извлечь из этого.

Эсмонд - человек первой половины восемнадцатого века, живущий в грубую, пьяную, невежественную, распутную и совершенно негероическую эпоху. Он — и здесь проявляется

высокое искусство и высокая мораль гения мистера Теккерея — в целом человек своего возраста. Он не человек шестнадцатого или девятнадцатого века, рожденный вне времени. Его информация, его политика, его религия не выше, чем у тех, кто его окружает. Его манеры, его взгляды на человеческую жизнь, сами его предрассудки и ошибки свойственны его возрасту. Искушения, которые он преодолевает, — это как раз те, под которые попадают окружающие его люди. Но как он побеждает их? Твердо придерживаясь чести, долга, добродетели. Таким образом, и только таким образом, он становится идеальным джентльменом восемнадцатого века, героем восемнадцатого века. Именно это имел в виду мистер Теккерей — ибо, повторяю, он сам мне это сказал, — что даже в самые низкие и подлые времена Англии было возможно быть джентльменом и героем, если только человек будет верен свету внутри себя.

Но я пойду дальше. Я перейду от идеальной беллетристики к реальному, и все же идеальному факту; и скажу, что, когда я читаю историю, самая негероическая эпоха, которую когда-либо видел цивилизованный мир, была также и самой героической; что дух человека одержал полную победу над обстоятельствами в тот самый момент, когда эти обстоятельства были больше всего против него.

Как и почему он это сделал — вопрос философии в высшем смысле этого слова. Факт того, что он это сделал, является вопросом истории. Должен ли я разгадать свою собственную загадку?

Тогда разве мы не слышали о раннехристианских мучениках? Есть ли сомнение в том, что они, неграмотные мужчины, рабы, слабые женщины, даже дети, проявляли, руководствуясь бесконечным чувством долга, проявляющимся в бесконечном самопожертвовании, героизм, какого мир никогда прежде не видел; поднимали идеал человеческого благородства на целую ступень — скорее, на целое небо — выше, чем прежде; и что везде, где распространялась молва об их великих деяниях, люди принимали, даже если они не копировали, этих мучеников как идеальные образцы человеческой расы, пока последующие поколения действительно не стали им поклоняться, может быть, ошибочно, но простительно, как хор низших божеств?

Но есть ли, с другой стороны, сомнения в том, что эпоха, в которую они были героями, была самой негероичной из всех эпох; что они выросли, жили и умерли при самой унижительной материалистической тирании, когда вокруг них умирали или умерли искусство, литература, философия, семейная и национальная жизнь, и в городах, о развращенности которых трудно сказать, ибо очень стыдно, — городах, по сравнению с которыми Париж — обитель аркадской простоты и невинности? Когда я читаю Петрония и Ювенала и вспоминаю, что они были современниками апостолов; когда — чтобы привести пример, который ученые, и, возможно, к счастью, только ученые, могут оценить — я еще раз бросаю взгляд на пир Трималхиона и вспоминаю, что в миле от того пира святой Павел, возможно, проповедовал христианской общине, некоторые из которых — ибо святой Павел не скрывает этого странного факта — возможно, до своего обращения участвовали в таких же вульгарных и звериных оргиях, какие происходили в чертогах богатого вольноотпущенника. : после этого, я говорю, я не могу ограничить возможность человека стать героем, даже если он окружен адом на земле; нет предела способностям любого человеческого существа сформировать для себя высокий и чистый идеал человеческого характера; и, не “разыгрывая фантастических трюков перед небесами”, воплощать этот идеал в повседневной жизни; и в самых обычных обстоятельствах, и в самых низменных занятиях жить достойно — как я понимаю — нашего небесного права по рождению, и подражать героям, которые были родственниками богов.

СУЕВЕРИЕ. ЛЕКЦИЯ, ПРОЧИТАННАЯ В КОРОЛЕВСКОМ ИНСТИТУТЕ В ЛОНДОНЕ.

Приняв на себя огромную честь прочитать здесь две лекции, я выбрал в качестве своей темы Суеверия и науку. Именно суевериям и будет посвящена эта первая лекция.

Этот предмет кажется мне особенно подходящим для священнослужителя; ибо он должен в большей степени, чем другие люди, уметь избегать нападок на два предмета, справедливо исключенных из этого Института, а именно на Теологию, то есть познание Бога, и Религию, то есть осознание Долга. Если он знает, как и должен знать, что такое Теология и что такое Религия, тогда он должен лучше всего знать, что не является теологией, а что не является религией.

Со своей стороны, я умоляю вас с самого начала иметь в виду, что в этих лекциях рассматриваются вопросы исключительно физические; которые в действительности имеют и должны иметь в нашем сознании не больше отношения к теологии и религии, чем утверждение о том, что воровство является неправильным, имеет отношение к утверждению, что три угла треугольника равны двум прямым.

Необходимо исходить из этого, потому что многие придерживаются мнения, что суеверие - это искажение религии; и хотя они согласились бы с этим как таковым, “*corruptio optimi pessima*”, все же они рассматривали бы религию как состояние духовного здоровья, а суеверие - как одно из духовных заболеваний.

Другие, опять же, придерживающиеся того же мнения, но не принимающие во внимание это развращающее оптимум-пессимизм, во все века были в некоторой степени склонны проявлять милосердие к суевериям, как к порождению благоговения; как к простому случайному проявлению одной из самых благородных и полезных способностей человека.

Здесь не место спорить ни с одной из этих сторон; и я просто скажу, что суеверие представляется мне в целом физической привязанностью, такой же насквозь материальной и осязаемой, как еда или сон, воспоминания или сновидения.

После этого необходимо будет дать определение суеверию, чтобы иметь некоторое сносно четкое представление о том, о чем мы говорим. Я прошу разрешения определить это как — Страх перед неизвестным.

Джонсон, который не был диалектиком и, более того, сам был достаточно суеверен, дает восемь различных определений этого слова, что равносильно признанию в своей неспособности вообще дать ему определение:

“1. Ненужный страх или щепетильность в религии; соблюдение ненужных и нестандартных обрядов или практик; религия без морали.

“2. Ложная религия; почитание существ, не являющихся надлежащими объектами почитания; ложное богослужение.

“3. Чрезмерная аккуратность; точность слишком щепетильна”.

Восемь значений; которые, исходя из принципа, что восемь восьмых, или даже 800, не составляют одного целого, могут рассматриваться как отсутствие определения. Его первая мысль, как это часто бывает, самая лучшая — “Ненужный страх”. Но после этого он блуждает. Коренное значение этого слова - "все еще искать". Но, действительно, популярное значение, благодаря популярному здравому смыслу, как правило, содержит в себе корневое значение.

Давайте вернемся к латинскому слову Superstitio. Цицерон говорит, что суеверный элемент состоит в “некотором пустом страхе перед богами” — чисто физической привязанности, если вы запомните три вещи:

1. Этот страх сам по себе является физической привязанностью.
2. Что боги, которых боялись, были для простолюдинов, которые одни их боялись, просто олицетворением сил природы.
3. Ожидалось, что эти боги нанесут физический вред.

Но он сам согласен с этой моей теорией; ибо вскоре после этого он говорит, что не только философы, но даже древние римляне отделяли суеверие от религии; и что это слово впервые было применено к тем, кто весь день молился о том, чтобы освободить суеверных существ из Сибири и пережить их. От этимологии не будет зависеть тот, кто знает поразительное отсутствие у древних какого-либо этимологического чутья вследствие их слабого понимания того надежного индуктивного метода, который породил современную критику. Но если это верно, то суеверие принимает естественную и жалкую форму в умах людей, которые видели, как их дети увядают и умирают; вероятно, большинство из них были поражены болезнями, которые человечество не могло ни понять, ни вылечить.

Лучший пример того, что древние понимали под суеверием, можно найти в живых и драматичных словах великого ученика Аристотеля Теофраста.

Суеверный человек, по его словам, после омовения рук очищающей водой, то есть водой, в которой был погашен факел с алтаря, ходит с лавровым листом во рту, чтобы защититься от дурного влияния, подобно тому, как во времена моей юности свиньи в Девоншире ходили с пучком рябины на шее, чтобы защититься от дурного глаза. Если ласка переходит ему дорогу, он останавливается и либо бросает три камешка на дорогу, либо, с врожденным эгоизмом страха, пропускает кого-то другого вперед себя и навлекает на себя вред, который может за этим последовать. Он испытывает такой же страх перед совой-визгуньей, которую он хвалит от имени ее хозяйки, Афины Паллады. Если он находит змею в своем доме, он воздвигает ей алтарь. Если он проходит мимо помазанного камня, он поливает его маслом, преклоняет колени и поклоняется ему. Если крыса прогрызла один из его мешочков, он принимает это за страшное предзнаменование — суеверие, о котором также упоминает Цицерон. Он не осмеливается сидеть на могиле, потому что это было бы равносильно присутствию на его собственных похоронах. Он бесконечно очищает свой дом, говоря, что Геката, то есть луна, оказала на него какое-то пагубное влияние; и он наблюдает множество других очищений, о которых я скажу только, что они по своей природе явно, как и последнее, предназначены для защиты от невидимых малярий или инфекций, возможных или невозможных. Каждый месяц он помогает своим детям в мистериях орфических жрецов; и, наконец, всякий раз, когда он видит больного эпилепсией, он плюет себе за пазуху, чтобы предотвратить дурное предзнаменование.

Я процитировал, я полагаю, каждый факт, приведенный Теофрастусом; и вы, я уверен, согласитесь, что трогательным и вдохновляющим элементом такого персонажа является простой физический страх перед неизвестным злом. Единственное приписываемое ему суеверие, которое, на первый взгляд, не коренится в страхе, - это суеверие орфических мистерий. Но о них Мюллер говорит, что Дионусос, которому они поклонялись, “был адским божеством, связанным с Аидом, и был олицетворением не просто восторженного удовольствия, но и глубокой скорби о невзгодах человеческой жизни”. Орфические общества Греции, по-видимому, были особенно аскетичными, не употреблявшими никакой животной пищи, кроме сырого мяса принесенного в жертву быка Дионуса. И Платон говорит об орфических жрецах низшего разряда, Орфеотелестаях, “которые обычно приходили к дверям богатых и обещали посредством жертвоприношений и искупительных песен освободить их от их собственных грехов и грехов их предков”; и слишком вероятно, что их услышит человек, который боялся ласки или совы.

Теперь, я искренне верю, что тот же самый телесный страх лежит в основе всех суеверий, какими бы они ни были.

Но пусть будет так. Страх - естественная страсть, и полезная. Без инстинкта самосохранения, который заставляет морскую анемону сжимать свои щупальца или рыбу бросаться в воду, виды были бы полностью истреблены в результате произвольного самоубийства.

Да; страх достаточно полезен, как и все другие способности, пока им управляет разум. Но что, если страх не рационален, а иррационален? Что, если это, говоря простым домашним английским языком, слепой страх; боязнь неизвестного просто потому, что оно неизвестно? Тогда маловероятно, что бояться нужно не того объекта? причинять вред, разорвать животных так же, как и человека? В этом согласится любой, кто когда-либо видел, как лошадь наносит себе смертельные увечья в своих безумных попытках убежать от совершенно воображаемой опасности. У меня есть веские основания полагать, что не только животные здесь и там, но и целые их стаи часто гибнут, даже в диком состоянии, из-за ошибочного страха; из-за такой паники, например, которая заставляет целое стадо буйволов броситься с обрыва и быть разорванными на куски. И заметьте, что эта способность к панике, страху - суеверию, как я бы это назвал, — наиболее велика у тех животных, например, у собаки и лошади, которые обладают наиболее быстрым и живым воображением. Разве не говорит неграмотный горец все, что я хочу сказать, когда он приписывает своей собаке и лошади, на основании именно этих проявлений страха, способность видеть призраков и фей раньше, чем он сможет увидеть их сам?

Но слепой страх причиняет зло не только самому трусу: он делает его источником зла для других, ибо это самое жестокое из всех человеческих состояний. Это превращает человека в подобие кошки, которая, попав в ловушку или запершись в комнате, обладает слишком низким интеллектом, чтобы понять, что вы хотите ее освободить; и в безумии ужаса кусает и рветруку, которая пытается сделать ей добро. Да, слепой страх очень жесток. Когда человек боится, он не знает, чего, он будет делать, ему все равно, что. Когда он отчаянно боится, он будет отчаянно действовать. Когда он боится сверх всякой меры, он будет вести себя сверх всякой меры. У него не осталось никакого закона руководства, кроме самого низкого эгоизма. Нет закона руководства: и все же его интеллект, оставшийся без руководства, может быть достаточно быстрым и острым, чтобы привести его к ужасным глупостям. Бесконечно более одаренный воображением, чем низшие животные, он именно по этой причине способен быть бесконечно

более глупым, более трусливым, более суеверным. Он может — чего, к счастью для них, не могут низшие животные — организовать свое безумие; возвести свои суеверия в ранг науки; и создать целую мифологию из своего слепого страха перед неизвестным. И когда он это сделает — горе слабым! Ибо когда он сведет свое суеверие к науке, тогда он точно так же сведет к науке и свою жестокость и напишет книги, подобные "Маллеус Малефикарум" и остальной литературе о ведьмах пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого веков; о которой мистер Лекки в последнее время так много поведал миру, и поведал это наиболее правдиво и беспристрастно.

Но страх перед неизвестным? Разве это не страх перед невидимым миром? И разве это не страх перед духовным миром? Простите меня: большая часть этого страха — на самом деле, весь он является суеверием — это просто страх не перед духовным, а перед материальным, и ни перед чем другим.

Духовный мир — я прошу вас запомнить это — это не просто невидимый мир, который может стать видимым, но невидимый мир, который по своей сути невидим; нравственный мир, мир добра и зла. А духовный страх — который является одним из самых благородных из всех аффектов, поскольку телесный страх является одним из самых низменных, — это, при правильном определении, не что иное, как страх поступить неправильно; стать еще хуже.

Но какое отношение это имеет к простому страху перед невидимым? Фантазия, порождающая страх, носит физический, а не духовный характер. Подумайте сами. Какая разница между страхом дикаря перед демоном и страхом охотника упасть? Охотник видит забор. Он не знает, что находится по ту сторону: но он видел подобные заборы с большим рвом на другой стороне и подозревает, что и здесь есть такой же. Он видел, как лошади падали под такими, и люди при этом получали травмы. Он представляет себе, как его лошадь падает у этого забора, как он сам катится в канаву, возможно, со сломанной конечностью; и он отшатывается от картины, которую создал сам; и, возможно, на то есть очень веские причины. Его фотография может иметь свой аналог на самом деле, и он может сломать ногу. Но его картина, как и предыдущие картины, из которых она была составлена, — это просто физическое впечатление на мозг, такое же сильное, как и в снах.

Итак, делает ли тот факт, что канава, падение и сломанная нога невидимы и неизвестны, их духовной канавой, духовным падением, духовной сломанной ногой? И делает ли сам факт присутствия демона и его деяний, пока еще невидимых и неизвестных, духовными, или вред, который он может причинить, духовным вредом? Чего боится дикарь? Чтобы демон не появился, то есть не стал очевидным для его физических чувств и не произвел на них неприятного физического воздействия. Он боится, что дьявол заманит его в болото, сломает ручной мостик через ручей, превратится в лошадь и ускачет с ним или выскочит из-за дерева и свернет ему шею — все это довольно суровые физические факты; дети физического воображения, на которые смотрят с физическим ужасом. Даже если бы суеверие оказалось правдой; даже если бы демон действительно появился; даже если бы он совершенно серьезно свернул шею путешественнику, во всей трагедии было бы не больше духовной силы или феномена, чем в том, что происходит со столом в гостиной, когда нечто духовное духовно постукивает по духовному дереву; и люди, которые на самом деле являются духами — и, к небесам, они бы запомнили этот факт и то, что он означает, — поверили, что произошло что-то большее, чем неуклюжий трюк жонглера.

Ты возражаешь? Разве вы не видите, что демон, самым фактом произведя физические последствия, сам стал бы физическим агентом, членом физической Природы, и, следовательно, должен был бы объясняться, он и его поступки, физическими законами? Если вы не понимаете этого вывода с первого взгляда, подумайте над ним, пока не поймете.

Кому-то может показаться, что я основал свою теорию на очень узкой основе; что я строю перевернутую пирамиду; или что, принимая во внимание бесчисленные, сложные, фантастические формы, которые приняли суеверия, телесный страх слишком прост, чтобы объяснить их все.

Но если эти люди подумают во второй раз, они должны согласиться, что моя база столь же широка, как и явления, которые она объясняет; ибо каждый человек способен испытывать страх. И они увидят также, что причиной суеверия должно быть что-то вроде страха, общего для всех людей: ибо все, по крайней мере в детстве, способно к суеверию; и что это должно быть что-то, что, как и страх, имеет самый простой, рудиментарный, варварский характер; ибо самый низший дикарь, на что бы он ни был неспособен, все равно суеверен, часто до очень уродливой степени. Суеверие, по-видимому, действительно является, после изготовления каменного оружия, самым ранним методом утверждения своего превосходства над животными, который пришел в голову тому совершенно ненормальному и фантастическому *lulus naturae*, называемому человеком.

Теперь давайте ненадолго поставим себя, насколько это возможно, на место того же дикаря; и попробуем, не оправдает ли себя моя теория; не было ли суеверие со всеми его причудами результатом того невежества и страха, которые он носил с собой каждый раз, когда бродил в поисках пищи по первобытному лесу.

Первое разделение природы дикарем было бы, я бы сказал, на то, что он может съесть, и то, что может съесть его; включая, конечно, его самого грозного врага и самую вкусную пищу — его собратьев. Мы должны помнить, что, выясняя, что он может есть, он пройдет через большой опыт, который внушит ему серьезное уважение к скрытому гневу природы; подобно тем жителям Гималаев, о которых Хукер говорит, что, поскольку они знают каждое ядовитое растение, они, должно быть, попробовали их все — не всегда безнаказанно.

Таким образом, он добирается до третьего класса объектов — вещей, которые он не может есть и которые не съедят его; но только причинят ему вред, как ему кажется, из чистой злобы, например, ядовитые растения и змеи. Существуют также природные катастрофы, которые подпадают под ту же категорию: камни, наводнения, пожары, лавины. Они причиняют ему боль или убивают его, несомненно, преследуя свои собственные цели. Если со скалы над ним падает камень, что может быть естественнее, чем предположить, что там, наверху, есть какой-то великан, который бросил его в него? Если бы он был там, наверху, и был достаточно силен, и увидел идущего внизу человека, он бы наверняка бросил в него камень и убил его. Во-первых, он мог съесть человека после; и даже если бы он не был голоден, человек мог бы причинить ему вред; и было бы благоразумно предотвратить это, сначала причинив ему вред. Кроме того, у мужчины могла быть жена; и если бы он убил мужчину, то жена, по очень древнему закону, общему для человека и животных, стала бы призом победителя. Таков естественный человек, плотский человек, душевный человек, *ανθρωπος ψυχικός* святого Павла, с пятью довольно острыми чувствами, которыми управляют пять очень острых животных страстей - голод, секс, ярость, тщеславие, страх. Эта лекция посвящена работе с последней страстью, страхом.

Таким образом, дикарь приходит к выводу, что в утесе, должно быть, живет великан, который со злым умыслом бросал в него камни; и он приходит к аналогичному выводу относительно большинства других природных явлений. В них есть что-то такое, что причинит ему боль, и поэтому ему нравится причинять ей боль; и если он не может уничтожить их и таким образом освободиться, его страх перед ними становится совершенно безграничным. Есть сотни природных объектов, на которые он учится смотреть теми же глазами, какими маленькие мальчики Тенерифа смотрят на бесполезную и ядовитую *молочай канарский*. По словам мистера Пиацци Смита, для них это демон, который убил бы их, если бы только мог побежать за ними; но поскольку он не может, они выкрикивают в его адрес испанские проклятия и забрасывают камнями, “визжа от эльфийской радости и используя еще худшие имена, чем когда—либо, когда ядовитое молоко брызжет из его поврежденных стеблей”.

И если таково отношение необразованного человека к постоянным ужасам природы, то каково оно будет по отношению к тем, которые являются внезапными и кажутся капризными? — к штормам, землетрясениям, наводнениям, эпидемиям? Мы слишком хорошо знаем, что это было — страх слепой, и поэтому часто жестокий. Как могло быть иначе? Был ли суеверный человек Теофраста настолько глуп, что поливал маслом каждый круглый камень? Я думаю, в его пользу можно было сказать многое. Это поклонение Бетили было достаточно рациональным. Это были аэролиты, упавшие с небес. Разве не лучше быть вежливым с такими посланцами свыше? — засвидетельствовать им должное благоговение перед существом, которое бросило их в людей и которое, хотя и промахнулось в тот раз, могло не промахнуться в следующий? Я думаю, если бы мы, ничего не зная ни о порохе, ни об астрономии, ни о христианстве, увидели, как стрела Армстронга упала в радиусе пяти миль от Лондона, мы были бы склонны отнестись к этому с большим уважением. Итак, аэролиты, или ледниковые валуны, или полированное каменное оружие вымершей расы, выглядевшее как аэролиты, были детьми Урана небесного, и в них была душа. Одним из тех странных превращений, которым потворствует логика неразумия, был образ Эфесской Дианы, упавший с Юпитера; другим был Анцил, священный щит, упавший с того же места во времена Нумы Помпилия и ставший гением-хранителем Рима; и еще несколько прославились на века.

Почему бы и нет? Необразованный гениальный человек, не знакомый ни с метафизикой, ни с биологией, видит, подобно ребенку, личность в каждом странном и резко очерченном объекте. Облако, подобное ангелу, может быть ангелом; кусок кривого корня, подобный человеку, может быть человеком, превратившимся в дерево — возможно, для того, чтобы снова превратиться по своей собственной воле. Станным неизвестным образом беспорядочный блок прибыл туда, где он находится. Разве это не свидетельство его индивидуальности? Либо он прилетел сюда сам, либо кто-то его бросил. В первом случае у него есть жизнь, и он пропорционально грозен; во втором - грозен тот, кто его бросил.

Я знаю два беспорядочных куска порфира — по-моему, их три — в Корнуолле, лежащих один на серпентайне, другой, кажется, на сланце, которые — так мне всегда говорили в детстве — были камнями, которые Сент-Кеверн бросал вслед Сен-Жюсту, когда тот украл чашу и патен своего хозяина и убежал с ними на Край Земли. Почему бы и нет? До того, как мы узнали что-либо о действии айсбергов и ледников, то есть до последних восьмидесяти лет, эта история была ничуть не хуже любой другой; а насколько реалистичны эти валуны, пусть засвидетельствует великий поэт; ибо этот факт не ускользнул от чуткого взгляда Вордсворта:

“Как иногда видят огромный камень, лежащий
на голой вершине холма;
Удивляются все, кто делает то же самое,
каким образом он мог попасть сюда и откуда,
Так что это кажется вещью, наделенной смыслом;
Как выползло морское чудовище, которое покоится на выступе
скалы или песка, чтобы погреться на солнце”.

Для цивилизованного поэта эта фантазия становится прекрасным сравнением; для поэта-дикаря она стала бы материальным и очень грозным фактом. Он стоит в долине и смотрит на валун на дальних холмах. Он озадачен им. Он боится его. Наконец он принимает решение. Он живой. Когда тени скользят по нему, он видит, как оно движется. Разве оно не может спать там весь день и рыскать в поисках добычи всю ночь? Он всегда боялся подниматься на эти холмы; теперь он никогда туда не поднимется. Там живет чудовище.

Без сомнения, это довольно по-детски. Но помните, что дикарь всегда остается ребенком. Как и миллионы людей, которые так же хорошо одеты, обеспечены жильем и охраняются полицией, как и мы сами, — дети от колыбели до могилы. Но о них я не говорю; потому что, к счастью для мира, их ребячество настолько перекрыто результатом взросления других людей; атмосферой цивилизации и христианства, которые они приняли из вторых рук как выводы умов более мудрых, чем их собственные, что они совершают всевозможные разумные поступки по плохим причинам или вообще без причины, кроме страсти подражания. Не в них, а в дикарях мы можем увидеть человека таким, каков он есть по своей природе, марионеткой своих чувств и страстей, естественным рабом своих собственных страхов.

Но неужели у дикаря нет других способностей, кроме его пяти чувств и пяти страстей? Я этого не говорю. Я был бы крайне нефилософичен, если бы сказал это, ибо история человечества доказывает, что в нем есть бесконечно больше, чем это. Да, но в нем то бесконечно большее, что составляет не только благороднейшую часть человечества, но, может быть, и саму человечность, не следует считать одним из корней суеверия. Ибо в диком человеке, в котором, несомненно, зарождается суеверие, это бесконечно большее все еще находится просто в нем, внутри него, как способность, но еще не факт. Это не проявилось в его сознании, цели и действии; и должно рассматриваться как несуществующее; в то время как того, что проявилось, его страстей и чувств, достаточно, чтобы объяснить все причуды суеверия; истинная причина всех его явлений. И если нам кажется, что мы уже нашли достаточное объяснение, то нефилософски искать дальше, по крайней мере, до тех пор, пока мы не попробуем, соответствует ли наше объяснение фактам.

Тем не менее, у дикаря есть еще одна способность, на которую я уже ссылался, общая для него и, по крайней мере, для высших позвоночных, — фантазия; способность воспроизводить внутренние образы внешних объектов, будь то в бодрствующей форме физической памяти — если, конечно, всякая память не является физической — или в спящей форме сновидений. Над этим последним, которое играло столь важную роль в суевериях во все века, я прошу вас на минутку задуматься. Вспомните свои собственные детские сны; и вспомните еще раз, что дикарь - это всегда ребенок. Вспомните, как трудно было вам в детстве, как, должно быть, всегда трудно дикарю решать, являются ли сны фантазиями или реальностью. Я не сомневаюсь, что для дикаря пища, которую он ест, враги, с которыми он сражается во сне, так

же реальны, как и любые впечатления наяву. Но, более того, эти сны будут очень часто, как это обычно бывает с детскими снами, болезненными и ужасными. Возможно, они всегда будут болезненными; возможно, его тупому мозгу никогда не приснятся сны, разве что под влиянием несварения желудка, голода или неудобной позы. И таким образом, в дополнение к его переживанию ужасов природы наяву, у него будет целый опыт сновидения, еще более потрясающего рода. Днем он проходит мимо черного входа в пещеру и с содроганием думает — в этой уродливой дыре может жить что-то уродливое: что, если оно выпрыгнет на меня? Он размышляет над этой мыслью с напряженностью ограниченного и незанятого ума; и несколько ночей спустя, когда он поел - но давайте опустим завесу перед кладовой дикаря, — его подбородок прижат к груди, возникает легкое застойное состояние мозга; и вот, он снова оказывается у входа в ту пещеру, и что-то уродливое выпрыгивает на него; и отныне пещера является местом привидений для него и для всего его племени. Напрасно его семья говорит ему, что все это время он спал дома. У него есть свидетельства его чувств, подтверждающие обратное. Должно быть, он вышел из себя и ушел в лес. Когда мы вспоминаем, что некоторые мудрые греческие философы не могли найти лучшего объяснения сновидений, чем то, что душа покидала тело и странствовала на свободе, мы не можем осуждать дикаря за его теорию. Теперь я утверждаю, что в этих простых фактах мы имеем группу “истинных причин”, которые являются корнями всех суеверий мира.

И если кто-нибудь пожалуется, что я рассуждаю о материализме, я отвечу, что поступаю с точностью до наоборот. Я пытаюсь устранить и избавиться от всего материального, животного и низменного; для того, чтобы то, что по-настоящему духовно, могло выделяться, отчетливо и ясно, в своей божественной и вечной красоте.

Чтобы объяснить и в то же время, как я думаю, подтвердить мою гипотезу, позвольте мне привести вам пример — вымышленный, это правда, но тем не менее вероятный факт; потому что он составлен из множества фрагментов реальных фактов: и давайте посмотрим, как, следуя ему, мы пройдем через почти все возможные формы суеверия.

Предположим, что это огромное дуплистое дерево, в котором испокон веков гнездились грозные тропические осы. Обычный дикарь спешит пройти мимо этого места в простом физическом страхе; ибо, если они выйдут против него, они ужалят его до смерти; пока, наконец, не появится дикарь, более мудрый, чем остальные, с большей наблюдательностью, рефлексией, воображением, независимостью воли — гений своего племени.

Ужасная тень огромного дерева, добавленная к его ужасу перед осаами, давит на него и будоражит его мозг. Возможно также, что у него была жена или ребенок, которых до смерти ужалили те же самые осы. Эти осы, такие маленькие, но такие мудрые, гораздо мудрее его: они летают и жалят. Ах, если бы он мог летать и жалить; как бы он убивал, ел и жил беззаботно. Они строят большие города; они грабят повсюду; они никогда не ссорятся друг с другом: у них должен быть кто—то, кто учил бы их, вел за собой - у них должен быть король. И поэтому он воображает себя Королем Ос; как западные ирландцы все еще верят в Повелителя Выдр; как краснокожие верят в Царя буйволов и находят кости его предков в останках мамонта в Биг-бон-Ли́ке; как филистимляне Экрона — приведу печально известный пример — на самом деле поклонялись Баал-зебубу, повелителю мух.

Если у них есть король, он, конечно, должен быть внутри этого дерева. Если бы он, дикарь, был королем, он бы не зарабатывал себе на хлеб, а сидел дома и заставлял других кормить себя; и так, без сомнения, поступает король-оса.

И когда он вернется домой, то будет размышлять об этом чудесном открытии осинового короля до тех пор, пока, как ребенок, не сможет думать ни о чем другом. Он подойдет к дереву и будет ждать, когда тот выйдет. Осы привыкнут к его неподвижной фигуре и оставят его невредимым; пока в его уме не возникнет новая фантазия, что он любимец этого короля-ос; и, наконец, он обнаружит, что пресмыкается перед деревом, говоря: “О великий король—оса, пожалей меня и скажи своим детям, чтобы они не жалили меня, и я буду приносить тебе мед, и фрукты, и цветы, и я буду льстить тебе, и поклоняться тебе, и ты будешь моим королем”.

И тогда он постепенно стал бы хвастаться своим открытием; новой таинственной связью между ним и королем-осой; и его соплеменники поверили бы ему и боялись его; и боялись бы его еще больше, когда он начал бы говорить, как он, несомненно, сказал бы, не просто: “Я могу попросить короля—осу, и он скажет своим детям не жалить вас”, но: “Я могу попросить короля-осу, и он пошлет своих детей и ужалит вас всех до смерти”. Тщеславие и честолюбие побудили бы его к угрозе, но это не будет полной ложью. Этот человек более чем наполовину поверит своим собственным словам; он вполне поверит в них, когда повторит их дюжину раз.

И так он станет великим человеком и королем под защитой короля ос; и он станет, и, возможно, это будут его дети после него, священником короля-осы, который будет их фетишем и фетишем их племени.

И они будут процветать под защитой осинового короля. Оса станет их моральным идеалом, добродетели которого они должны копировать. Новый вождь будет проповедовать им дикие красноречивые слова. Они должны жалить, как осы, мстить, как осы, держать всех вместе, как осы, строить, как осы, усердно работать, как осы, грабить, как осы; тогда, подобно осам, они будут наводить ужас на всех вокруг, убивать и поедать всех своих врагов. Скоро они будут называть себя Осами. Они будут хвастаться, что отец или дед их короля, а вскоре и предок всего племени, был настоящей осой; и оса сразу станет их героем-эпонимом, их божеством, их идеалом, их цивилизатором, который научил их строить хижины-краали, как он учил своих детей строить улей.

Теперь, если какому-либо мыслящему человеку из этого племени, в эту эпоху, придет в голову новая мысль — Кто сотворил мир? он будет крайне озадачен. Концепция мира никогда раньше не приходила ему в голову. Он никогда не представлял себе ничего за ближайшим горным хребтом; а что касается Создателя, то это будет еще большей загадкой. Какие создатели хитрее тех ос, которыми забита его глупая голова? Конечно, теперь он это понимает. Оса создала мир; для него это совершенно новая догадка, которая могла бы стать неотъемлемой частью веры его племени. Это было бы их космогонией. И если бы поколение или два спустя другой дикий гений догадался, что мир - это земной шар, висящий в небесах, он бы, если бы у него хватило воображения вообще воспринять эту мысль, облек ее для себя в форму, соответствующую его предыдущим знаниям и представлениям. Ему казалось бы, что Оса летает по небу с целым миром во рту, как он несет муху-мухоножку; и отныне это будет астрономией его племени. Достаточно абсурдно; но — как должен знать каждый человек, знакомый со старыми мифическими космогониями, — не более абсурдно, чем зафиксированные двадцать подобных догадок. Попробуйте представить себе постепенное зарождение таких мифов, как египетский

скарабей и яйцо, или индийской теории о том, что мир стоял на слоне, слон на черепахе, черепаха на той бесконечной вопросительной ноте, которая, как кто-то выразился, лежит в основе всех физических спекуляций, и рассудите: не должны ли они были возникнуть каким-то подобным образом, на который я указал?

Это, говорю я, стало бы кульминационным моментом поклонения осам, возникшего из телесного страха быть ужаленным.

Но для него могут наступить времена, когда он претерпит различные изменения, через которые, я полагаю, прошли или обречены пройти все суеверия в мире.

Люди-осы могут быть побеждены и, возможно, съедены более сильным племенем, чем они сами. Каков будет результат? Поначалу они будут храбро сражаться, как осы. Но что, если они начнут терпеть неудачу? Разве король ос не разгневался на них? Разве он не бросил их? Его нужно успокоить; он должен отомстить. Они возьмут пленника и отдадут его осам. Так поступило одно североамериканское племя в нужде около сорока лет назад; когда из-за неурожая кукурузы они заживо зажарили плененную девушку, разрезали ее на куски и посеяли вместе со своей кукурузой. Я бы не стал рассказывать эту историю из-за ее ужаса, если бы она с такой устрашающей силой не подкрепляла мои аргументы. О чем думали эти краснокожие? Какая цепочка неправильного понимания была у них в головах, когда они додумались до этого как до устройства для увеличения урожая? Кто может сказать? Кто может выпрямить кривое или сосчитать то, чего не хватает? Как сказал в древности Соломон, так должны поступать и мы — “Глупость глупцов есть безумие”. Мы можем сказать о них только одно: они ужасно боялись голода и прибегли к этому средству, чтобы избавиться от своего страха.

Но что, если бы у осиногo племени не было пленников? Они предложили бы рабов. Что, если бы агония и смерть рабов не успокоили ос? Они приносили в жертву осам своих самых красивых, самых дорогих сыновей и дочерей; как карфагеняне в подобном положении за один день принесли в жертву 200 благородных юношей Молоху, богу-вулкану, поклонение которому они привезли из Сирии; чье первоначальное значение они, вероятно, забыли; о котором они знали только, что он был темным и всепожирающим существом, которое должно быть умиротворено горящими телами их сыновей и дочерей. И таким образом, завеса фантазии снова была бы приподнята, и все суеверия предстали бы перед нами как простое порождение телесного страха.

Но более того: выжившие после завоевания, возможно, смогли бы сбежать и унести свой фетиш-осу в новую страну. Но если бы они стали бедными и слабыми, их мозг и воображение, деградируя вместе с их телами, деградировали бы до такой степени, что они перестали бы понимать, что это значит. Вдали от священного дерева, в стране, где осы не были такими большими или грозными, им потребовался бы хранитель памяти о короле-осе; и они сделали бы его — деревянную осу или что-то еще. Через некоторое время, согласно этому странному закону воображения, корню всякого идолопоклонства, действие которого вы можете наблюдать у каждого ребенка, играющего с куклой, символ стал бы отождествляться с предметом, который символизируется; они наделили бы деревянную осу всеми ужасными атрибутами, которые принадлежали живым осам дерева; и через несколько столетий, когда все воспоминания о дереве, осе-пророке и вожде и его происхождении от божественной осы — да, даже об их поражении и бегстве — исчезли из их песен и легенд, они были бы найдены на дереве. склонившись в страхе и дрожа перед маленькой древней деревянной осой, которая взялась

неизвестно откуда и означала неизвестно что, за исключением того, что это был очень “древний фетиш”, “великое лекарство” или какая-то подобная другая формула для выражения их собственного невежества и страха. Точно так же полудикие уроженки Тибета и ирландки из Керри, по странному совпадению - если только древние ирландцы не были буддистками, как жители Гималаев, — повязывают на голову точно такие же лоскутки тряпья и показывают мужчинам, что они не марионетки Природы, а ее повелители; и что они должны бояться Бога и ничего другого.

Так заканчивается мой истинный миф об осином дереве. Нет, на этом не должно заканчиваться; это может развиваться в еще более темную и отвратительную форму суеверия, с которой Европа часто сталкивалась; которая распространена сейчас среди негров;^{256} которые, мы можем надеяться, скоро будут истреблены.

Это может случиться. Ибо это или что-то подобное случалось уже слишком много раз.

Что к древним женщинам, которые все еще поддерживали иррациональные пережитки культа ос под священным деревом, могли прибегать другие женщины; не просто из любопытства или возбужденного воображения, но из ревности и мести. Угнетенная, какой всегда была женщина под властью грубой силы; избитая, оскорбленная, покинутая, в лучшем случае вышедшая замуж против своей воли, она слишком часто обращалась за утешением и помощью — и самой мрачной — к творениям тьмы; и никогда не было недостатка — даже сейчас в отдаленных частях этих островов нет недостатка — в злобных старухах, которые с помощью старых суеверий сделали бы для нее все, что она пожелает. Вскоре последовали бы таинственные смерти соперниц, мужей, младенцев; затем пошли бы слухи о темных обрядах, связанных со священным деревом, с ядом, с осой и ее жалом, с человеческими жертвоприношениями; ложь, смешанная с правдой, становилась все более запутанной и безумной, чем больше их неверно расследовали обезумевшие от страха люди: пока не возникла бы одна из тех ведьмовских маний, которые все еще слишком распространены среди африканских негров, которые в древности были слишком распространены среди мужчин нашей расы.

Я говорю, среди мужчин. Чтобы понять ведьмomanию, вы должны смотреть на нее как на то, в чем беззастенчиво признается литература о ведьмах, - как на страх мужчины перед Природой, доведенный до высшей формы, как на страх перед женщиной.

Она является для варварского человека — и должна становиться все больше и больше для цивилизованного человека — не только самым красивым и драгоценным, но и самым удивительным и таинственным из всех природных объектов, хотя бы как источник его физического существования. Для дикаря она - чудо, которому попеременно поклоняются и которого боятся. Он боится ее более тонкой нервной организации, которая часто принимает для него демонические и чудесные формы; ее более быстрых инстинктов, ее более живого ума, в которых, как ему кажется, есть что-то пророческое и сверхчеловеческое, которые опутывают его, как в невидимой сети, и управляют им против его воли. Он боится самого ее языка, более сокрушительного, чем его самая тяжелая дубинка, более острого, чем его отравленные стрелы. Он боится тех привычек скрытности и лжи, оружия слабых, к которому всегда прибегает дикая и деградировавшая женщина. Он боится того самого врачебного мастерства, которому она научилась пользоваться как сиделка, утешительница и рабыня. Он боится тех тайных церемоний, тех таинственных посвящений, свидетелем которых не может быть ни один мужчина, которые он разрешал ей во все века, у стольких — если не у всех — варварских и

полуварварских рас, будь то негры, американцы, сирийцы, греки или римляне, как дань уважения таинственной значимости той, кто привела его в этот мир. Если она обратится против него — она, со всеми ее неведомыми способностями, она, которая является хранительницей его глубочайших секретов, которая день за днем готовит ему пищу, — какой вред она не сможет причинить, разве не может она причинить? И он слишком хорошо знает, что у нее есть веские причины отвернуться от него. Какое спасение есть от этого таинственного домашнего дьявола, кроме грубой силы? Террор, пытки, убийства должны быть в порядке вещей. Женщина должна быть раздавлена любой ценой слепым страхом перед мужчиной.

Я больше ничего не скажу. Из глубочайшей жалости и стыда я приоткрою завесу над самыми важными и наиболее значимыми фактами этого, самого отвратительного из всех человеческих безумств. Я, я думаю, дал вам достаточно намеков, чтобы показать, что это, как и все другие суеверия, порождение — последнее рожденное и самое уродливое дитя — слепого страха перед неизвестным.

НАУКА: Лекция, прочитанная в Королевском институте.

Я сказал, что суеверие - порождение Страх, а Страх - порождение Невежества; и вы могли бы ожидать, что я скажу противоположное: Наука - порождение Мужества, а Мужество - порождение Знания.

Но эти генеалогии — как и большинство метафор — не совсем подходят, как вы можете сами убедиться.

Если страх - порождение невежества, то невежество также является порождением страха; эти два фактора реагируют друг на друга и порождают друг друга. Чем больше люди боятся Природы, тем меньше они хотят знать о ней. Зачем совать нос в ее ужасные секреты? Это опасно; возможно, нечестиво. Она говорит им, как в древнем египетском храме— “Я Исида, и мое покрывало еще ни один смертный не поднимал”. И почему они должны пытаться или хотеть поднять его? Если она оставит их в покое, они оставят в покое ее. Достаточно того, что она не уничтожает их. Итак, как невежество породило страх, так и страх порождает свежее и добровольное невежество.

А мужество? Мы можем сказать, и это правда, что мужество - порождение знания. Но мы можем сказать так же верно, что знание - порождение мужества. Те египетские жрецы в храме Исиды сказали бы вам, что знание - порождение тайны, особого озарения, благоговения и всего остального; скрывая под высокопарными словами свою цель держать массы в невежестве, чтобы они могли быть их рабами. Благоговение? Я никому не уступлю в ответ на благоговение. Я почти согласен с мудрецом, который сказал, что благоговение - корень всех добродетелей. Но какой ребенок больше всего почитает своего отца? Тот, кто радостно и доверчиво идет навстречу ему, чтобы узнать, что на уме у его отца, и исполнить его волю; или тот, кто при появлении своего отца убегает и прячется, чтобы его не побили за то, что он не знает за что? Существует научное благоговение, благоговение перед мужеством, которое, несомненно, является одной из высших форм благоговения. Именно та, которая так почитает каждый факт, что не смеет упускать его из виду или фальсифицировать, никогда не кажется ему настолько незначительной; которая чувствует, что, поскольку это факт, он не может быть незначительным, не может быть неважным; что это должен быть факт Божий; послание от Бога; голос Бога, как выразился Бэкон, проявляющийся в вещах; и которая поэтому, только потому, что она

испытывает торжественный трепет перед такими ничтожными фактами, как перо сколопакса в шестерне бекаса или зазубренные листья, которые капризно появляются у некоторых видов жимолости, верит, что есть нечто большее. вероятно, в их основе лежит какой-то глубокий и масштабный секрет, разгадка которого стоит многих лет размышлений. Это и есть благоговение; благоговение, которое, слава Богу, становится все более и более распространенным; которое по мере того, как оно становится все более распространенным, принесет плоды, которые благословят еще не родившиеся поколения.

Но что касается этого другого благоговения, которое закрывает глаза и уши в благоговейном трепете, — что это, как не трусость, облаченная в государственные одежды, облачающаяся в священные урим и Туммим не для того, чтобы люди могли спросить совета у Божества, а чтобы они этого не могли? Что это, как не трусость, весьма жалкая, когда ее разоблачают; и что это за порождение, как не столь жалкое невежество, которое было бы смехотворным, не будь оно столь пагубным? Если человек подходит к Природе, как к попугаю или обезьяне, с преобладающей мыслью в голове — не укусит ли она меня? — разве он не будет совершенно уверен, что она может укусить его, и поэтому его лучше оставить в покое? Только смелый человек — а таких очень мало, — рискнет откусить кусочек первым в надежде научить попугая говорить или обезьяну стрелять из ружья. И только смелый человек — а таких очень мало, — устоит перед шансом первым укусить Природу, которая может убить его, насколько известно, — ибо зубы у нее, хотя и неуклюжие, но очень крепкие, — чтобы он мог приручить ее и приучить к себе тем же методом, которым этот замечательный философ-индуктивист мистер Рэри приучал своих лошадей; во-первых, не боясь их; а во-вторых, пытаясь выяснить, о чем они думают. Но, в конце концов, как с животными, так и с Природой; трусость опасна. Самый верный способ быть укушенным животным - это бояться его; а самый верный способ получить травму от Природы - это бояться ее. Только в той мере, в какой мы понимаем Природу, мы в безопасности от этого; и те, кто в любую эпоху советует человечеству не совать нос в тайны Вселенной, советуют им не обеспечивать свою собственную жизнь и благополучие или своих детей после них. Но как мало было в любую эпоху людей, которые не боялись Природы. Как мало людей поставили перед собой цель, подобно Рэри, приручить ее, выяснив, о чем она думает. Люди рады обладать результатами науки, как рады покупать лошадей мистера Рэри после того, как они будут приручены; но из-за недостатка смелости или остроумия они предпочли бы доверить процесс приручения кому-нибудь другому. И поэтому мы можем сказать, что тем знанием Природы, которое у нас есть — а у нас его очень мало, — мы обязаны мужеству тех людей — а их было очень мало, — которые были вдохновлены смело смотреть Природе в лицо; и говорить — или, что лучше, действовать так, как если бы они говорили— “Я нахожу в себе нечто такое, чего я не нахожу в вас; это дает мне надежду, что я смогу вырасти и понять вас, хотя вы, возможно, и не понимаете меня; что я могу стать вашим хозяином, а не как сейчас, вы - моим. А если нет, я узнаю: или умру в поисках”.

Именно тем немногочисленным людям, жившим далеко друг от друга в очень немногие эпохи и в очень немногих странах, которые таким образом восстали против Природы и непреклонно посмотрели ей в лицо, мы обязаны тем, что мы называем физической наукой.

Существовало четыре расы — или, скорее, очень мало людей из каждой из четырех рас, — которые сталкивались с Природой после этого доблестного поступка.

Во-первых, древние евреи. Я говорю о них, не забывая, исключительно с исторической, а не религиозной точки зрения.

Эти люди в очень отдаленную эпоху вышли из страны, высоко цивилизованной, но погрязшей в суевериях поклонения природе. Они вторглись и смешались с племенами, чьи суеверия были еще более принижены, глупыми и отвратительными, чем у египтян, от которых они бежали. Их собственные массы веками были преданы поклонению природе. И вот, среди этих евреев появились люди — очень немногие — мудрецы-пророки — называйте их как хотите, эти люди были вдохновенными героями и философами, — которые относились к природе совершенно иначе, чем остальные их соотечественники и остальной тогдашний мир; которые осуждали суеверия и страх перед природой как родоначальницей всякого рода пороков и несчастий; которые сами смело заявляли, что они видят во вселенной порядок, единство, незыблемость закона, что дает им мужество, а не страх. Они находили радость, а не ужас, в мысли о том, что вселенная подчиняется закону, который нельзя нарушить; что все продолжается по сей день в соответствии с определенным порядком. Они восприняли Природу совершенно по-новому для того времени; здоровую, человеческую, жизнерадостную, любящую, доверчивую и в то же время благоговейную — идентичную той, которая, к счастью, начинает преобладать в наши дни. Они бросали вызов тем самым вулканическим и метеоритным явлениям на своей земле, из-за которых их соотечественники убивали собственных детей в расщелинах скал, и, подобно суеверному человеку Теофрасту, выливали свои возлияния на гладкие камни долины; и заявляли, что, со своей стороны, они не испугаются, даже если землясдвинется с места, и хотя холмы окажутся посреди моря; хотя воды бушуют и вздуваются, а горы сотрясаются от бури.

Этот факт неоспорим. И вы должны извинить меня, если я выражу свое убеждение, что эти люди, если бы они сочли своим долгом основать школу индуктивной физической науки, достигли бы, благодаря такому складу ума, весьма значительного успеха. Я основываю это мнение на замечательном, но столь же неоспоримом факте, что ни одной нации никогда не удавалось увековечить школу индуктивной физической науки, за исключением тех, чьи умы были пропитаны тем же взглядом на Природу, который они — как исторический факт — медленно, но основательно усвоили из трудов этих еврейских мудрецов.

Таков факт. Основателями индуктивной физической науки были не евреи: сначала халдеи, затем греки, затем их ученики римляне - или, скорее, по несколько мудрецов от каждой расы. Но какого успеха они достигли? Халдейские астрономы сделали несколько открытий, касающихся движения небесных тел, которые, какими бы рудиментарными они ни были, все же доказывают, что они были людьми редкого интеллекта. Великим и терпеливым гением, должно быть, был тот, кто первым отличил планеты от неподвижных звезд или разработал самые ранние астрономические расчеты. Но они, похоже, были как бы раздавлены своими собственными открытиями. Они резко остановились. Они снова поддались первобытному страху перед природой. Они погрузились в поклонение планете. Казалось бы, они изобрели ту фантастическую псевдонауку астрологию, которая веками лежала инкубом на человеческом интеллекте и совести. Они стали волшебниками и шарлатанами старого света, и отныне человечество не было им обязано ничем, кроме зла. У греков и римлян, опять же, те мудрецы, которые осмеливались смотреть Природе в Лицо как разумные люди, были обвинены суеверной толпой как непочтительные, нечестивые, атеисты. Мудрейший из них всех, Сократ, действительно был приговорен к смерти по этому обвинению; и в конце концов они потерпели неудачу. Школа за школой в Греции и Риме изо всех сил старались открыть для себя какую-

нибудь теорию мироздания, основанную на чем-то вроде опыта, разума, здравого смысла, и добиться того, чтобы ее услышали. Им не разрешили преследовать свою попытку в судебном порядке. Грязевой океан невежества и страха, в котором они так мужественно боролись, был слишком силен для них; грязевые волны в конце концов сомкнулись над их головами, когда эпоха Антонинов истекла; и последней попыткой греко-римской мысли объяснить вселенную был неоплатонизм — грязнейший из грязнейших — попытка извинить и организовать в систему все боящиеся природы суеверия римского мира. Порфирий, Плотин, Прокл, сама бедная Ипатия и вся ее школа — возможно, они сами не испытывали физического страха перед Природой, ибо были благородными душами. И все же они тратили свое время на оправдание тех, кто это сделал; на извинения за суеверия той самой толпы, которую они презирали: точно так же, как — иногда мне кажется — некоторые люди в наши дни в конце концов делают; умоляя, чтобы массам было позволено верить во что угодно, даже в ложь, чтобы они вообще ни во что не верили: как будто вера во ложь может принести что угодно, кроме вреда любому человеческому существу. Так умерла наука старого света, во время поистине второго детства, как раз там, где все началось.

Я полагаю, еврейские мудрецы учили, что наука вероятна; греки и римляне доказали, что это возможно. Нашей расе, согласно учению обоих, оставалось воплотить науку в действии и факте.

Многие причины придали им эту силу. Они были лично отважной расой. Эта земля еще не видела более храбрых людей, чем праотцы христианской Европы, будь тоскандинавы или тевтоны, англй или франки. Это была практичная, трезвомыслящая раса, с высокой оценкой фактов и твердой решимостью действовать в соответствии с ними. Их законы, их общество, их торговля, их колонизация, их миграции по суше и морю доказали, что они были таковыми. Более того, им благоприятствовали обстоятельства, или, как я бы скорее выразился, то божественное Провидение, которое определило их время и границы их обитания. Они пришли как наследники приходящей в упадок цивилизации Греции и Рима; они колонизировали территории, которые давали человеку особую честную игру, но не более, в борьбе за существование, в битве с силами природы; достаточно плодородные, с умеренным климатом; с безграничными водными коммуникациями; более свободные, чем большинство частей света, от таких ужасных природных явлений, как землетрясение и ураган, перед которыми человек лежит беспомощный и изумленный, ребенок под ногами гиганта. Природа была к ним не настолько негостеприимна, чтобы морить голодом их мозг и конечности, как это случилось с эскимосами или огнеземельцами; и не настолько щедра, чтобы сокрушать их самой своей роскошью, как она сокрушила дикарей тропиков. Они увидели достаточно его силы, чтобы уважать его; не настолько, чтобы съежиться перед ним; и они вместе с ним боролись с этим; и мне кажется, стоя либо на Лондонском мосту, либо на голландской болотистой дамбе, что они наконец побеждают. Но им предстояла тяжелая битва: битва против их собственного страха перед невидимым. Они принесли с собой из сердца Азии темные и печальные предрассудки о природе, некоторые из которых сохранились среди наших крестьян по сей день, об эльфах, троллях, ниссах и тому подобном. Их Тор и Один были сначала, вероятно, только громом и ветром: но их пришлось умиротворять в темных лесных переходах, где на священных дубах, среди козых и лошадиных туш, висели гниющие останки человеческих жертв. Никто, знакомый с древними легендами и балладами нашей расы, не может не заметить преобладающий в них тон страха и печали. И к своим собственным суевериям они добавили суеверия Рима, который они завоевали. Они боялись римских отравительниц и ведьм, которые,

подобно Канидии Горация, все еще совершали ужасные обряды на могильных дворах и в темных местах земли. Они боялись как волшебства изящных изображений, выгравированных на древнегреческих драгоценных камнях. Они боялись тех самых римских городов, которые они разрушили. Они были работой чародеев. Как и руины Св. Альбанцы здесь, в Англии, все были полны дьяволов, охранявших сокровища, спрятанные римлянами. Цезари стали для них волшебными богами-людьми. Поэт Вергилий стал принцем некромантов. Если тайны Природы и должны были быть известны, то они должны были быть известны незаконными средствами, путем проникновения в тайны древних языческих магов или мусульманских врачей Кордовы и Севи́льи; и тех, кто осмеливался это делать, уважали и боялись, и они часто заканчивались плохо. Следовательно, требовалось моральное мужество, чтобы взглянуть фактам в лицо и интерпретировать их. Такие храбрые люди, как папа Герберт, Роджер Бэкон, Галилей, даже Кеплер, не вели счастливой жизни; некоторые из них оказались в тюрьме. Все средневековые мудрецы — даже Альбертус Великий — были заклеены как маги. Удивительно, что многие из них не подражали бедному Парацельсу, который, будучи не в состоянии добиться признания своего грубого здравого смысла, стал — тщеславный и чувственный — пить настойку опия, которую он сам открыл и превозносил как бесценное благо для людей; и умер, как умирает глупец, несмотря на всю свою мудрость. Ибо *"Romani nominis umbra"*, тень могущественной расы, которую они покорили, тяжким грузом лежала на наших предках на протяжении веков. И их страх перед великими язычниками на самом деле был страхом перед Природой и ее силами. Ибо, когда авторитет великих имен неоспорим на протяжении многих веков, эти имена становятся для человеческого разума неотъемлемыми и необходимыми частями самой Природы. Они как бы поглощаются им; они становятся его законами, его канонами, его демиургами и духами-хранителями; их слова начинают восприниматься как действительные факты; одним словом, они становятся суеверием, и их боятся как частей огромного неизвестного; и отрицать то, что они сказали, в умах многих означает не просто бросать вызов благоговейной мудрости, но бросать вызов фактам. Например, на протяжении большей части средневековья образованный человек не мог думать о самой Природе, не подумав сначала о том, что сказал о ней Аристотель. Изречения Аристотеля касались Природы; и когда Бенедетти в Венеции выступил в 1585 году против мнений Аристотеля о насильственном и естественном движении, в университетах Европы, возможно, нашлись сотни людей — как, несомненно, были и во времена бессмертной *"Epistolæ Obscurorum Virorum"* — которые были готовы, несмотря на все декларируемое Бенедетти почтение к Аристотелю, обвинить его в оскорблении не только отца философии, но и самой природы и ее осязаемых и печально известных фактов. Восстановление письменности в пятнадцатом веке поначалу не улучшило ситуацию, настолько силен был страх перед Природой в умах масс. Умы людей устремились вперед, но не к какому-либо здоровому исследованию фактов, а к эклектическому возрождению неоплатонизма; который просуществовал не без определенной красоты и пользы — о чем свидетельствует *"Королева фей"* Спенсера — до второй половины семнадцатого века.

После этого начались быстрые перемены. Они отмечены — и им в значительной степени способствовало — основание нашего собственного Королевского общества. Я не буду вдаваться в его причины; я считаю, что они настолько неразрывно связаны с богословскими вопросами, что их нельзя обсуждать здесь. Я только укажу вам на эти факты: что со второй половины семнадцатого века самые благородные головы и самые благородные сердца Европы все больше и больше сосредоточивались на смелом и терпеливом исследовании физических фактов как источника бесценных будущих благ для человечества; что восемнадцатый век,

который в последнее время стало модным принижать, сделал больше для благополучия человечества во всех мыслимых направлениях, чем все пятнадцать столетий до него; что он проделал эту добрую работу, смело наблюдая и анализируя факты; что эта смелость по отношению к фактам возрастала по мере того, как Европа становилась все более развитой. ознакомлен с еврейской литературой; и что, в частности, такие люди, как Кеплер, Ньютон, Беркли, Спиноза, Лейбниц, Декарт, во всем остальном, чем бы они ни отличались, соглашались в том, что их отношение к Природе вытекало из учения еврейских мудрецов. Я полагаю, что мы еще не до конца осознаем, сколь многим мы обязаны еврейскому разуму в постепенном освобождении человеческого интеллекта. Связь, конечно, может быть не причинно-следственной; это может быть простым совпадением. Я верю, что это причина; одна из очень многих причин, но все же неотъемлемая причина. По крайней мере, это совпадение - слишком примечательный факт, чтобы не заслуживать расследования.

Я только что сказал — Освобождение человеческого интеллекта. Я не сказал — науки или научного интеллекта; и по этой причине:

Что освобождение науки - это освобождение общего разума всех людей. Все люди могут воспользоваться достижениями свободной научной мысли, не просто наслаждаясь ее физическими результатами, но и сами становясь более научными людьми.

Поэтому, хотя я начал свою первую лекцию с определения суеверия, я не начал свою вторую лекцию с определения его антагониста, науки. Ибо слово "наука" определяет само себя. Это означает просто знание; то есть, конечно, правильное знание или такое приближение, какое может быть получено; знание любого природного объекта, его классификации, его причин, его следствий; или, говоря простым английским языком, что это такое, как оно попало туда, где находится, и что с ним можно сделать.

И научный метод точно так же не нуждается в определении, ибо это просто проявление здравого смысла. Это не особый, неповторимый, профессиональный или таинственный процесс понимания: но тот же самый, которым пользуются все люди от колыбели до могилы для формирования правильных выводов.

Каждый, кто знаком с философскими трудами мистера Джона Стюарта Милля, будет знаком с этим мнением. Но тем, у кого нет времени изучать его, я бы порекомендовал прочитать третью лекцию профессора Хаксли о происхождении видов.

В этом он показывает, с большим логическим мастерством, а также с долей юмора, как человек, который, проснувшись утром, обнаруживает открытое окно гостиной, пропавшие ложки и чайник, след грязной руки на подоконнике и ботинок с подкованными гвоздями снаружи, и приходит к выводу, что кто-то взломал окно и украл тарелку, приходит к этой гипотезе - ибо это не более того — путем длинной и сложной цепочки индукций и умозаключений, точно таких же, какие, согласно философии бэконизма, могут быть получены в результате, должны использоваться для исследования глубочайших тайн Природы.

Это верно даже для тех наук, которые предполагают длительные математические вычисления. Фактически, постановка задачи, которую необходимо решить, является наиболее важным элементом в вычислениях; и это настолько тщательный труд здравого смысла, что совершенно необразованный человек может ясно и правильно сформулировать сложную проблему, и часто

так и делает, видя, что должно быть доказано и, возможно, как это доказать, хотя он может быть не в состоянии решить проблему из-за отсутствия математических знаний.

Но эти математические знания не являются — как, несомненно, известно всем преподавателям Кембриджа — результатом какого-либо особого дара. Это всего лишь развитие тех представлений о форме и числе, которыми обладает каждый человек; и любой человек со средним интеллектом может стать хорошим математиком, если только будет уделять этому постоянное внимание; проще говоря, достаточно думать об этом предмете.

Опять же, есть науки, которые не связаны с математическими расчетами; например, ботаника, зоология, геология, которые только сейчас переходят со своей старой стадии классификационных наук в ранг органических. Все это, без сомнения, полностью укладывается в рамки самого простого здравого смысла. Любой мужчина или женщина среднего интеллекта, если они только захотят наблюдать и думать самостоятельно, свободно, смело, терпеливо, точно, могут сами судить о выводах этих наук, могут добавить к этим выводам свежие и важные открытия; и если меня попросят доказать то, что я утверждаю, я укажу на "Дождь и реки", написанный не человеком, считающим себя ученым, а гвардейским полковником, известным не иначе как один из самых совершенных наездников в мире.

Позвольте мне проиллюстрировать свою мысль на примере. Человек — я не говорю геолог, а просто мужчина, сквайр или пахарь — видит небольшую долину, скажем, одну из боковых долин, которые открываются в более крупные долины в округе Виндзор форест. Он желает установить его возраст.

У него есть, на первый взгляд, очень простая мера — мера денудации. Он видит, что долина теперь выедается небольшим ручейком, вытекающим из бесчисленных источников, которые берут начало по ее берегам и которые полностью питаются дождем, идущим с вересковых пустошей вверх. При наблюдении он обнаруживает, что этот поток приносит в среднем около десяти кубических ярдов песка и гравия в год. Фактическое количество земли, которое было удалено для создания долины, может составлять несколько миллионов кубических ярдов. Вот простая арифметическая сумма. При расходе десяти кубических ярдов в год ручью потребовалось несколько сотен тысяч лет, чтобы образовать долину.

Вы заметите, что этот результат получен с помощью простого здравого смысла. Он имеет право предположить, что ручей изначально положил начало долине, потому что он находит ее в процессе расширения; точно такое же право он имеет предположить, если он обнаруживает дыру в своем кармане и свою последнюю монету в процессе падения через нее, что остальные его деньги упали в ту же дыру. Это достаточная причина, и самая простая. Ряд наблюдений относительно нынешних темпов денудации и сумма, которую любой железнодорожный подрядчик может произвести в уме, чтобы определить твердое содержимое долины, — это все, что необходимо. Это метод науки, но это также метод простого здравого смысла. Следовательно, вы помните, что это не просто теория или гипотеза, а довольно справедливый и простой вывод из очевидных фактов; что вероятность заключается в предположении, что долине несколько сотен тысяч лет; что дело не наблюдателя доказывать это дальше, а других людей опровергать это, если они могут.

Но заканчивается ли на этом дело? Нет. И, по определенным причинам, хорошо, что это не должно заканчиваться на этом.

Наблюдатель, если он осторожный человек, начинает прикидывать, сможет ли он опровергнуть свой собственный вывод; более того, будучи человеком, он, вероятно, испытывает некоторый благоговейный трепет, если не шокирован, своим собственным выводом. Сотни тысяч лет были потрачены на создание этой маленькой долины! Здравый смысл подсказал бы, что чем больше времени потребовалось на создание, тем меньше чуда было в том, что она наконец была создана: но инстинктивное человеческое чувство противоположно. В людях есть и остается в них даже после того, как они стали цивилизованными и все другие формы страха перед Природой исчезли в них, страх перед размером, огромным пространством, огромным временем; это последнее, разум, всегда воображается как пространство, в чем мы признаемся, когда инстинктивно говорим о пространстве времени. Они не поймут, что размер - это всего лишь относительный, а не абсолютный термин; что если бы мы были в тысячу раз больше, чем мы есть, Вселенная была бы в тысячу раз меньше, чем она есть; что если бы мы могли думать в тысячу раз быстрее, чем мы это делаем, время было бы в тысячу раз длиннее, чем оно есть; что есть Тот, в ком мы живем, и движемся, и существуем, для кого один день равен тысяче лет, а тысяча лет - одному дню. Я полагаю, что этот страх перед размером - просто, как и все другие суеверия, результат телесного страха; развитие инстинкта, который заставляет маленькую собачку убегать от большой собаки. Как бы то ни было, это есть у каждого наблюдателя; и поэтому вывод человека кажется ему странным, сомнительным: он пересмотрит его.

Более того, если он опытный человек, он хорошо знает, что первые догадки, первые гипотезы не всегда верны; и если он скромный человек, он учтет тот факт, что многие тысячи вдумчивых людей во все века и многие тысячи до сих пор сказали бы, что долине может быть всего несколько тысяч или, возможно, несколько сотен лет. И он будет чувствовать себя обязанным учитывать их мнение; насколько оно похоже на его собственное, основанное на фактах, но не более того.

Поэтому он перебирает все другие методы, с помощью которых могла быть добыта долина, чтобы посмотреть, сможет ли какой-нибудь из них объяснить это за более короткое время.

1. Это произошло в результате землетрясения? Нет, ибо слои с обеих сторон идентичны, находятся на одном уровне и в одной плоскости.
2. Или мощным течением? Если так, то наводнение, должно быть, началось в верхнем конце, прежде чем закончилось в нижнем. Но в верхнем конце ничего не просачивалось. По всему периметру - нетронутые гравийные слои горизонтального торфяника без каналов или впадин.
3. Или из-за того, что вода стекала с обширной равнины, когда она поднималась из моря? Это вероятное предположение. Долина на его верхнем конце простирается, как пальцы одной руки, как овраги в илистых водах.

Но эта гипотеза несостоятельна. За долиной нет обширной непрерывной равнины. Справа и слева от него находятся другие подобные долины, отделенные от него длинными узкими хребтами: их также следует объяснить на основе той же гипотезы, но это невозможно. Ибо не могло быть поверхностного дренажа, чтобы произвести их все или хотя бы десятую часть. Других возможных гипотез нет; и поэтому он должен вернуться к первоначальной теории — дождь, источники, ручей; они сделали все это так же, как делают это сегодня.

Но не является ли это все еще поспешным предположением? Не могла ли их обнажающая сила быть намного большей в старые времена, чем сейчас?

Почему это должно быть? Потому что тогда было больше дождя, чем сейчас? Это он должен оспорить в суде; нет никаких доказательств этого вообще.

Потому что изначально земля была более рыхлой? Что ж, в пользу этого можно многое сказать. Опыт каждого соотечественника подсказывает ему, что голая или залежная земля легче размывается, чем земля, покрытая растительностью. И, без сомнения, когда эти отложения гравия и песка поднимались из моря, они были бесплодны в течение сотен лет. У него есть некоторое представление о необходимом времени, потому что он может примерно сказать, сколько времени требуется для того, чтобы песок и галька, оставленные морем, покрылись растительностью. Но он должен признать, что рыхлость почвы изначально должна была быть намного большей, чем сейчас, на протяжении сотен лет.

Но опять же, действительно ли этот факт отсекает какой-то большой промежуток времени от его сотен тысяч лет? Ибо, когда земля впервые поднялась из моря, этой долины еще не было. Небольшая бухта или изгиб берега определяли его местоположение. Этого ручья там не было. Она разделялась на миллион маленьких ручейков, вытекавших бок о бок из берега, и каждый из них обладал очень малой обнажающей способностью, которая постоянно увеличивалась по мере того, как долина прогрызала себе путь внутрь, и дождевые воды, стекающие всеми этими маленькими ручейками, собирались в один центральный поток. Таким образом, когда обнаженная земля была наиболее подвержена обнажению, вода была менее всего способна сделать это; и по мере того, как обнажающая сила воды возрастала, земля, будучи покрытой растительностью, становилась все более и более способной противостоять этому. Все это он видел, происходящее и по сей день, в похожих оврагах, прорытых в мягких слоях побережья Южного Гэмпшира, особенно вокруг Борнмута.

Таким образом, два вызывающих беспокойство элемента в расчетах могут быть справедливо противопоставлены друг другу, поскольку разница составляет всего несколько тысяч или десятков тысяч лет в ту или иную сторону; и возраст долины вполне может составлять, если не миллион лет, то все же такой отрезок времени, о котором человечество до сих пор говорит, затаив дыхание, как будто, несомненно, это принесет им какой-то вред.

Я надеюсь, что каждый ученый в этом зале согласится со мной, что воображаемый сквайр или пахарь проводил бы свое исследование строго в соответствии с законами философии бэконизма. Вы заметите, между тем, что он не использовал ни одного научного термина или сослался на ни одно научное исследование; и ничего не заметил и не подумал ничего такого, чего не заметил бы и не подумал любой человек, решивший использовать свой здравый смысл и не бояться.

Но из-за того, что после всего этого дальнейшего расследования он пришел к чему-то, очень похожему на его первый вывод, было ли все это дальнейшее расследование бесполезным? Нет — тысячу раз, нет. Именно эта проверка гипотез делает обоснованные безопасными и уничтожает необоснованные. Именно эта борьба со всевозможными суевериями делает науку сильной и уверенной, а ее продвижение неуклонным, она медленно завоевывает позиции, но никогда не отступает от них. Именно это столкновение с невзгодами заставляет ее не опускаться опасно на мелкий песок первых догадок и единичных наблюдений, а пускать свои корни глубоко, широко и вплетаться в твердую почву реальных фактов.

Настаивать на этом пункте крайне необходимо. Ибо во все прошлые века были люди — я не говорю, есть ли такие сейчас, но я склонен думать, что будут и в будущем, — люди, которые пытались представить научный метод как нечто трудное, таинственное, своеобразное, уникальное, недоступное ненаучной массе; и это не с целью возвеличивания науки, а скорее с целью ее дискредитации. До тех пор, пока массы, образованные или необразованные, не знают, что такое научный метод, они будут смотреть на людей науки, как в средние века смотрели на некромантов, как на привилегированную, но ужасную и сверхъестественную касту, владеющую могущественными секретами; которые могут принести им большую пользу, но могут и причинить им большой вред.

Эта вера со стороны масс позволит этим людям позиционировать себя как критиков науки, хотя сами они и не люди науки: и — как выразился Шекспир — говорить о Робин Гуде, хотя они никогда не стреляли из его лука. Таким образом, они становятся посредниками в массах между научным и ненаучным мирами. Они говорят им — Вы не должны доверять выводам людей науки, полученным из первых рук. Вы не подходите ни для того, чтобы судить об их фактах, ни об их методах. Это мы с осторожным эклектизмом выберем для вас такие из их выводов, которые безопасны для вас; и им мы посоветуем вам верить. С другой стороны, людям науки, как только обнаруживается что-либо неприятное для них, они говорят властно и категорично — "Ваша новая теория противоречит установленным фактам науки". Ибо они будут хорошо знать, что, что бы ни думали люди науки об их утверждении, массы поверят в это, совершенно не подозревая, что выступающие самими своими терминами демонстрируют свое незнание науки; и что то, что они называют установленными фактами, ученые люди называют просто предварительными выводами, которые они отбросили бы завтра без всяких угрызений совести, если бы известные факты лучше объяснялись новой теорией или если бы новые факты требовали таковой.

Это случалось слишком часто. В интересах суеверия, чтобы это повторилось; и лучший способ предотвратить это — рассказать массам: научный метод - это не особая тайна, требующая особого посвящения. Это просто здравый смысл в сочетании с незаурядным мужеством, которое включает в себя незаурядную честность и незаурядное терпение; и если вы будете смелыми, честными, терпеливыми и рациональными, вам не понадобятся мистагоги, чтобы указывать вам, чему в науке верить, а чему нет; ибо вы будете такими же хорошими судьями научных фактов и теорий, как и те, кто присваивает себе право направлять ваши убеждения. Вы мужчины и женщины, и большего вам и не нужно.

И позвольте мне сказать, что человек наших дней, чьи труды наиболее полно иллюстрируют то, что я собираюсь сказать, - это справедливо почитаемый мистер Томас Карлайл.

Насколько я знаю, он никогда не писал ни на одну научную тему. Насколько мне известно, он может ничего не знать о математике или химии, сравнительной анатомии или геологии. Насколько мне известно, он может многое знать о них всех и, как мудрый человек, придерживаться язык и дать миру лишь результаты в форме общих рассуждений. Но я знаю одно: что его труды проникнуты самим духом науки; что он научил людей, больше, чем кто-либо из ныне живущих, смыслу и цели науки; что он научил людей моральному и интеллектуальному мужеству; смело смотреть фактам в лицо, пока они исповедуют божественность фактов; не бояться природы и не поклоняться ей; верить, что человек может познать истину; и что только в той мере, в какой он знает истину, он может достойно жить на этой земле. И таким образом он отстоял, как этого не сделал ни один другой человек в наши дни, одновременно достоинство Природы и достоинство

духа. В том, что из него вышел бы выдающийся ученый, мы можем быть так же уверены из его трудов, как можем быть уверены, когда видим прекрасную старую лошадь определенной породы, что из него получился бы первоклассный охотник, хотя, к сожалению, он всю свою жизнь был в упряжи. Поэтому, если бы я попытался воспитать молодого ученого человека правдивым, набожным и серьезным, точным и смелым, я бы сказал, — читайте что хотите, но, по крайней мере, прочитайте Карлейля. Для меня — и я не сомневаюсь, что для него — не имеет большого значения, согласитесь ли вы с его особыми выводами; но его предпосылки и его метод неопровержимы, ибо они опираются на “*voluntatem Dei in rebus revelatam*” — на факты и здравый смысл.

И труды м-ра Карлайла, если я прав в своей оценке их, дадут вполне достаточный ответ тем, кто думает, что научный склад ума склонен к непочтительности.

Несомненно, это обвинение всегда будет выдвигаться против науки теми, кто путает благоговение со страхом. Ибо от слепого страха перед неизвестным наука, безусловно, избавляет человека. Она поступает с мужчиной так, как он поступает с необъезженным жеребенком. Жеребенок видит на обочине дороги какой-нибудь совершенно новый предмет — выброшенный ботинок, старый чайник или что-то еще. Какое страшное чудовище! Какими неведомыми, потрясающими силами оно только не обладает! И жеребенок шарахается через дорогу, взбегает на берег, встает на дыбы, подвергая себя тем самым, как это делают многие мужчины, реальной опасности. Какое есть лекарство? Кроме одного: опыта. Итак, наука берет нас, как мы должны брать жеребенка, осторожно за недоуздок; и заставляет нас просто нюхать новое чудовище; пока после нескольких дрожащих вдохов мы не обнаруживаем, как и жеребенок, что это не чудовище, а котелок. И все же я думаю, что если мы суммируем потери и приобретения, то обнаружим, что характер жеребенка скорее улучшился, чем потерял, благодаря такому разуверению. Он учится заменять совершенно иррациональное почтение к чайнику на очень рациональное уважение к человеку, который его взламывает; и таким образом становится гораздо более мудрым и полезным членом общества, как это делает человек, когда избавляется от своих суеверий.

Из чего следует один результат. Что если наука предлагает — а она это делает — сделать мужчин храбрыми, мудрыми и независимыми, она должна вызывать неприятные чувства у всех, кто желает держать мужчин трусливыми, невежественными и раболепствующими. И то, что слишком много таких людей существовало во все века, слишком печально известно. Во все времена существовали гозтаи, шарлатаны, знахари, вызыватели дождя и некроманты различных мастей, которые в своих собственных целях выдвигали частичные, необоснованные, фантастические и пугающие интерпретации природы, не любя тех, кто ищет истинную, точную, смелую и обнадеживающую интерпретацию. И поэтому следует опасаться или надеяться, что наука и суеверия до конца света останутся непримиримыми и междоусобными врагами.

Представьте себе чувства старой лапландской ведьмы, которая последние пятьдесят лет носила все ветры в мешке из тюленьей кожи и так дешево продавала попутный ветер северным шкиперам, так часто заявляя о своей силе, бедняжка, что сама почти поверила в это, — представьте себе, говорю я, ее чувства, когда она видит, как ее клиенты смотрят штормовые сигналы Адмиралтейства и подделывают сводки погоды в ‘Таймс’. Представьте себе чувства африканского друга сэра Сэмюэля Бейкера, Катчибы, вождя племени, вызывающего дождь, у которого был полный дом грома и молний - хотя, по его признанию, он не держал их в бутылке,

как это делают в Англии, — если бы у сэра Сэмюэля хватило средств и желания прочитать неграм Катчибы курс лекций по электричеству с соответствующими экспериментами и, среди прочего, настоящую бутылку, полную настоящих молний.

Ясно, что вызывателю дождя были доступны только два способа самообороны, а именно: либо убить сэра Сэмюэля, либо купить его настоящий секрет удержания молнии, чтобы он мог использовать его в своих целях. Первый метод — убийство человека науки — считался более легким в древние времена; второй — в наши дни. И всегда были те, кто, будучи слишком добродушными, чтобы убить ученого человека, покровительствовали знанию не ради него самого, а ради возможного использования его; кто хотел бы сохранить прирученного ученого, как они хотели бы приручить поэта или ручного попугая; кто говорит— Давайте иметь науку любыми средствами, но не слишком много. Это опасная вещь; быть раздаваемым миру, как лекарство, маленькими и осторожными дозами. Вы, ученый человек, конечно, сами найдете то, что выберете. Только не говорите об этом слишком громко: предоставьте это нам. Мы понимаем мир и предназначены для того, чтобы направлять его и управлять им. Так что делайте открытия свободно, а пока передавайте свои открытия нам, чтобы мы могли обучать и назидать население таким количеством из них, какое считаем безопасным, сохраняя при этом свое положение и во многих случаях зарабатывая много денег на вашей науке. Сделайте это, и мы будем покровительствовать вам, приветствовать вас, приглашать в наши дома; и вы будете одеты в пурпур и тонкую льняную ткань и каждый день будете роскошно угощаться у нас. Я не знаю, не являются ли эти последние злейшими врагами науки. Часто они такие превосходные, респектабельные, аккуратные, исполненные благих намерений люди. Они так искренне желают, чтобы все были мудры: только не слишком. Они совершенно не осознают, какое зло они творят. Они бы отшатнулись от ужаса, если бы им сказали, что они такие Искарियोты, выдающие Правду поцелуем.

Но наука до сих пор выдерживала как ужасы, так и уговоры. В старые времена она пережила заключение в тюрьму и смерть. Она снова ожила. Возможно, это была воля Того, в ком живет все сущее, чтобы она жила. Возможно, это Его дух дал ей жизнь.

Она может вынести и голодную смерть. Ее приверженцев пока еще не слишком интересовали пурпур, тонкое полотно и роскошная еда. Среди них очень мало тех, кто, соединив блестящие таланты с основательной учебой, достиг заслуженной популярности, титулов и богатства. Но даже их труды, как мне кажется, никогда не вознаграждаются ни пропорционально затраченному на них времени и интеллекту, ни пользе, которую они приносят человечеству; в то время как подавляющее большинство, неоплачиваемое и неизвестное, продолжает трудиться и вынуждено искать в науке ее собственную награду. Возможно, лучше, чтобы так и было. Для науки лучше, чтобы она была свободна, в святой бедности, могла идти, куда ей заблагорассудится, и говорить то, что она знает, чем чтобы ее нанимали за такую большую плату в год говорить вещи, приятные многим, и тем, кто направляет многих. И я искренне верю, что так думает большинство ученых мужей. Среди них есть те, кто очень верно следовал заповеди святого Павла: “Никто из воюющих не впутывает себя в дела этой жизни”. Ибо они обнаружили, что вовлечены в войну — настоящую войну — против правителей тьмы, против невежества и его детей-близнецов, страха и жестокости. Они не видят ни конца этой войны, ни даже плана. Но они готовы идти дальше; готовы, по словам Сократа, “следовать разуму, куда бы он ни вел”; и при этом довольны, как хорошие солдаты в походе, если они могут сносно держаться в строю, пользоваться своим оружием и видеть на несколько ярдов впереди себя

сквозь дым и лес. Наконец они куда—нибудь выйдут; они не знают, куда и когда; но они наконец выйдут на дневной свет и в открытое поле; и тогда им скажут — возможно, к их собственному удивлению, - как говорили многим доблестным солдатам, что, просто идя прямо и выполняя ближайший к ним долг, они помогли выиграть великую битву и убить великих великанов, заслужив благодарность своей страны и человечества.

И, тем временем, если они получают свое боевое жалованье по шиллингу в день, они довольны. Я чуть было не сказал, что они должны быть довольны. Ибо я искренне верю, что наука, подобно добродетели, сама по себе является чрезвычайно великой наградой. Я могу представить себе несколько человеческих состояний, более завидных, чем состояние человека, которому, тяжело дыша в загаженной лаборатории или наблюдая за своей жизнью в тропическом лесу, Исида на мгновение приподнимет свое священное покрывало и покажет ему, раз и навсегда, то, о чем он и не мечтал; некий закон или даже простой намек на закон, объясняющий один факт; но объясняющий с его помощью еще тысячу, связывающий их все друг с другом и с великим целым, пока порядок и смысл не пробьются сквозь старый Хаос разрозненных наблюдений.

Разве это не радость, не награда, которую ни богатство не может дать, ни бедность не может отнять? К чему это может привести, он не знает. Какая от этого может быть польза, он не знает. Но одно он знает, что куда-то это должно привести; какая-то польза от этого будет. Ибо это истина; и, найдя истину, он изгнал еще одного из призраков, преследующих человечество. Он оставил человеку на один объект меньше опасений; на один объект больше возможностей для использования. Да, ученый человек может утешаться тем, что, что бы он ни сделал, он сделал добро; что он следует за любовницей, которая до сих пор не принесла человечеству ничего, кроме пользы.

Что физическая наука может сделать в будущем, я не знаю; но пока она сделала вот что:

Она чрезвычайно увеличила богатство человеческой расы; и, следовательно, дала работу, пищу, существование миллионам людей, которые без науки либо умерли бы с голоду, либо никогда бы не родились. Она показала, что изречение ранних политэкономистов о том, что население имеет тенденцию увеличиваться быстрее, чем средства к существованию, не является законом человечества, а просто тенденцией варварского и невежественного человека, которому можно противостоять, многократно увеличив научными средствами свои возможности по производству пищи. За последние несколько лет она научила людей предвидеть самые разрушительные бури и ускользать от них; и нет причин сомневаться, и много причин надеяться, что она постепенно научит людей ускользать от других ужасающих сил природы, слишком могущественных и, по-видимому, слишком капризных, чтобы их можно было победить. Она открыла бесчисленные средства, облегчающие боль и болезни. Она пролила такой свет на причины эпидемий, что теперь мы можем сказать, что присутствие холеры — и, вероятно, всех заразных болезней - в любом месте обычно является грехом и позором, за что владельцы и власти этого места должны быть наказаны законом как разрушители своих собратьев; в то время как для слабых, для тех, кто в варварском и полуварварском государстве - а из этого последнего мы только выходим — как много она сделала; залог того, что она сделает гораздо больше? Она избавила душевнобольных — я могу сказать, благодаря научной проницательности одного человека, более достойного титулов и пенсий, чем девять десятых тех, кто их зарабатывает, — я имею в виду великого и доброго Пинеля, — от безнадежных

страданий и пыток к сравнительному покою и комфорту и, по крайней мере, к возможности излечения. Для детей она многое сделала или, скорее, могла бы сделать, если бы родители читали и одобряли такие книги о физическом воспитании, как книги Эндрю Комба и других авторов. Тогда мы не должны были бы видеть, как дети, даже из богатых семей, постепенно умирают из-за неправильного питания, неподходящей одежды, пренебрежения вентиляцией и самыми обычными мерами по сохранению здоровья. Мы не должны видеть, как их интеллект тормозится прокрустовыми попытками научить их всем одним и тем же достижениям, чаще всего пренебрегая какой-либо разумной практической подготовкой их способностей. Мы не должны видеть, чтобы легкое несварение желудка или временные приливы крови к голове осуждались и наказывались как грехи против Того, Кто брал на руки маленьких детей и благословлял их.

Но у нас может быть надежда. Когда мы сравниваем образование сейчас с тем, каким оно было еще сорок лет назад, а тем более с тупой жестокостью монастырской системы, мы можем приветствовать как для детей, так и для взрослых людей приход к власти здравого смысла.

А что касается женщины — Чего я мог бы не сказать по этому поводу? Но большую часть этого уместно было бы обсудить только среди врачей и биологов: здесь я скажу только одно — наука истребила, по крайней мере среди цивилизованных народов, манию ведьм. Женщин — по крайней мере, белых женщин — больше не пытаются и не сжигают заживо из-за слепого страха мужчин перед неизвестным. Если бы наука не сделала ничего большего, она заслуживала бы вечной благодарности и доверия не только женщин, которых она спасла от агонии, но и мужчин, которых она спасла от преступлений.

Эти преимущества уже достались цивилизованным людям, потому что в последнее время они позволили очень немногим из своего числа мирно подражать мистеру Рэри и выяснять, о чем думает природа — или, вернее, выражаясь одновременно благоговейно и точно, Тот, кто создал природу, — и повиноваться "*voluntatem Dei in rebus revelatam*". Наука достигла этого, находясь еще в младенчестве. Что она сделает в зрелости, кто осмелится предсказать? По крайней мере, перед лицом подобных фактов те, кто призывает нас бояться, сдерживать или калечить науку, побуждают нас совершить акт безрассудства, а также неблагодарности, который может только навредить нам самим. Ибо наука до сих пор не принесла ничего, кроме пользы. Кто-нибудь скажет мне, какой вред она когда-либо причинила? Когда кто-нибудь покажет мне хоть один результат науки, знания и использования физических фактов, который не был направлен непосредственно на благо человечества, моральное и духовное, а также физическое и экономическое, — тогда у меня возникнет искушение поверить, что Соломон был неправ, когда говорил, что единственное, чего следует искать на земле, более ценное, чем все сокровища, та, в правой руке которой продолжительность дней, а в левой — богатство и почести, чьи пути — пути удовольствия, и все ее пути — мир, которая является деревом жизни для всех, кто прикоснется к ней, та, у кого в правой руке долголетие, а в левой - богатство и почести. и делает счастливым каждого, кто сохраняет ее, - как вы увидите, если сами обратитесь к этому отрывку, - та самая Мудрость, с помощью которой Бог основал землю; и то самое Понимание, с помощью которого Он основал небеса.

ГРОТЫ И РОЩИ

Я хочу, чтобы эта лекция была наводящей на размышления, скорее дидактической; чтобы заставить вас задуматься и исследовать самих себя, а не учиться у меня из вторых рук. Я не сомневаюсь, что некоторым из моих слушателей не нужно будет ни обучаться у меня, ни побуждаться к самостоятельным исследованиям. Они уже, вероятно, антиквары; уже лучше знакомы с предметом, чем я. Следовательно, они приходят сюда как критики; я не верю, что критики недоброжелательные. Я надеюсь, они будут помнить, что я пытаюсь пробудить всеобщий интерес к той самой архитектуре, которая им нравится, и таким образом заставить общественность отдать должное их трудам. Поэтому, я надеюсь, они сделают это

“Будь немного слеп к моим недостаткам,
Будь очень добр к моим добродетелям”;

и если мои архитектурные теории не кажутся им правильными во всех деталях — а я сам считаю их вполне обоснованными, - помните, что для меня или аудитории не имеет значения, должна ли какая-то моя особая и любимая фантазия быть в точности правдивой или нет: но не так уж важно, чтобы мои слушатели пробудились — а слишком многие именно сейчас нуждаются в действительном пробуждении — к правильному, чистому и здравому суждению о вопросах искусства, особенно когда обоснованность этого суждения зависит, как в данном случае, от здравых суждений об истории человечества, а также о природе. объекты.

Так вот, со мной случилось так, что, только что вернувшись из тропических лесов и видя их очертания, всегда как бы маячившие на заднем плане перед моими глазами, я по мере того, как дольше смотрел, все ярче поражался сходству этих лесных очертаний с очертаниями нашего собственного Честерского собора. Величественный и изящный дом Капитула превратился в одну из тех зеленых беседок, которые, однажды увидев и никогда больше не увидев, делают человека одновременно богаче и беднее на всю оставшуюся жизнь. Веера пахотной пальмы вырастали из коротких колонн, точно так же, как и покрытые перьями ветви гораздо более красивой пальмы Максимилиана, и точно такого же размера и формы: и сходились над головой, как я видел, в проходах, намного длиннее, чем неф нашего собора. Свободные вертикальные балки, придающие такую прочность и в то же время такую легкость средникам каждого окна, проникали вверх сквозь эти изогнутые линии, как стволы молодых деревьев сквозь пальмовые листья; и, подобно им, уносили взгляд и фантазию ввысь, в бесконечность, и снимали ощущение подавленности и неволи, которое мог бы вызвать вес крыши. В нефе, на хорах меня преследовало одно и то же видение Тропического леса. Рифленные колонны не только напоминали, но и казались скопированными с рифленных стволов, под которыми я проезжал в первобытных лесах; их основания, их капители, казалось, были скопированы с выступов в шейке корня и у истоков ветвей, образовавшихся в результате сдерживания избыточного сока; и довольно часто они были украшены гирляндами, как капители колонн, с тонким узором из листьев и цветов-паразитов; лепнина арок, казалось, была скопирована с параллельных пучков изогнутых побегов бамбука; и даже более плоская крыша нефа и трансептов была украшена гирляндами из листьев и цветов-паразитов. его прообраз на том самом высоком уровне лесных аллей, где деревья, поднявшись наконец к свету-пище, которую они ищут, - больше не стремятся расти ввысь, а раскидываются огромными ветвями, почти горизонтальными, напоминая глазу четырехцентровую арку, отмечающую период перпендикулярной готики.

Нет, и по сей день в нашем соборе есть одно место, которое, на мой взгляд, все еще поддерживает эту иллюзию. Когда я захожу на хоры и смотрю вверх, налево, я не могу не видеть в скинии партера стройные и устремленные формы “растраджо”; нежную вторую поросль, которая, так сказать, устремляется вверх из земли везде, где вырублен лес; а над ней, в высоких линиях северо-западной опоры башни — даже несмотря на то, что внутренняя сторона западной арки испорчена уродливыми и ненужными перпендикулярными панелями — мне кажется, что я вижу стволы огромных кедров, или балатас, или других деревьев. Сейбас, погибающий, как они обычно делали, к огромным балкам крыши трансепта, примерно в семидесяти футах над землей.

Нет, воображение так далеко завело, что мне показалось, будто я вижу в витражных стеклах между узорами окон такие великолепные краски, которые иногда бросаются в глаза, когда далеко вверх, между высокими стволами и ветвями, вы замечаете какое-нибудь огромное дерево, усыпанное цветами, либо собственными, либо цветами паразита; желтыми или малиновыми, белыми или пурпурными; а над ними снова безоблачная синева.

Теперь я хорошо знаю, что все эти мечты - всего лишь мечты; что люди, строившие наши северные соборы, никогда не видели этих лесных форм; и что сходство их работ с изображениями тропической природы является в лучшем случае лишь подтверждением изречения мистера Рескина о том, что “готика не возникла из подобия растительности, а развилась сама по себе. ... Это было не случайное предположение о форме арки из-за изгиба сука, но постепенное и постоянное открытие красоты в природных формах, которая все больше и больше могла быть перенесена в формы из камня, которые одновременно повлияли на сердца людей и форму здания”. Это настолько верно, что, чисто и благородно копируя красоту растений, которую они видели в своем собственном климате, средневековые мастера зашли так далеко — как я вам показал, — что предвосхитили формы красоты растений, характерные для тропического климата, которых они не видели: свежее доказательство, если нужны доказательства, того, что красота - это нечто абсолютное и независимое от человека, а не то, что, как некоторые думают, только относительно, и то, что приятно глазу того или иного человека.

Но, размышляя над этим вопросом, а также перечитывая то, что мистер Рескин написал по этому поводу в своих “Камнях Венеции”, том ii, глава vi, о природе готики, я пришел к определенным дальнейшим выводам — или, по крайней мере, догадкам, — которые я предлагаю вам сегодня вечером в надежде, что, если они не окажут на вас другого воздействия, они, по крайней мере, побудят некоторых из вас прочитать работы мистера Рескина.

Теперь мистер Рескин говорит: “То, что первоначальная концепция готической архитектуры была заимствована из растительности, из симметрии аллей и переплетения ветвей, является странным и тщетным предположением. Это теория, которая ни на минуту не могла возникнуть в сознании любого человека, знакомого с ранней готикой: но, какой бы праздной ни была теория, она наиболее ценна как свидетельство характера доведенного до совершенства стиля”.

Несомненно, так. Но вы должны всегда помнить, что предметом моей лекции являются гроты и роции; что я говорю не о готической архитектуре в целом, а о готической церковной архитектуре; и более того, почти исключительно о церковной архитектуре тевтонских или северных народов; потому что у них, как я думаю, сходство между храмом и лесом достигло предельной точности.

Первоначальная идея христианской церкви заключалась в гроте, пещере. Это исторический факт. Христианство, которое было передано нам, начало поклоняться, скрытое и преследуемое, в римских катакомбах, часто это может происходить вокруг могил мучеников, при тусклом свете свечи или факела. Свечи на римских алтарях, что бы они ни символизировали с тех пор, являются наследственными памятниками этого факта. По всему Северу, на этих островах, как и в любой другой стране, идея грота была, в равной степени, идеей церкви. Святой или отшельник строил себе келью; темную, массивную, предназначенную для исключения света, а также непогоды; или укрывался в пещере. Там он молился и поклонялся, и собирал других молиться и поклоняться вокруг себя на протяжении всей своей жизни. Там он, достаточно часто, становился объектом поклонения, в свою очередь, после своей смерти. В последующие века его пещера украшалась, как пещера отшельника Монмажурского в Арле; или его келья-часовня расширялась, как келья шотландских и ирландских святых, снова и снова; пока, наконец, над ней не вырос величественный собор. Тем не менее, идея о том, что церковь должна была стать гротом, не давала покоя строителям.

Но бок о бок с христианским гротом по всему Северу стояли храмы другой формы, посвященные совсем другим богам, а именно деревьям, с могучих стволов которых свисали головы жертв Одина или Тора, лошади, козла, а во время бедствий или мора - людей. Деревья, а не гроты были храмами наших предков.

Ученые хорошо знают — но они должны извинить меня за то, что я цитирую это ради тех, кто не является учеными, — знаменитый отрывок Тацита, в котором говорится, что наши предки “считали ниже достоинства богов заключать их в стены или уподоблять им какой-либо человеческий облик; но освящали рощи и перелески и называли именем богов ту тайну, которую они хранили одной верой”; и не менее известный отрывок Клавдиана о “обширном безмолвии Черного леса и рощах, наводящих ужас древними суевериями; и дубах, божествах варваров”; и не менее известный отрывок Клавдиана о “обширном безмолвии Черного леса и рощах, наводящих ужас древними суевериями”. и у Лукана “рощи, неприкосновенные с незапамятных времен, и алтари, обгаренные человеческой кровью”.

Богослужение в таких местах было мерзостью для раннего христианина. Это было таким же испытанием язычества, как и поедание конины, священной для Одина и, следовательно, нечистой для христиан. Ломбардские законы и другие прямо запрещают сохранившиеся остатки богослужения в роще. Святой Бонифаций и другие ранние миссионеры наперекор срубали священные дубы и иногда платили за свою доблесть жизнью.

Поэтому неудивительно, что прошли долгие столетия, прежде чем подобие растительных форм начало вновь появляться в христианских церквях Севера. И все же и грот, и гроув в равной степени были естественными храмами, которые религиозный инстинкт всех глубокомысленных народов, сознающих греховность и стремящихся к совершенству, которого нельзя найти на земле, выбирает с самой ранней стадии пробуждающейся цивилизации. Только в них, до того, как у него появились силы и умение благородно строить для себя, человек мог найти тьму, мать тайны и благоговения, в которой ему волей-неволей напоминают о его собственном невежестве и слабости; в которой он учится сначала вспоминать о невидимых силах, иногда для своего утешения и возвышения, иногда только для своего ужаса и унижения; тьму; а с ней тишину и одиночество, в котором он может собраться с силами и отгородиться от шума и блеска, низости

и грубости мира; и побыть наедине со своими собственными мыслями, своей фантазией, своим воображением. его собственная совесть, его собственная душа.

Но какое-то время, как я уже говорил, темноту, одиночество и тишину следовало искать в гроте, а не в роще.

Затем христианство завоевало Империю. Оно приспособило не только ее архитектуру, но и сами здания к своему богослужению. Римская базилика стала христианской церковью; достаточно благородная форма здания, хотя в ней не было ни темноты, ни уединения, ни тишины, но были переполненные прихожане, аплодирующие — или как-то иначе - популярному проповеднику; или сражающиеся за избрание епископа или папы, пока святое место не залилось христианской кровью. Глубокомысленный северянин с усталостью и отвращением отвернулся от этих огромных залов, приспособленных только для лихорадочных суеверий расточительной и изношенной цивилизации; и предпочел среди своих скал и лесов, вересковых пустошей и берегов более простую и суровую архитектуру, которая должна была выражать более суровое вероучение; и в глубине души гораздо более простое; хотя догматически то же самое.

И в этом, на мой взгляд, разница, и благородная разница, между так называемой нормандской архитектурой, которая появилась здесь примерно во времена Завоевания, и архитектурой романизированной Италии.

Но норманны были расой завоевателей; и следует всегда помнить, что они победили, по крайней мере в Англии, от имени и властью Рима. Их священнослужители, как и священнослужители на Континенте, были представителями римской цивилизации, отстаивавшими интеллектуальное и духовное право Рима править миром.

Следовательно, их архитектура, как и их вероучение, была римской. Они взяли массивные возвышающиеся римские формы, которые выражали господство; и нагромодили их одна на другую, чтобы выразить господство христианского Рима над душами, как они представляли господство языческого Рима над телами людей. И вот бок о бок с башнями нормандской крепости выросли башни нормандского собора — два знака двойного рабства.

Но с тринадцатым веком в Северной Европе наступила эпоха, которую я могу смело назвать героической эпохой; героической в своих добродетелях и преступлениях; эпохой богатой страстью юности или, скорее, ранней зрелости; полной стремлений, рыцарства, самопожертвования, столь же странного и ужасного, сколь прекрасного и благородного, даже когда оно было самым ошибочным. Тевтонские народы Европы — прежде всего наши собственные предки — усвоив все, чему языческий Рим мог их научить, по крайней мере на какое-то время, начали думать самостоятельно; иметь собственных поэтов, философов, историков, архитекторов. Тринадцатый век был особенно эпохой устремлений, и его архитекторы выражали в зданиях, совершенно непохожих на здания предыдущих столетий, устремления того времени.

Стрельчатая арка была введена в эксплуатацию полвека назад. Возможно, крестоносцы увидели ее на Востоке и привезли домой. Возможно, что он произошел от четырехсторонних сводов норманнов, сегментарные пахи которых, пересекаясь по диагонали, создавали вид остроконечной арки. Возможно, оно произошло от мистической фигуры заостренной овальной формы - *vesica piscis*. Наконец, возможно, что это было предложено просто пересечением

полукруглых арок, столь часто встречающихся в декоративных аркадах. Последняя причина, возможно, и является истинной: но не имеет большого значения, откуда взялась остроконечная арка. Гораздо важнее, что она значила для тех, кто ее ввел. И в начале Переходного или полунорманнского периода это, кажется, ничего не значило. Только в тринадцатом веке она постепенно обрела, так сказать, душу и стала выразителем великой идеи. Как нормандская архитектура и ее формы означали господство, так и раннеанглийская, как мы ее называем, означала устремление; идея, которая была доведена до совершенства, насколько это было возможно, в том, что мы называем Декорированным стилем.

Существует очевидный разрыв, я бы чуть не сказал пропасть, между архитектурным мышлением одиннадцатого и тринадцатого веков. Появляется вертикальная тенденция, стремление к легкости и свободе, а вместе с ними и стремление воспроизвести изящество природы и искусства. И здесь я прошу вас самих взглянуть на здания этой новой эпохи — вон в той галерее есть прекрасный образец{304}— и посудите сами, не напоминают ли они, а еще больше стиль оформления, в который они превратились, вам очертания леса?

И если они напоминают вам: разве они не должны были напоминать тем, кто их создавал? Могло ли быть иначе? Мы знаем, что люди, которые строили, были серьезными. Тщательность, благоговение, с которыми они проделали свою работу, послужили темой для некоторых из самых благородных глав мистера Раскина, текстом для некоторых из его самых благородных проповедей. Мы знаем, что они изучали растительные формы. Это подтверждается цветами, листьями и даже птицами, которыми они украшали свои капители и украшали лепнину. Посмотри туда, наверх, и увидишь.

Вы не можете смотреть ни на одно хорошее церковное произведение с тринадцатого по середину пятнадцатого века, не заметив, что листья и цветы постоянно были в сознании рабочего. Неужели вы думаете, что он никогда не думал о стеблях и сучьях? Несомненно, он сохранил в памяти фундаментальную идею о том, что христианская церковь должна символизировать грот или пещеру. Меньшего он сделать не мог; в то время как он снова и снова видел вокруг себя отшельников, живущих и молящихся в пещерах, как они делали это много веков назад в Египте и Сирии; в то время как он снова и снова выбирал место для своего монастыря и своей церкви в какой-нибудь уединенной долине, охраняемой утесами, вроде Долины Крусис в Северном Уэльсе. Но его храм часто стоял не только среди скал, но и среди деревьев; на какой-нибудь поляне в первобытном лесу, каким тогда была Долина Креста. По крайней мере, он не мог переходить от собора к собору, от города к городу, не пройдя долгих миль по лесу. Неужели вы думаете, что ужасные формы и тени этого леса никогда не преследовали его воображение, когда он строил? Он бы безжалостно срубил, как это делали его предшественники, ранние миссионеры, священные деревья, среди которых саксы-язычники поклонялись Тору и Одину; среди которых языческие племена Восточной Европы все еще поклонялись еще более мрачным божествам. Но он был потомком людей, которые поклонялись в этих рощах, и их очарование все еще витало над ним. Он населил дикий лес демонами и феями, но это, конечно, не помешало ему ощутить его облагораживающее величие, его карающее одиночество. Его предки считали дубы деревьями Бога, точно так же, как евреи считали кедр и индусы то же самое; ибо сосна Деодара не только, как говорят нам ботаники, похожа на ливанский кедр, но и само ее название — Деодара — означает не что иное, как “дерево Бога”.

Я говорю, что его предки считали дубы деревьями Божьими. Возможно, когда монах сидел в их тени с Библией на коленях, подобно святому Бонифацию в лесу Фульда, он обнаружил, что его предки были правы.

Чтобы понять, что это были за деревья, из которых он черпал вдохновение, нужно смотреть не на обычный английский лес, который постоянно редел по мере того, как деревья достигали среднего возраста. Еще меньше вам следует смотреть на сосны, дубы, буки в английском парке, где у каждого дерева было пространство, чтобы свободно развиваться в более или менее округлую форму. Вы не должны даже смотреть на тропические леса. Ибо там, благодаря огромному разнообразию форм, двадцать разновидностей деревьев будут расти друг под другом, образуя плотно сбитую кучу ветвей и листьев, от земли до высоты ста футов и более.

Вам следует взглянуть на североамериканские леса социальных деревьев, особенно сосен и елей, где деревья одного вида, скученные вместе и конкурирующие с равными преимуществами за воздух и свет, образуют единую пустыню прямых гладких стволов, увенчанных плоским листом листвы, поддерживаемым сучьями, как ребрами рифленой крыши; в то время как под ними земля голая, как пол собора.

Вы все, конечно, знаете американскую ель болиголов, которая, хотя и растет сама по себе в открытом грунте, является самой своенравной и фантастической, а также самой грациозной из всех елей; по форме она напоминает не сородичей, а огромный пучок папоротника.

Но если вы посмотрите на то же самое дерево, когда оно с юности долго боролось за жизнь среди других деревьев своего вида и своего возраста, вы обнаружите, что нижние ветви отмерли от недостатка света, не оставив после себя ни единого шрама. Верхние ветви сразу достигли света и своего естественного срока жизни. Они довольны жизнью, и немногим больше. Центральный ствол больше не выпускает каждый год новый перпендикулярный побег, стремящийся превзойти остальные: но, как бы они ни устали от борьбы с амбициями, с годами они довольствуются тем, что становятся все более и более равными им. И это закон социальных лесных деревьев, который вы должны иметь в виду всякий раз, когда я говорю о влиянии древесных форм на готическую архитектуру.

Подобные формы сейчас достаточно редки в Европе. Я никогда не понимал, насколько возможными, насколько распространенными они должны были быть в средневековой Европе, пока не увидел в лесу Фонтенбло несколько дубов, похожих на дуб Карла Великого, и Букет Руа, возраст которых я не осмеливаюсь угадать, но размер и форма которых свидетельствовали о том, что они когда-то составляли часть сплошного леса, подобного которому не осталось на этих островах — возможно, и не к востоку от Карпатских гор. В них прозрачная шахта длиной не менее шестидесяти, а может быть, и восьмидесяти футов несет плоскую верхушку ветвей, каждая из которых сама по себе является деревом. В такой роще, подумал я, поклонялись язычники-галлы, даже язычники-франки, под "деревьями Божьими". Столетия спустя я думал, что именно такие деревья вдохновляли гений каждого строителя готических проходов и крыш.

Таким образом, по крайней мере, мы можем объяснить ту жесткость, о которой говорит нам мистер Раскин: "это особый элемент готической архитектуры. Греческие и египетские здания, — говорит он, - и я должен был бы добавить, что римские здания также, пропорционально их возрасту, *т.е.* количеству римских элементов в них, — по большей части стоят благодаря своему собственному весу и массивности, один камень пассивно лежит на другом: но в готических

сводах и узорах присутствует жесткость, аналогичная жесткости костей конечностей или волокон дерева; упругое натяжение и передача силы от части к части; а также старательное выражение этого во всех частях здания”. Одним словом, готические своды и ажурные элементы были тщательно выполнены в виде ветвей деревьев. Были ли эти ветви в воображении архитектора? Или совпадение просто случайное? Вы уже знаете, как я должен ответить. И изогнутая арка тоже на самом деле не предназначалась для имитации растительности? Мистер Раскин, кажется, так думает. Он говорит, что это просто особое применение к арке великой орнаментальной системы слоения, которая, “будь то простая, как в изогнутой арке, или сложная, как в ажуре, возникла из любви к листе. Не то чтобы форма арки была предназначена для имитации листа, но она должна быть наделена теми же символами красоты, которые дизайнер обнаружил в листе.” Теперь я сильно сомневаюсь в мнении мистера Раскина. Я согласен, что изогнутая арка не предназначена для имитации листа. Я думаю вместе с мистером Раскином, что, вероятно, сначала его взяли на вооружение из-за его превосходной прочности; и что впоследствии он принял форму сука. Но я пока не могу поверить, что в конце концов это не было сделано для имитации ветки; ветки очень распространенной формы, в которой особенно ярко проявляется “активная жесткость”. Я имею в виду раздвоенный сук. Если нижняя развилка отмерла из-за недостатка света, мы получаем что-то вроде простой изогнутой дуги. Если он все еще живой, но короткий и чахлый по сравнению с более высокой развилкой, мы получаем, как мне кажется, нечто вроде листоватого острия; оба сходства достаточно близки к сходствам обычных объектов, чтобы сделать возможным, что эти объекты могли их предложить. И таким образом, средневековый архитектор все смелее и больше учился копировать ветви, стебли и, наконец, весь эффект, насколько это позволял камень, сочетания камня и дерева, грота и рощи.

Итак, он построил свои храмы, как я полагаю, по образцу тех покрытых листвою храмов, по которым он ходил медитировать, среди проходов, построенных Богом, а не человеком. Он возносил их колонны ввысь, как стволы древних деревьев. Он увивал их капители, иногда даже древки, цветами и ползучими побегами. Он раздвинул их арки и переплел выступы их сводов, как ветвистую кровлю над головой. Он украсил листвою и фруктами выступы вверху и карнизы внизу. Он выпустил из этих поясков вертикальные стрелы вдоль стен, по подобию деревьев, которые выросли из скал над его головой. Он возвел эти стены в огромные утесы. Он пронзил их сводами трифория, как кельи отшельников. Он изобразил в горизонтальных подоконниках своих окон и в своих горизонтальных струнных линиях горизонтальные слои горных пород. Он распахнул окна на высокие поляны, изрезанные, как в лесу, узором стеблей и сучьев, сквозь которые был виден не только внешний, но и высший мир. Ибо он жаждал, как жаждут все истинные художники, света и красок; и если бы небо над головой было вечно голубым, он, возможно, удовлетворился бы этим и оставил свой стакан прозрачным. Но в этом темном промозглом северном климате дождь и метель, черные тучи и серый туман - вот и все, что ему хотелось видеть снаружи в течение девяти месяцев в году. Поэтому он взял такой свет и краски, какие давала природа в ее редкие веселые минуты; и поместил на своих витражных окнах оттенки полудня и радуги, восход и закат солнца, пурпур вереска, золото дрока, лазурь стекляруса и багрянец мака; и среди них, в великолепных одеждах, ангелов и святых с небес, и воспоминания о героических добродетелях и героических страданиях, чтобы он мог навсегда оторвать свои собственные глаза и сердце от темного, промозглого, мрачного мира. печальный мир холодного севера, со всеми его грубостями и преступлениями, ведет к царству вечной святости, среди вечного лета красоты и света; как тот, кто — ибо даже в этом он был верен

природе — из черной пасти узкой долины или из-под черной тени корявых деревьев мельком видит далекие земли, пестрящие садами и коттеджами, и пурпурные горные хребты, и далекое море, и туманный горизонт, растворяющийся в туманном небе; и обнаруживает, что его сердце уносится в бесконечность свободы и блаженства одновременно. отдыхай.

И вот из скал и лесов он сформировал внутреннюю часть своей церкви. А как он сформировал внешнюю? Смотрите сами и судите. Но посмотрите: не на Честер, а на Солсбери. Посмотрите на те церкви, которые имеют не просто башни, а шпили или, по крайней мере, остроконечные башни, приближающиеся к пирмидальной форме. Внешнюю форму любого готического собора следует считать несовершенной, если она не завершается чем-то пирамидальным.

Особым недостатком всех греческих и римских зданий, с которыми мы знакомы, является отсутствие — за исключением нескольких и незначительных случаев — пирамидальной формы. Египтяне, по крайней мере, знали ценность обелиска, но греки и римляне вряд ли знали даже это: их здания с плоскими крышами. Их строители были довольны землей такой, какая она есть. В этом была заключена великая правда, которую я буду отрицать последним. Но религии, которые, подобно буддийской или христианской, питают благородное недовольство собой, несомненно, рано или поздно примут восходящую и устремленную форму построения. Дело не только в том, что, воображая, что небеса находятся над землей, они указывают на небеса. В пирамидальной форме растущего дерева есть более глубокий естественный язык. Это символизирует рост или стремление к росту. Нормандская башня не делает ничего подобного. Она не стремится расти. Посмотрите — я упоминаю пример, с которым я лучше всего знаком — нормандскую башню в Бери Сент-Эдмундс. Это изящно — ужасающе, если хотите, — но в этом нет стремления. Он величествен, но самодостаточен. Его горизонтальные линии, круглые арки и, прежде всего, плоская линия неба, кажется, достаточно вознеслись и не желают подниматься выше. Ибо в нем нет того душевного волнения, которое выражается шпилем, и еще больше составным шпилем, с его вершинками, венчиками, навершиями, которые являются венцами только по названию; ибо они не заканчиваются, а на самом деле являются как бы верхушечными бутонами, жаждущими раскрыться и расти вверх, подобно тому как венчики - это прицветники и листья, опадающие по мере роста побега.

Вы, конечно, чувствуете истинность этих последних слов. Вы не можете смотреть на балдахин или вершину этого собора, не увидев, что они не просто изображают бутоны и листья, но что бутоны и листья вырезаны прямо у вас на глазах. Я сам не могу смотреть на скинии наших прилавков, не вспоминая молодые сосновые леса, которыми покрыты вересковые пустоши Хэмпшира. Но если детали скопированы с растительных форм, почему не целое? Разве шпиль не подобен растущему дереву, скиния - ели, составной шпиль - группе елей? И если мы можем это увидеть, то не думаете ли вы, что человек, спроектировавший шпиль, видел его не так ясно, как мы, а может быть, и еще более ясно?

Я, конечно, знаю, что нормандская архитектура иногда имела свою вершину - простую коническую или многоугольную крышу. Я знаю, что эта форма, только становившаяся все более и более тонкой, сохранялась в Англии в течение тринадцатого и начала четырнадцатого века; и на Континенте, со многими модификациями, сохранился один английский вид, который обычно называют "протяжкой", прекрасный образец которого находится в новой церкви в Хуле.

Теперь никто не будет отрицать, что эта брошь красива. Но было бы трудно доказать, что ее форма была взята с дерева из Северной Европы. Кипарис, вероятно, был неизвестен нашим

северным архитекторам. Ломбардский тополь, который забрел сюда, не знаю когда, аж из Кашемира, — полагаю, тогда не забредал дальше Северной Италии. Форма скорее напоминает простой камень; обелиск или горную вершину; и на самом деле, возможно, сначала они предположили шпиль. Величие изолированной горы, даже дольмена или отдельно стоящего камня, очевидно для всех.

Но это величие не устремления, а неповиновения; не христианина; даже не стоика, а скорее эпикурейца. Оно гласит — я не могу подняться. Я не хочу подниматься. Я буду доволен и доблестен тем, кто я есть; и встречу с обстоятельствами лицом к лицу, хотя и не смогу их победить. Но это вызов при поражении. Горная вершина не растет, а только гниет. Потрепанный дождями, ободранный морозом, расколотый молниями, он должен был наконец рухнуть и рассыпаться в прах, будь он таким же старым, твердым и величественным, как сам Маттерхорн. И пока он стоит, он хочет не только устремления, он хочет нежности; он хочет смирения; он хочет беспокойства, которое должны порождать нежность и смирение и которое мистер Рескин так ясно распознает в лучшем готическом искусстве. И, между тем, ему хочется естественности. Простой гладкий шпиль или протяжка — я чуть было не сказал, даже шпиль Солсбери — не похожи ни на один высокий или внушительный объект в Природе. Это просто карикатура на одного из них; это может быть горная вершина. Контуров должны быть нарушены, должны быть смягчены, прежде чем они смогут выразить суть вероучения, которое в тринадцатом и четырнадцатом веках в гораздо большей степени, чем сейчас, было символом покаяния, а также устремления, страстных эмоций, а также возвышенной веры. Но форму, которая выражала бы эту душу, нужно искать не среди минеральных, а среди растительных форм. И всегда помните, что если мы чувствуем это даже сейчас, то насколько больше должны были чувствовать то же самое те средневековые гении, чьи работы мы теперь осмеливаемся лишь копировать строка за строкой?

Итак, как мне кажется, они искали среди растительных форм то, что им было нужно, и они сразу же нашли это в сосне, или, скорее, в пихте - ели и серебристой пихте их собственных лесов. Они, конечно, не являются коренными жителями Англии. Но они настолько распространены во всей Европе, что их форма вызвала бы интерес не только у континентального архитектора, но и у любого английского клерка, который путешествовал, как и все, кто мог, через Альпы в Рим. Ель, растущая не на ровной земле, как дубы Фонтенбло, единой плоской крышей из листвы, а цепляющаяся за склон холма и скалу, старая над молодой, шпиль над шпилем, завиток над завитком, - весной молодые побеги каждого завитка ветвей указывают вверх; и время от времени целая ветвь, как бы отламываясь на свободное пространство, полностью погибает вверх и образует вторичный шпиль на том же дереве, - несомненно, это была форма, которой воспользовался средневековый архитектор, облекать им стены и крышу каменной горы, которую он построил; нагромождать остроконечные башни и шпили, каждый из которых увенчан по углам; чтобы, подобно группе елей на изолированной скале, казалось, что каждая точка здания в действии растет к небесам, пока его идея не достигнет кульминации в великолепном Кельнском соборе, который, если его когда-нибудь достроят, станет подобием одной покрытой лесом группы утесов, увенчанной тремя огромными соснами.

Одну особенность нормандского храма он смог сохранить, поскольку она была скопирована с той же натуры, которую он пытался скопировать, а именно, с высокой крышей и фронтонами. Мистер Рескин устанавливает как закон, что острый угол в крышах, фронтонах, шпилях является отличительной чертой северной готики. Скорее всего, сначала он был заимствован у домашних

построек. Северный дом или сарай должен иметь высокую крышу, иначе снег с нее не соскользнет. Но этот факт не был открыт человеком; он скопировал его со скал вокруг. Он видел горную вершину, черную и голую, возвышающуюся над зимними снегами; он видел, как эти снега соскальзывают простынями, низвергаются потоками под солнцем с крутых каменных глыб, окаймляющих склон холма; и он скопировал в своих крышах скалы над своим городом. Но по мере того, как росла любовь к украшениям, он украшал свои крыши так, как природа украшала свои, пока серые листы шифера соборов не стали выделяться среди шпилек и башенок, густо поросших листвой, как серые склоны гор выделяются среди холмов с перистыми березами и высокими соснами.

Он потерпел неудачу, хотя и благородную. Ему так и не удалось добиться совершенно естественного стиля.

Средневековые архитекторы были до последнего искалечены традицией искусственных римских форм. Они начали доводить их до естественности, не имея четкого представления о том, чего они хотят; и когда это представление прояснилось, было слишком поздно. Возьмем, к примеру, узор на их окнах. Это правда, как говорит мистер Раскин, что они начали с того, что проделали отверстия в стене в форме листа, которые в окне-розетке превратились в форму звезды внутри и цветка снаружи. Посмотрите на такую высоту. Затем, добавив средники и узоры в нижнюю часть окна, они добавили формы стеблей и ветвей к этим цветочным формам. Но эти две формы не подходили. Посмотрите на западное окно нашего хора, и вы поймете, что я имею в виду. Вертикальные средники обрываются, образуя достаточно изящные изгибы ветвей; но они обрезаны — как я полагаю, испорчены - круглыми и треугольными формами роз и трилистников, покоящихся на них, поскольку такие формы никогда не покоятся в Природе; и целое, хотя и красиво, красиво лишь наполовину. Это фрагментарно, бессмысленно, варварски, потому что неестественно.

Возможно, им также не удалось воспроизвести растительные формы, которые они смогли найти среди флоры этого более холодного климата; и поэтому, не имея возможности рисовать с натуры, они предались простой бесцельной роскоши. Если бы они могли пополнить свой запас воспоминаний сотней форм, которые они видели бы в Тропиках, они могли бы веками копировать Природу, не истощая ее.

И все же, исчерпали ли они хотя бы те немногие формы красоты, которые видели вокруг себя? Следует признать, что нет. Я полагаю, что они не могли, потому что не смели. Неестественность веры, которую они выражали, всегда мешала им. Это запрещало им свободно и с любовью смотреть Природе в лицо. Это запрещало им — в качестве одного из ярких примеров — знать что-либо по-настоящему о самом прекрасном из всех природных объектов — человеческой форме. Они постоянно испытывали искушение использовать Природу как украшение, а не как основу; и в конце концов они поддались искушению; пока в век перпендикулярной архитектуры само их украшение снова не стало неестественным, потому что условным, неистинным, бессмысленным.

Но кредо, ради которого они работали, к тому времени умирало, и поэтому искусство, выражавшее его, тоже должно было умереть. И даже эта смерть, или, скорее, ее приближение, действительно символизировалась более плоской крышей, четырехцентровой аркой, башней с плоской вершиной церкви пятнадцатого века. Символ веры перестал устремляться: то же самое сделала архитектура. Он перестал расти: то же самое сделал храм. И арка опустилась ниже; и

стропила стали более горизонтальными; и сходство со старым деревом, довольным тем, что оно больше не растет, заняло место сходства с молодым деревом, стремящимся к небу.

А теперь — если вам не надоело меня слушать — несколько практических слов.

Мы восстанавливаем наш старый собор камень за камнем по его древнему образцу. Мы также пытаемся построить новую церковь. Мы строим его — как сейчас строится большинство новых церквей в Англии — в чистом готическом стиле.

Правильно ли мы поступаем? Я не имею в виду морально правильно. С моральной точки зрения всегда правильно строить новую церковь, если это необходимо, какой бы ни была ее архитектура. С моральной точки зрения всегда правильно восстанавливать старую церковь, если она красива и благородна, как семейную реликвию, доставшуюся нам от наших предков, которую мы не имеем права — я говорю, никакого права — ради наших детей и детей наших детей оставлять разрушаться.

Но правы ли мы с художественной и эстетической точек зрения? Подходит ли готика для нашего богослужения? Выражает ли она нашу веру? Или мы выберем какой-нибудь другой стиль?

Я говорю, что это так; и что это так, потому что это стиль, который, если и не основан на Природе, то вобрал в себя больше Природы, Природы прекрасной и здоровой, чем любой другой стиль.

С большим знанием Природы, как географическим, так и научным, могут возникнуть и будут возникать новые стили архитектуры, столь же красивые и столь же естественные, как готический, поскольку готика красивее и естественнее нормандского. До тех пор мы должны взять лучшие модели, которые у нас есть; использовать их; и, так сказать, израсходовать их и исчерпать. К тому времени мы, возможно, научимся улучшать их и строить церкви, более готические, чем сама готика, больше похожие на грот и роццу, чем даже на северный собор.

Это то направление, в котором мы должны работать. И если кто-нибудь скажет нам, как это было сказано ранее— “В конце концов, ваши новые готические церкви - всего лишь имитации, подделки, заимствованные символы, которые для вас ничего не означают. Это римские церкви, предназначенные для выражения римской доктрины, построенные для протестантского вероучения, которое они не выражают, и для протестантского богослужения, которому они не подходят”. Тогда мы ответим — не так. Возражение могло бы быть справедливым, если бы мы строили церкви в нормандском или романском стиле; ибо тогда мы вернулись бы к тому очень чуждому и неестественному стилю, которому Рим научил наших предков и от которого они постепенно уходили к сравнительной свободе, сравнительной естественности той истинной готики, о которой так хорошо говорит м—р Рескин:

Приятно вспоминать, что в каждом случае проявлялся в высшей степени благородный характер, который считался наиболее неприязненным к нему, протестантский характер самостоятельности и пытливости. Вера и устремления были в каждом христианском церковном здании с первого по пятнадцатый век; но моральные привычки, которым Англия в этот век обязана величием, которым она обладает, — привычки к философским исследованиям, к точному мышлению, к домашнему уединению и независимости, к суровой уверенности в себе и искреннему прямому поиску религиозной истины, -

прослеживались только в чертах, которые были отличительными творениями готических школ, в разнообразной листве и колючей резьбе, в тенистых нишах, в подпорках и бесстрашной высоте изящных шпилей и увенчанных гребнями башен, придававших готическим школам особый вид. "как неразрешенный вопрос, обращенный к небесам".

Так говорит мистер Раскин. Я, со своей стороны, поддерживаю его благородные слова. И я думаю, что убедительное доказательство их истинности можно найти в двух фактах, которые на первый взгляд кажутся парадоксальными. Во-первых, новые римско-католические церкви на Континенте — я говорю особенно о Франции, которая является самой высококультурной романистической страной, — подобно тем, которые иезуиты построили в семнадцатом и восемнадцатом веках, все менее и менее готичны. Первые были псевдоклассическими; вторые скорее относятся к новому фантастическому романскому или, скорее, византийскому стилю, который является настоящим регрессом от готики к более ранним и менее естественным школам. Далее, что пуританские общины, шотландская кирка и английские нонконформисты, по мере того как они становятся более культурными — а среди них сейчас много высококультурных людей, — все больше и больше внедряют готическую архитектуру в свои церкви. Похоже, в этом есть элементы, которые не противоречат их пуританству; элементы, которые они могут приспособить к своему собственному богослужению; а именно, те самые элементы, которые распознал мистер Рескин.

Но если они могут это сделать, то насколько больше мы можем сделать для Англиканской церкви? До тех пор, пока мы продолжаем с того места, где остановились наши средневековые предки; до тех пор, пока мы придерживаемся самых совершенных типов их работ в ожидании того дня, когда мы сможем превзойти их, сделав наши работы еще более натуралистичными, чем их, более верно выражающими высочайшие устремления человечества: до тех пор мы благоговеем перед ними и перед тем скрытым протестантизмом в них, который в конце концов привел к Реформации.

И если кто—нибудь скажет: "Тем не менее, ваша протестантская готическая церковь, хотя вы сделали ее в десять раз красивее и символичнее, чем сам Кельнский собор, все равно останется подделкой. Ибо где были бы ваши изображения? И, более того, где был бы ваш Ведущий? Разве вы не знаете, что в средневековой церкви виды ее аркад, чередование света и теней, градации ее окраски и все ее тщательно подобранное богатство искусства были сосредоточены вокруг одного священного места, подобно тому, как кривая, какой бы обширной ни была ее протяженность в пространстве, в каждый момент стремится к одному фокусу? И этим местом, этим фокусом было и остается в каждой римской церкви тело Божье, присутствующее на алтаре в виде хлеба? Что без Него все ваше здание? Ваша церковь пуста: ваш алтарь опустошен; трон без короля; глазница без глаза".

Друзья мои, если мы истинные дети тех достойных стариков, которых Тацит видел боготворящими под германскими дубами, у нас будет только один ответ на эту насмешку:

Мы знаем это; и мы гордимся этим фактом. Мы славимся этим, как славились древние евреи, когда римские солдаты, ворвавшись в Храм и войдя в само Святое Святых, остановились в изумлении и благоговении, не увидев ни Бога, ни образа Божьего, но пустое, но наводящее на размышления место милосердия.

Как и у них, наш алтарь - пустой трон. Ибо это символизирует наше поклонение Тому, кто не обитает в рукотворных храмах; кого небо и небеса небес не могут вместить. В нашей глазнице нет глаза. Ибо это символизирует наше поклонение тому Глазу, который находится над всей землей; который следит за нашим путем и за нашим ложем и следит за всеми нашими путями. Нам не нужно искусственное и материальное присутствие Божества. Ибо мы верим в То Единое Вечное и Универсальное Реальное Присутствие, о котором написано: “Он не далек ни от кого из нас; ибо в Боге мы живем, и движемся, и существуем”; и еще: “Вот, Я с вами даже до скончания Мира”; и еще: “Где бы двое или трое ни собрались вместе во Имя Мое, я посреди них”.

Он - Бог природы, а также Бог благодати. Ибо Он всегда смотрит свысока на все, что Он создал: и вот, они очень хороши. И поэтому мы осмеливаемся предлагать Ему в наших церквях самые совершенные произведения натуралистического искусства и превращать их в копии любой красоты, которую Он показал нам, в мужчине или женщине, в пещере или горной вершине, в дереве или цветке, даже в птице или бабочке.

Но Он Сам?—Кто может Его видеть? Кроме смиренного и кающегося сердца, которому Он открывает Себя как Дух, которому следует поклоняться в духе и истине, а не в хлебе, ни в дереве, ни в камне, ни в золоте, ни в квинтэссенции алмаза.

Итак, мы повинемся здоровому инстинкту наших христианских предков, когда они превращали свои церкви в лесные аллеи и украшали их лесными ветками и полевыми цветами; но мы повинемся также и их более здоровому инстинкту, который заставил их в конце концов выбросить из своих храмов идолов, унаследованных ими от Рима, как неуместные и противоестественные вещи.

Итак, мы повинемся здоровому инстинкту наших языческих предков, когда они поклонялись неведомому Богу под дубами первобытного леса; но мы повинемся также и их более здоровому инстинкту, который научил их, по крайней мере, в том, что касается Бога: что для Него было ниже достоинства заключать Его в стены; и что величайшие формы природы, а также глубочайшее сознание их собственных душ, открывали им таинственное Существо, которое можно было увидеть только верой.

ДЖОРДЖ БЬЮКЕНЕН, УЧЕНЫЙ

Ученый в шестнадцатом веке был гораздо более важной персоной, чем сейчас. Предложение ученых людей было очень небольшим, а спрос на них очень большим. В течение всего пятнадцатого и большей части шестнадцатого века человеческий разум все больше и больше обращался от схоластической философии средневековья к философии римлян и греков; и все больше и больше находил в древнем языческом искусстве элемент, которого не было в монастырском Искусстве, и который, тем не менее, был необходим для полного удовлетворения их жажды Прекрасного. При таком кризисе мышления и вкуса было естественно, что ученый-классик, человек, знавший древний Рим и еще более древнюю Грецию, занял место монаха как учителя человечества; и что ученые на некоторое время сформировали новую и могущественную аристократию, ограниченную и привилегированную, и тем более грозную, что ее сила заключалась в интеллекте, а завоевана она была только интеллектом.

Те, кто, бедные или богатые, не боялись монахов и священников, по крайней мере, боялись “ученого”, который владел, как полагали простые люди, ключами к тем магическим знаниям, с

помощью которых древние некроманты строили города, подобные Риму, и творили чудеса механического и химического мастерства, с которыми дегенеративному современному человеку никогда не сравниться.

Если "ученый" останавливался в городе, его хозяйка, вероятно, просила у него амулет от зубной боли или ревматизма. Рыцарь без гроша в кармане беседовал с ним об алхимии и о шансах вернуть свое состояние с помощью искусства превращения металлов в золото. Королева или епископ беспокоили его наедине о том, чтобы определить их происхождение и найти свою судьбу среди звезд. Но государственный деятель, занимавшийся более практическими вопросами, нанял его в качестве адвоката и риторы, который мог сражаться с врагами своего хозяина оружием Демосфена и Цицерона. Куда бы ни повернули шаги ученого, он мог быть хозяином других до тех пор, пока был хозяином самого себя. Жалобы, которые он так часто высказывал по поводу жестокости судьбы, непостоянства принцев и так далее, были, вероятно, не более справедливы тогда, чем подобные жалобы сейчас. Тогда, как и сейчас, он получил по заслугам, и мир купил его по его собственной цене. Если он решал продать себя тому или иному покровителю, его использовали и выбрасывали; если он предпочитал оставаться в почетной независимости, за ним ухаживали и его боялись.

Среди успешных ученых шестнадцатого века, несомненно, нет никого более выдающегося, чем Джордж Бьюкенен. Сын бедной шотландской вдовы, благодаря врожденному остроумию и, как я думаю, благодаря врожденным достоинствам, прокладывает себе путь наверх, преодолевая бедность и жесточайшие преследования, чтобы стать корреспондентом и другом величайших литературных знаменитостей Континента, сравнимых, по их мнению, с лучшими латинскими поэтами древности; наставником принцев; советником и выразителем шотландских государственных деятелей в самые опасные времена; и оставляет после себя политические трактаты, которые повлияли не только на историю его собственной страны, но и на историю цивилизованного мира.

Такого успеха нельзя было достичь, не нажив врагов, возможно, не совершив ошибок. Но чем больше мы изучаем историю Джорджа Бьюкенена, тем меньше у нас будет склонности выискивать его недостатки, тем больше мы будем склонны восхищаться его достоинствами. Проницательный, добросердечный, любящий человек, с сильной любовью к добру и презрением ко злу, а также с чувством юмора, которое спасало его — за исключением действительно важных случаев — от горечи и помогало ему смеяться там, где более ограниченные натуры только зарывали бы, — он во многих отношениях представляет собой тип тех шотландцев с равнин, которые долгое время сохраняли его шутки, подлинные или вымышленные, как обычную домашнюю книгу.^{328} Школьный учитель по профессии, долгие годы борющийся с искушениями, которые в те дни превращали его класс в жестоких и подлых педантов, он превратился из простого педагога в придворного в лучшем смысле этого слова; "Казалось, - говорит Даниэль Хайнсиус, " кто не только рожден для двора, но и рожден вносить в него изменения. Он донес до своей королевы то, чему она не могла в достаточной мере удивиться. Ибо, проявляя определенную свободу в осуждении морали, он избегал всякого оскорбления под покровом простоты". О нем и его коллегах Турнебусе и Мюретусе, а также об их друге Андреа Говеа Ронсар, французский придворный поэт, сказал, что в них не было ничего от педагога, кроме мантии и шапочки. "У него суровое лицо и простоватая внешность, - говорит Дэвид Бьюкенен, - но безупречный стиль и речь; и он постоянно, даже в серьезном разговоре, остроумно шутит". "Неотесанный, неряшливый и неотесанный, - говорит Пичем в своем

”Совершенном джентльмене“, говоря о нем, вероятно, таким, каким он выглядел в преклонном возрасте, - по его внешности, поведению и манере одеваться; редко кто заботился о лучшем внешнем виде, чем плотно облегающий его халат; тем не менее, его внутренняя сторона и представление о поэзии были самыми богатыми, а его мягкость и непринужденность в стихосложении - самыми превосходными”. Типичный шотландец с равнин, как я только что сказал, он, кажется, впитал в себя все лучшее, что могла предоставить ему Франция, не утратив силы, честности и юмора, которые он унаследовал от своих стерлингширских родственников.

Историю его жизни легко проследить. Будучи пожилым человеком, он сам записал основные события этой истории по просьбе своих друзей; и его очерк был дополнен комментаторами, если и не всегда благосклонными, то, по крайней мере, эрудированными. Родился в 1506 году в Моссе, в Киллирне, где, как читают, в этом столетии был воздвигнут обелиск в его память, в семье “скорее древней, чем богатой”, его отец умер в расцвете сил, его дед был расточителем, он и его семеро братьев и сестер воспитывались овдовевшей матерью, Агнес Хериот, о которой хотелось бы знать больше; поскольку правило, что у великих сыновей бывают великие матери, вероятно, справедливо в ее случае. Еще в деревенской школе Джордж подавал признаки будущей учености, а когда ему было всего четырнадцать, дядя Джеймс отправил его в Парижский университет. То были трудные времена; и юноши, или, скорее, мальчики, которые намеревались стать учеными, вели жестокую жизнь, в отчаянии брошенные на произвол судьбы, нищенствующие и голодающие, либо ради самоограничения и успеха, либо ради гибели тела и души. И жестокая жизнь была у Джорджа. В течение двух лет он тяжело заболел, его дядя умер, запасы прекратились; и шестнадцатилетний мальчик вернулся домой, он не рассказывает, как. Затем он попробовал себя в военной службе и участвовал вместе с французскими вспомогательными войсками Олбани в безуспешной атаке на замок Уорк. Возвращаясь по глубокому снегу, он снова заболел, из-за чего всю зиму пролежал в постели. Затем его с братом отправили в Сент-Эндрюс, где он получил степень бакалавра в девятнадцать лет. Следующим летом он снова отправился во Францию и “пал, - говорит он, - в пламя лютеранской секты, которая тогда распространялась повсюду”. Последовали два года нищеты, а затем три года преподавания в колледже Сен-Барб, который он увековечил — по крайней мере, для тех немногих, кто интересуется современной латинской поэзией, — в своей элегии ‘Страдания парижского преподавателя гуманитарных наук’. Несчастный учитель-регент, бледный и страдающий, не спит всю ночь, готовясь к лекции, грызя ногти и стуча кулаками по парте; и засыпает на несколько минут, чтобы вскочить при звуке четырехчасового звонка и быть в школе к пяти, со своим Вергилием в одной руке и розгой в другой, пытаюсь самостоятельно поработать над старыми рукописями и все время крича на своих несчастных мальчиков, которые обманывают его и платят друг другу за то, чтобы они отвечали за имена прогульщиков. В классе все не так. “Один босиком, у другого лопнул ботинок, другой плачет, третий пишет домой. Затем раздается розга, звуки ударов и вопли; и день проходит в слезах”. “Потом месса, потом еще один урок, потом снова побои; времени на еду почти не остается”. — У меня нет места, чтобы закончить картину глупого страдания, которое, по словам Бьюкенена, разрушало его интеллект, в то время как оно морило голодом его тело. Однако настали более счастливые дни. Гилберт Кеннеди, граф Кассилис, который, по-видимому, был благородным молодым джентльменом, взял его своим наставником на следующие пять лет; и вместе с ним он вернулся в Шотландию.

Но тут его прямота привела его, как это не раз случалось впоследствии, к неприятностям. Ему взбрело в голову написать, в подражание Данбару, латинское стихотворение, в котором святой

Франциск просит его во сне стать Седым монахом, и Бьюкенен ответил языком, имевшим неприятный недостаток в том, что он был слишком умным и — судя по свидетельствам современников — слишком правдивым. Монахи сначала ничего не сказали, но когда король Яков назначил Бьюкенена наставником одного из своих внебрачных сыновей, они, “люди, исповедующие кротость, отнеслись к этому вопросу несколько более сердито, чем подобает столь благочестивым людям по мнению народа”. Так говорит об этом сам Бьюкенен: “Но, надо отдать справедливость бедным монахам, они, должно быть, были ангелами, а не людьми, если они не корчились под бичом, который он наложил на них. Было тяжело слышать и выносить, когда ему говорили, что на небесах вряд ли найдется место для монахов. Они обвинили его перед королем в ереси, но, будучи тогда не в фаворе у Джеймса, они не получили ответа, и Бьюкенену было приказано повторить бичевание. Узнав, что монахов нельзя трогать безнаказанно, он написал, по его словам, короткое и двусмысленное стихотворение. Но король, любивший пошутить, потребовал чего-нибудь острого и язвительного, и Бьюкенен подчинился, написав, но не опубликовав ‘Францисканцев’, длинную сатиру, по сравнению с которой ‘Сомниум’ был мягким и милосердным. Разразилась буря. Кардинал Битон, по словам Бьюкенена, хотел выкупить его у короля, а затем, конечно, сжечь, как он только что сжег пять бедных душ: поэтому, зная алчность Джеймса, он бежал в Англию, спасаясь от разбойников и эпидемии.

Там он обнаружил, по его словам, “людей обеих фракций, сожженных в один и тот же день на одном костре” — простительное преувеличение — “Генрихом VIII, в преклонном возрасте больше заботившимся о собственной безопасности, чем о чистоте религии”. Итак, он снова отправился в свою любимую Францию, чтобы найти посла своего врага Битона в Париже. Столица была слишком жаркой, чтобы удержать его, и он бежал на юг, в Бурдо, к Андреа Говеа, португальскому директору колледжа Грюэнн. Как профессор латыни в Бурдо, мы видим, что он представляет Карлу V латинское стихотворение; и потворствует его пристрастию к латинской поэзии, которое сейчас кажется нам ребяческим педантизмом; что было тогда — когда латынь была обычным языком всех ученых — серьезным, если не совсем полезным занятием. О его трагедиях, столь знаменитых в свое время — ‘Крестителе’, “Медее”, “Иеффе” и “Алкестиде” — здесь нет ни места, ни необходимости говорить, разве что отметить смелые заявления в ‘Крестителе’ против тирании и священничества; и отметить также, что эти трагедии сделали бедному шотландцу в глазах лучших ученых Европы честь, доходящую почти до почитания. Вернувшись в Париж, он сразу же нашел себе занятие; и, как любят отмечать его шотландские биографы, “трое самых образованных людей в мире преподавали гуманизм в одном колледже”, а именно Турнеб, Мюретус и Бьюкенен.

Затем последовал странный эпизод в его жизни. В Коимбре, в Португалии, был основан университет, и Андреа Говеа был приглашен привезти туда всех французских ученых, которых он смог собрать. Бьюкенен отправился в Португалию со своим братом Патриком; еще два шотландца, Демпстер и Рамзи, и хорошая компания французских ученых, чьи имена и истории можно прочитать на страницах эрудированного труда доктора Ирвинга, отправились туда же. Год или около того все процветало в новом Храме Муз. Затем умер его верховный жрец Говеа; и в результате перипетий, слишком распространенных в те дни и в тех странах, Бьюкенен и двое его друзей неохотно переселились из Храма Муз в Храм Молоха и оказались в инквизиции.

Бьюкенен, кажется, сказал, что святой Августин был скорее лютеранином, чем католиком в вопросе о мессе. Он и его друзья ели мясо во время Великого поста, что, по его словам, делали

почти все в Испании. Но его подозревали, и не без оснований, как еретика; серые монахи образовали всего лишь одно братство по всей Европе; и новости от них распространялись уверенно, хотя и не быстро: так что история о сатире, написанной в Шотландии, достигла Португалии. Виновные были заключены в тюрьму, допрошены, над ними издевались — но не пытали — в течение полутора лет. К концу того времени доказательств ереси, по—видимому, оказалось недостаточно; но чтобы, - говорит Бьюкенен с искренней гордостью, — “за ними не сложилась репутация людей, напрасно мучивших не совсем неизвестного человека”, они отправили его на несколько месяцев в монастырь для обучения у монахов. “Эти люди, - говорит он, - не были ни бесчеловечными, ни дурными, но совершенно не разбирались в религии”; и Бьюкенен утешал себя в перерывах между их наставлениями, начиная свой латинский перевод Псалмов.

Наконец он освободился и попросил разрешения вернуться во Францию, но тщетно. Наконец, выбившись из сил, он сел на борт кандийского корабля в Лиссабоне и сбежал в Англию. Но Англия, по его словам, во времена анархии правления Эдуарда VI, была не той страной, которая ему подходила; и он вернулся в свою любимую Францию, чтобы осуществить надежды, которые он выразил в своем очаровательном “Desiderium Luitiae” и еще более очаровательном, потому что более простом “Приключении в Галлиаме”, в котором он в самых мелодичных стихах прощается с “голодными маврами несчастной Португалии и ее землями, плодородными только в нужде”.

Прошло около семи лет школьного обучения и сочинения стихов: Латинский пересказ Псалмов; еще один из “Алкестида” Еврипида; эпиграмм о браке бедной Марии Стюарт, благородном и искреннем, хотя и фантастическом и педантичном, в духе того времени; также “Помпезность” для ее свадьбы и других публичных церемоний, в которых фигурируют все языческие боги и богини; эпиграммы, панегирики, сатиры, большую часть из которых он предпочел бы обратить в прах. если бы на старости лет его слишком любящие друзья не убедили его переиздать рассказ о безумствах и грубости его юности. Теперь он был одним из самых известных ученых в Европе и близким другом всех великих литераторов. Должен ли он был дойти до конца, умереть и не более того? Должен ли он превратиться в простого педанта или, если он не сможет этого сделать, в простого придворного стихотворца?

Религиозные войны спасли его, как и многие другие благородные души, от этой деградации. События 1560-1-2 годов вынудили Бьюкенена, как и многих других ученых людей, сделать выбор, будет ли он дитем света или дитем тьмы; будет ли он дилетантом-классицистом или проповедником — это может быть мученик — Евангелия. Возможно, Бьюкенен покинул Францию во время “смуты” просто для того, чтобы насладиться в своей собственной стране элегантным и ученым отдыхом. Возможно, ему показалось, что он нашел это, когда он увидел себя, несмотря на свое публичное провозглашение приверженности реформированной Церкви, читающим Ливия каждый день после обеда со своей изысканной молодой монархиней; магистром, по ее милости, светских дел Кроссрагуэльского аббатства и по милости Мюррея, директора колледжа Святого Леонарда в Сент-Эндрюсе. Возможно, временами ему представлялось, что “завтрашний день будет таким же, как сегодня, и гораздо более обильным”; что с этого момента он мог бы читать свой фолиант, и писать свою эпигramму, и шутить свою шутку, как ленивый, довольный плюралист, совершая утреннюю прогулку на угол,

где был сожжен бедняга Уишарт, над синим морем и желтыми песками, и глядя на башню замка, откуда был вывешен труп его врага Битона; с приятной мыслью, что настали более спокойные времена и что на какие бы злодеяния архиепископ Гамильтон ни отважился бы совершить, он не посмел бы посадить директора школы Святого Леонарда в “бутылочную темницу”.

Если такие надежды когда-либо и приходили в голову острому воображению Джорди, то они были внезапно и страшно обмануты. Огонь, разгоревшийся во Франции, должен был распространиться и на Шотландию. “Революции не делаются розовой водой”; и приближалось время, когда все добрые умы Шотландии, и Джордж Бьюкенен среди них, должны были раз и навсегда выбрать, среди опасности, неразберихи, ужаса, будут ли они служить Богу или Маммоне; ибо служить и тому, и другому вскоре стало бы невозможно.

Известно, чью сторону в этой войне света и тьмы занял Джордж Бьюкенен. Тогда он увидел, как и другие с тех пор, что двумя мужчинами в Шотландии, которые были способны стать ее капитанами в борьбе, были Нокс и Мюррей; и им он отдал свое сердце и душу.

Это критическая эпоха в жизни Бьюкенена. Из-за его поведения по отношению к королеве Марии он должен выстоять или пасть. Я верю, что он выстоит. В мои намерения не входит вдаваться в подробности столь болезненного, столь шокирующего, столь грандиозного дела; и теперь, когда этот вопрос наконец разрешен благодаря трудам мистера Фрауда и мистера Бертон, нет необходимости упоминать о нем дальше, за исключением того, что касается имени Бьюкенена. Теперь можно испытывать всецелую симпатию к Марии Стюарт; можно с благоговением относиться к фигуре столь величественной, столь трагической, в каком-то смысле столь героической, — ибо она напоминает скорее героиню древней греческой трагедии, обреченную на гибель какой-то непреодолимой судьбой, чем существо из нашей собственной плоти и крови, из нашего нового христианского времени. Можно посочувствовать великой женственности, которая очаровывала стольких людей при жизни; которая очаровала в последующие годы стольких благородных душ, которые поверили в ее невинность и, несомненно, были возвышены и очищены своей преданностью тому, кто казался им идеальным существом. Человек, далекий от того, чтобы считать ее ненавистным персонажем, может чувствовать, что ему запрещено ненавидеть женщину, которую Бог, возможно, любил и, возможно, простил, судя по столь быстрому и в то же время столь длительному наказанию, которое Он наложил. По крайней мере, так должен верить тот, кто считает, что наказание - это знак милосердия; что самая ужасная из всех участв - безнаказанность. Более того, эти письма и сонеты из “шкатулки” могут принести облегчение тому, кто верит в ее виновность по другим причинам; облегчение, когда находишь в них нежность, мягкость, деликатность, великолепное самопожертвование, какими бы чудовищно неуместными они ни были, которые показывают, какое у нее было женское сердце; сердце, которое, соединенное с королевским умом, могло бы сделать ее благословением и славой Шотландии, если бы весь ее характер не был искажен и испорчен с детства воспитанием, настолько отвратительным, что любой, кто знает, какие слова подобрать к ней, она, должно быть, слышала, какие сцены она, должно быть, видела во Франции с юности, и удивится, что согрешила так мало, а не то, что согрешила так много. Одним словом, может показаться, что есть все оправдания для тех, кто утверждал невинность Мэри, потому что их собственное благородство не позволяло им поверить в ее виновность; но все же Бьюкенен на своем месте и в свое время, возможно, так же глубоко чувствовал, что он не мог поступить иначе, как поступил.

Обвинения против него, как хорошо известно всем читателям шотландской литературы, можно свести к двум главам. 1. Письма и сонеты были подделками. Мейтленд из Летингтона, возможно, подделал письма; Бьюкенен, по некоторым данным, сонеты. Кто бы их ни подделал, Бьюкенен использовал их в своем расследовании, зная, что они подделаны. 2-й. Независимо от того, была Мэри невиновна или нет, Бьюкенен сыграл низкую и неблагодарную роль, выдвинув себя на передний план среди ее обвинителей. Он был ее наставником, ее пенсионером. Она осыпала его милостями; и, в конце концов, она была его королевой и беззащитной женщиной; и все же он ответил на ее доброту в час ее падения бранью, достойной только злопамятного и безрассудного адвоката, решившего добиться вердикта с помощью самого низменного ораторского искусства.

Теперь что касается писем из “ларца”. Мне казалось, что они сами по себе являются лучшим доказательством подлинности. Я ничего не могу добавить к аргументам мистера Фрауда и мистера Бертон, кроме того, что никто, достаточно умный, чтобы быть фальсификатором, не стал бы составлять документы настолько бессвязные и неполные. Ибо доказательства вины, которые они содержат, в конце концов, незначительны и косвенны, и, более того, совершенно излишни; учитывая, что вина Мэри была очевидна до предполагаемого обнаружения писем каждому человеку в стране и за границей, который хоть сколько-нибудь знал об этих фактах. Что касается предполагаемого несоответствия писем доказанным фактам: ответ заключается в том, что тот, кто написал эти письма, с большей вероятностью знал факты, происходившие вокруг них, чем любой критик мог знать сто или триста лет спустя. Но если эти ошибки в отношении фактов действительно существуют в них, то они являются лишь новым аргументом в пользу их подлинности. Мэри, пишущая в агонии и смятении, легко могла допустить ошибку: фальсификаторы слишком тщательно следили за тем, чтобы ничего не допустить.

Но самое убедительное свидетельство в пользу писем и сонетов, несмотря на доводы доктора Уиттейкера и других апологетов Мэри, заключается в их тоне. Фальсификатор в те суровые дни заставил бы Мэри писать в духе какой-нибудь Семирамиды или Роксаны, совершенно чуждой нежности, деликатности, жалостливого смятения ума, сознательной слабости, умоляющей и самой женской доверчивости, которая делает письма для тех, кто — как я — верит в них, более трогательными, чем любые вымышленные горести, которые могли бы выдумать поэты. Более чем один штрих крайнего самоуничтожения во втором письме настолько неожидан, настолько утончен и все же настолько верен женскому сердцу, что, как было хорошо сказано, если это было придумано, то в Шотландии должен был существовать более ранний Шекспир; который, однако, умер, не оставив никаких других следов, добрых или злых, своего драматического гения.

Что касается теории (совершенно неподтвержденной) о том, что Бьюкенен подделал стихотворение, обычно называемое Сонетами; это слишком высокая оценка гению старого Джорди, каким бы разносторонним он ни был, чтобы поверить, что он мог написать и их, и Разгадку; в то же время слишком низкая оценка его проницательности, чтобы поверить, что он мог вставить в них, по простой небрежности или глупости, хорошо известную строчку, которая кажется несовместимой как с теорией писем, так и с теорией его собственного Разгадки; и которая до сих пор выдвигалась в качестве нового доказательства того, что Мэри невинность.

И, как в случае с письмами, так и в случае с сонетами: их деликатность, изящество, сдержанность — вот так много аргументов против того, что они были созданы каким-либо

шотландцем шестнадцатого века, и меньше всего тем, в характере которого - какими бы другими добродетелями он ни обладал - деликатность ни в коем случае не была самой сильной стороной.

Что касается жалобы на то, что Бьюкенен был неблагодарен Марии, то следует сказать: даже если она, а не Мюррей, даровала ему временные права аббатства Кроссрагуэл четыре года назад, это была просто справедливая плата за честно оказанные услуги; и я не знаю, чтобы оплата или даже одолжения, какими бы великодушными они ни были, связывали душу и совесть какого-либо человека в вопросах высшей морали и высшей общественной важности. И важность этого вопроса невозможно преувеличить. В тот момент, когда Шотландия, казалось, билась в предсмертных судорогах анархии, гражданской и религиозной, и была в опасности стать добычей либо Англии, либо Франции, если из ее сердца не удастся сформировать народ, стойкий, надежный, сплоченный, сильный политически, потому что сильный в страхе Божьем и желании справедливости, — в такой момент, как этот, было совершено преступление, подобного которому не слышали в Европе со времен трагедии Жанны Неаполитанской. Вся Европа была в ужасе. На карту была поставлена честь шотландской нации. Было известно, что в этом деле замешаны не только Мэри или Босуэлл; и, как выразился Бьюкенен в начале своего "De Jure Regni", "Вина нескольких человек была возложена на всех; и общая ненависть к конкретному человеку возымела действие на всю нацию; так что даже те, кто был далек от каких-либо подозрений, были воспламенены позором человеческих преступлений". {343}

Чтобы отстоять национальную честь и наказать виновных, а также спасти себя от полной анархии, подавляющее большинство шотландской нации приняло меры против Марии, которые требовали явного оправдания в глазах Европы, как откровенно признается Бьюкенен в начале своего "De Jure Regni". Главные инициаторы этих мер были призваны, возможно, неразумно и несправедливо, к ответу за свое поведение перед королевой Англии. Королева Елизавета — факт, который тогда был достаточно печально известен, хотя и был забыт до последних нескольких лет, — делала все возможное, чтобы защитить Марию. Бьюкенену, по-видимому, было поручено выступать от имени народа Шотландии; и, конечно, у народа никогда не было более способного апологета. Если он говорил яростно, безжалостно, следует помнить, что он говорил о жестоком и изуверском деле; если он использовал — и этим можно злоупотреблять — все искусство ораторского искусства, следует помнить, что он боролся за честь, а может быть, и за национальную жизнь своей страны, и наносил удары — поскольку мужчины в таких случаях имеют право на удары — так сильно, как только мог. Если он не делает секрета из своего негодования и даже презрения, следует помнить, что негодование и презрение вполне могли быть реальными по отношению к нему, в то время как они были реальны по отношению к самой здоровой части его соотечественников; к тому реформирующемуся среднему классу, сравнительно незапятнанному французской расточительностью, сравнительно непоколебимому феодальным раболепием, которое было той закваской, которая за последние три столетия придала всему шотландскому народу элементы его величия. Если, наконец, он выдвинет против несчастной королевы обвинения, которые мистер Бертон считает невероятными, следует помнить, что, как он правильно сказал, эти обвинения порождают общественное мнение о королеве Марии; и следует также помнить, что это общественное мнение не обязательно было полностью необоснованным. Истории, которые, слава Богу, кажутся невероятными в эти более спокойные дни, тогда были достаточно правдоподобны, потому что, увы! они так часто были правдой. Вещи более уродливые, чем все, что рассказывают о бедной Мэри, были вполне возможны — и никто не знал это лучше Бьюкенена

— при том самом французском дворе, при котором воспитывалась Мария; такие же уродливые вещи были возможны в Шотландии тогда и, по крайней мере, столетие спустя; и хотя мы можем надеяться, что Бьюкенен преувеличил свои аргументы, мы не должны слишком строго винить его за то, что он поддался искушению, общему для всех гениальных людей, когда их творческая сила достигает наивысшей силы благодаря великому делу и великому негодованию.

А в том, что гений был именно там, никто не может сомневаться; невозможно читать это “отвратительно красноречивое” описание Кирка о’Филда, которое мистер Бертон удачно выбрал в качестве образца стиля Бьюкенена, не видя, что мы имеем дело с гением очень высокого порядка: конечно, не самого высокого — ибо в творчестве Бьюкенена, как мне кажется, всегда присутствует недостаток бессознательности и нежности, — но все же гений, достойный того, чтобы его поставили рядом с теми древними писателями, от которых он перенял свою манеру письма. . Согласны мы или нет с его современниками, которые говорят, что в латинской поэзии он сравнился с Вергилием, мы можем справедливо поставить его как прозаика в один ряд с Демосфеном, Цицероном или Тацитом. Итак, я ухожу от этой болезненной темы; всего лишь процитирую — если мне будет позволено процитировать — мудрый и мягкий вердикт мистера Бертон в целом. “Бьюкенен, - говорит он, - хотя и был ревностным протестантом, в нем было много католического и скептического духа Эразма, а также восхищенный взгляд на все великое и прекрасное. Как и остальные его соотечественники, он преклонялся перед блеском, который окружал раннюю карьеру его любовницы. Он не раз выражал свою гордость и благоговение перед вдохновением гения, которого его современники считали достойным этой темы. Пожалуй, нигде в литературе нельзя найти столь торжественного напоминания о крушении надежд, о солнечном начале и бурном конце, какое можно найти, перелистывая страницы тома, содержащего прекрасную эпиграмму ‘*Nympha Caledoniae*’ в одной части и ‘*Detectio Mariae Reginae*’ в другой; и этот контраст, без сомнения, является точной параллелью реакции массового сознания. Эта реакция, по-видимому, была общей и не ограничивалась протестантской партией, поскольку условий, при которых вера в ее невиновность стала почти частью вероучения Римской церкви, не возникло”.

Если Бьюкенен, как полагали некоторые из его недоброжелателей, возвысился, потакая интригам регента Мюррея, лучшие головы Шотландии, похоже, придерживались иного мнения. Убийство Мюррея не было связано с падением Бьюкенена. Он отомстил за это, насколько пен мог это сделать, тем “Наставлением, адресованным лордам Тру”, в котором показал себя таким же великим мастером шотландской, как и латинской, прозы. Его сатира на ‘Хамелеона’, хотя ее публикация была остановлена Мейтлендом, должно быть, была прочитана в рукописи многими из тех же “Истинных лордов”; и хотя у Мейтленда были более благородные инстинкты, чем предполагал Бьюкенен, сатира дышала искренним негодованием против злодеяний этого коварного перебежчика, что не могло не рекомендовать автора всем честным людям. Поэтому, я полагаю, а не потому, что он был мошенником и наемным литературным спадассином, лучшим руководителем Шотландии он казался таким полезным, а может быть, и таким достойным человеком, что ему предоставлялась постоянно растущая работа. Как наставник Якова I; как директор, в течение короткого времени, канцелярии; как хранитель личной печати и член тайного совета; как один из уполномоченных по кодификации законов, и снова - поскольку в полуанархическом государстве Шотландия правительству приходилось делать все организационно — в комитете по распространению стандартной латинской грамматики; в комитете по реформированию Университета Святого Андрея: во всем этом таланты Бьюкенена снова и снова требовались; и всегда наготове. Ценность его работы, особенно реформы церкви

Святого Андрея, должны оценивать шотландцы, а не англичане: но все, что известно о ней, оправдывает приговор Мелвилла, вынесенный в хорошо известном отрывке из его мемуаров, где он описывает наставников и домочадцев молодого короля. “Мистер Джордж был философом-стоиком, который смотрел недалеко вперед”; проще говоря, это был благородный и здравомыслящий человек, стремившийся выполнять ближайший к нему долг. Худшее, что можно сказать против него в те времена, это то, что его имя фигурирует с суммой в 100 фунтов стерлингов против нее, как одного из тех, “кто должен был развлекаться в Шотландии за счет пенсий из Англии”; и Раддиман, конечно, комментирует этот факт, говоря, что Бьюкенен “в конце концов действовал под тройственным именем недовольного, реформатора и пенсионера”: но это не дает никаких доказательств того, что Бьюкенен когда-либо получал подобную взятку; и в том самом месяце, по-видимому, в котором был составлен этот список - 10 марта 1579 г. - Бьюкенен доказал всему миру, что его вряд ли можно подкупить, опубликовав книгу, которая, вероятно, была столь же оскорбительной для королевы Елизаветы, сколь и для его собственного королевского ученика, а именно его знаменитую *"De Jure Regni apud Scotos"*, самый главный учебник конституционной свободы, по мнению многих великих мыслителей. Он посвящает эту книгу королю Джеймсу, “не только как своему наставнику, но и назойливому и смелому взыскателю, который в эти его нежные и гибкие годы может безопасно провести его мимо скал лести”. Он уже похвалил Джеймса за его отвращение к лести, “его склонность намного выше его лет предпринимать все героические и благородные попытки, его быстроту в повиновении своим наставникам и губернаторам, а также всем, кто дает ему здравые наставления, и его рассудительность и усердие в рассмотрении дел, так что авторитет ни одного человека не может иметь для него большого веса, если он не будет подтвержден вероятными причинами”. Бьюкенен, возможно, думал, что девять лет его сурового правления избавили Джеймса от некоторых недугов; от раздражительности, которая заставила его убить хозяина *Mar's sparrow*, пытаясь вырвать его из его рук; от беспечности, с которой — если история, рассказанная Хитреусом от имени племянника Бьюкенена, верна — Джеймс отказался от своей короны в пользу Бьюкенена на пятнадцать дней и обнаружил свою ошибку, только увидев, как Бьюкенен изображает в открытом суде короля Шотландии. Бьюкенен, наконец, сделал из него ученого; возможно, он воображал, что сделал из него также мужественного человека; и все же он, возможно, боялся, что по мере взросления Джеймса старые склонности вернутся в более сильных и уродливых формах и что лесть может стать, как это, в конце концов, и было, причиной морального краха Джеймса. Он, по крайней мере, не будет льстить. Он начинает диалог, который отправляет королю, спокойным, но отчетливым утверждением вины своей матери и оправданием поведения людей, которые теперь в большинстве своем перестали помогать Бьюкенену, ибо они лежали в могилах; а затем переходит к беспристрастному, но твердому изложению в своего рода сократовском диалоге тех самых принципов, благодаря верности которым Дом Ганноверов правил и будет править в этих королевствах. Так и с его *"Историей Шотландии"*; более поздние антикварные изыскания свели на нет ценность более ранних ее частей; но они, несомненно, увеличили ценность тех более поздних частей, в которые Бьюкенен вставил так много того, что он уже высказал в своем *"Обнаружении Марии"*. В этой же книге, “Освободите животных”, он высказал свое мнение, не боясь последствий, перед лицом короля, которого он, должно быть, знал — ибо Бьюкенен не был тупицей — и относился к нему с глубокой неприязнью, который мог через несколько лет привести его к краху.

Но эти несколько лет были даны не Бьюкенену. Он почти выполнил свою работу и спешил покончить с ней до того, как наступит ночь, когда ни один человек не сможет работать. Нужно извиниться за то, что рассказываю — никто не стал бы рассказывать об этом в книге, предназначенной для чтения только шотландцами, которые уже знают или должны знать эту историю, — как двое Мелвиллов и племянник Бьюкенена Томас поехали навестить его в Эдинбурге в сентябре 1581 года, услышав, что он болен, а его история все еще публикуется в прессе; и как они обнаружили старого мудреца, верного своим инстинктам школьного учителя, обучающего игре на рогалике своего мальчика-слугу; и как он сказал им, что делать это “лучше, чем красть овец или сидеть без дела, что было так же плохо, как ,” и показал им посвящение Якову I., в котором он подражает своему герою, равного которому вряд ли можно было найти в истории, тому самому царю Давиду, чья щедрость по отношению к Римской церкви вызвала остроту Джеймса о том, что “Давид был саирским святым за корону”. Эндрю Мелвилл, по словам Джеймса Мелвилла, придрался к стилю. Бьюкенен ответил, что больше ничего не может поделаться, потому что думает о другом - о смерти. Затем они отправились в типографию Арбатнота и ознакомились с историей, вплоть до того ужасного отрывка о погребении Риццио, где Мария представлена как “кладущая негодяя чуть ли не на руки Мод де Валуа, покойной королеве”. Встревоженные, и не без оснований, такими откровенными словами, они остановили прессу и вернулись в дом Бьюкенена. Бьюкенен был в постели. “Он шел, - сказал он, - путем благоденствия”. Они попросили его смягчить этот отрывок; король мог запретить всю работу. “Скажи мне, парень, ” сказал Бьюкенен, “ сказал ли я правду”. Они не могли или не хотели этого отрицать. “Тогда я смирюсь с его враждой и со всей его родней; молись, молись Богу за меня, и пусть Он направляет все”. “Итак, - говорит Мелвилл, - с окончанием печати его хроники этот самый образованный, мудрый и благочестивый человек закончил свою земную жизнь”.

У Кэмдена есть история со слухами — написанная, следует помнить, во времена Якова I. — что Бьюкенен на смертном одре раскаялся в своих резких словах в адрес королевы Марии; и говорят, что пожилая леди Розит сказала, что когда она была молода, некий Дэвид Бьюкенен вспоминал, что слышал некоторые подобные слова из уст самого Джорджа Бьюкенена. Те, кто захочет, могут прочитать, что сказали Раддиман и Лав, причем пересказали, по обе стороны вопроса: к какому бы заключению они ни пришли, оно, вероятно, не будет тем, к которому приходит Джордж Чалмерс в своей книге “Жизнь Раддимана”: что “Бьюкенен, подобно другим лжецам, которых повторение лжи заставляет считать вымысел правдой, так часто с самодовольством останавливался на фальсификациях своих Разоблачений и выдумках своей истории, что в конце концов стал считать свои вымыслы и фальшивки самыми достоверными фактами”.

Во всяком случае, его выдумки и подделки не расплатились с ним той монетой, которую низкие люди обычно считают единственной ценной, а именно благами этой жизни. Он ничего не оставил после себя — если, по крайней мере, доктор Ирвинг правильно истолковал “Дательный падеж в завещании”, который он приводит в своем приложении, — кроме задолженности в размере 100 фунтов своей пенсии в Кроссрагуэле. Мы можем верить истории из ‘Шотландских писателей’ Маккензи, что, когда он почувствовал, что умирает, он спросил своего слугу Янга о состоянии его средств и, обнаружив, что у него недостаточно средств, чтобы похоронить себя, приказал раздать все, что у него было, бедным, и сказал, что если они не захотят похоронить его, то могут оставить его лежать там, где он был, или бросить в канаву, ему было все равно. Он был похоронен, кажется, за счет города Эдинбурга, на кладбище

Грейфрайарз — говорят, в простой дерновой могиле — среди мраморных памятников, которые покрывали кости худших или подлых людей; и независимо от того, действительно ли “Сквозной камень”, который, “погруженный под землю в Грейфрайарз”, был поднят и очищен советом Эдинбурга в 1701 году, принадлежал Джорджу Бьюкенену, правящие державы мало беспокоились о том, где он лежал в течение нескольких поколений.

Ибо политика Бьюкенена была слишком продвинутой для его возраста. Не только шотландцы-католики, такие как Блэквуд, Уинзет и Ниниан, но и протестанты, такие как сэр Томас Крейг и сэр Джон Уэмисс, не могли смириться с ‘Правлением де-Юре’. Возможно, на их стороне были какие-то причины. В тогдашнем анархическом государстве Шотландия организация и единство под общим руководством, возможно, были важнее, чем отстаивание прав народа. Как бы то ни было, в 1584 году, всего через два года после его смерти, парламент Шотландии осудил его Диалог и Историю как не соответствующие действительности и приказал всем владельцам копий сдать их, чтобы они могли быть очищены от “оскорбительных и экстраординарных материалов”, которые в них содержались. ‘De Jure Regni’ был снова запрещен в Шотландии в 1664 году даже в рукописи; а в 1683 году все политические труды Бьюкенена были удостоены чести быть сожженными Оксфордским университетом вместе с трудами Мильтона, Лангуэта и других как “пагубные книги и отвратительные доктрины, наносящие ущерб священным личностям принцев, их государству и правлению и всему человеческому обществу”. И таким образом, семя, которое посеял Бьюкенен, а Милтон поливал, — ибо утверждение, которое Милтон позаимствовал у Бьюкенена, вероятно, справедливо и в равной степени достойно уважения обоих, — лежало втоптаным в землю и казалось безжизненным, пока оно не взошло, и не расцвело, и не принесло плоды для благой цели во время революции 1688 года.

Ясной голове и отважному сердцу Бьюкенена Шотландия, как и Англия, обязана многим из своей современной свободы. Но долг Шотландии перед ним, как мне кажется, еще больше с точки зрения морали, общественной и частной. То, какой была мораль шотландских высших классов в первые дни правления Бьюкенена, слишком печально известно; и остается достаточно доказательств — в трудах, например, сэра Дэвида Линдсея, — того, что мораль населения, которое смотрело на дворян как на свой пример и проводника, была ничуть не лучше. По мере усиления анархии, безнравственность, вероятно, также возрастала; и Шотландии грозила серьезная опасность впасть в такое состояние, в какое впадала Польша в течение ста пятидесяти лет после этого; в котором дикость феодализма без его порядка или рыцарства была бы покрыта тонким слоем французской “цивилизации”, и, как в случае с Босуэлом, к порокам северного флибустьера добавились бы пороки парижского двора. Чтобы избавить Шотландию от этого разорения, было необходимо, чтобы она объединилась в единый народ, сильный не только политическими, но и моральными идеями; сильный ясным чувством добра и зла, верой в правительство и суды живого Бога. И тон, которого Бьюкенен, как и Нокс, придерживался в отношении великих преступлений своего времени, особенно способствовал национальному спасению. Он собрал воедино, организовал, укрепил разрозненные и колеблющиеся элементы общественной морали. Это успокоило сердца всех людей, которые любили добро и ненавидели зло; и научило целую нацию называть поступки их справедливыми именами, кто бы ни был их исполнителем. Это взывало к общей совести людей. Она провозглашала универсальную и данную Богом мораль, планку, по которой должны одинаково оцениваться все, от низших до высших.

Тон был суровым, но суровость была необходима. Моральная жизнь и смерть были на волоске. Если бы шотландскому народу сказали, что преступления, вызвавшие его негодование, простительны, или не подлежат наказанию, или должны быть каким-либо образом замалчиваемы, среди них наступил бы конец морали. Каждый человек, от великого до ничтожного, пошел бы и поступил бы так же, в соответствии со своими силами зла. Этот метод испытывался во Франции, а также в Испании, в те самые годы. Печально известные преступления замалчивались под предлогом лояльности; их оправдывали политической необходимостью; с улыбкой относились к естественным и простительным слабостям. Результатом стала полная деморализация как Франции, так и Испании. Нокс и Бьюкенен, один с точки зрения древнееврейского пророка, другой, скорее, с точки зрения Ювенала или Тацита, испробовали другой метод и называли поступки их справедливыми именами, взывая одинаково к совести и к Богу. Результатом стали добродетель и благочестие, а также та мужественная независимость души, которая, как считается, совместима с искренней преданностью, в стране, страдающей в тяжелых условиях, долгое время разделенной почти на два враждебных лагеря, на две соперничающие расы.

И вскоре доброе влияние проявилось не только у тех, кто был на стороне Бьюкенена и его друзей, но и у тех, кто больше всего выступал против них. Римско-католические проповедники, которые сначала отстаивали право Марии на безнаказанность, хотя и признавали ее вину, пристыженно замолчали и принялись утверждать ее полную невиновность; в то время как шотландцы, последовавшие их примеру, к их чести, придерживались той же точки зрения. Они боролись с Бьюкененом на основании фактов, а не на основании морали: они утверждали — и имели на это полное право — о вероятности интриг и подлога в столь расточительный век: о невероятности того, что королева, столь одаренная природой и фортуной, и, по общему признанию, долгое время такая сильная и незапятнанная, в результате внезапного помешательства оказалась настолько неверной самой себе. Их самые благородные и чистые симпатии были вызваны — и кто может винить их? — верностью королеве, рыцарством по отношению к женщине, жалостью к несчастным и, как они считали, невинным; но были ли они правы или нет в своем взгляде на факты, шотландские сторонники Марии всегда — насколько я знаю — были правы в своих взглядах на мораль; они никогда не снисходили до признания вины Марии, а затем до смягчения ее с помощью тех сентиментальных или, скорее, чувственных теорий о человеческой природе, которые слишком распространены в определенной школе. из французской литературы, — увы, слишком распространенный! в определенной школе современных английских романов. Они не сказали: “Она сделала это; но, в конце концов, был ли этот поступок таким уж непростительным?” Они сказали: “Поступок был непростительным, но она этого не делала”. И поэтому шотландские поклонники Мэри, среди которых было много чистых и благородных людей, а также много одаренных духом, сохранили, по крайней мере, самих себя незапятнанными; и показали, сознательно или нет, что они тоже разделяют то крепкое шотландское моральное чувство, которое было так сильно усилено — как я полагаю — простой речью старого доброго Джорджа Бьюкенена.

РОНДЕЛЕ, НАТУРАЛИСТ-ГУГЕНОТ{358}

“Аполлон, бог медицины, изгнанный с остальной части земли, однажды пересекал Нарбоннез в Галлии, стремясь обустроить там свою обитель. Изгнанный из Азии, Африки и остальной Европы, он скитался по всем городам провинции в поисках места, подходящего для него и его учеников. Наконец он увидел новый город, построенный на руинах Магуэллона, Латте и

Субстанции. Он долго обдумывал его местоположение, его вид, его окрестности и решил построить на этом холме в Монпелье храм для себя и своих священников. Все улыбнулись его желаниям. Благодаря гениальности почвы, характеру жителей, ни один город не подходит больше для культуры письма и, прежде всего, медицины. Какое место более восхитительно и прелестно? Чистое и улыбающееся небо; город, построенный с великолепом; люди, рожденные для всех трудов интеллекта. Повсюду бескрайние горизонты и очаровательные места — луга, виноградники, оливки, зеленые шампанские поля; горы и холмы, реки, ручьи, лагуны и море. Повсюду пышная растительность — повсюду богатейшие продукты земли и воды. Приветствую тебя, милый и уважаемый город! Радуйся, счастливая обитель Аполлона, распространяющего вдали свет славы твоего имени!”

“Эта прекрасная тирада, — говорит доктор Морис Рейно, из чьей очаровательной книги о ”Врачах времен Мольера“ я цитирую, — не является, как можно было бы подумать, переводом стихотворного произведения. Это просто часть публичной речи Франсуа Фаншона, одного из самых выдающихся ректоров медицинского факультета Монпелье в семнадцатом веке”. “С незапамятных времен, ” говорит он, “ ”факультет“ Монпелье отличался исключительной смесью священного и мирского. Тезисы, которые были поддержаны там, начинались с обращения к Богу, Пресвятой Деве и святому Луке и заканчивались следующими словами: ‘Этот тезис будет поддержан в священном Храме Аполлона”.

Но какими бы экстравагантными ни казались похвалы канцлера Фаншона своему родному городу, на самом деле они не преувеличены. Нарбоннез, или Лангедок, пожалуй, самый очаровательный район очаровательной Франции. На дальнем северо-востоке сверкают белые Альпы; на дальнем юго-западе - белые Пиренеи; а от пурпурных долин и желтых холмов Севенн на северо-западе Эро плавно спускается к “Этангам”, или большим лагунам с соленой водой, и обширным аллювиальным равнинам Камарга, полям Кая Мария, где до сих пор пасутся стада полудиких лошадей, происходящих от какого-то древнего римского племени; а за всем этим сверкает голубое Средиземное море. Огромные миндальные сады, весной каждый из которых окрашен в розовый цвет; шелковичные сады, оливковые сады, виноградники покрывают каждый фут доступной почвы на возвышенностях, за исключением тех мест, где неровные и засушливые низины покрыты тысячами душистых растений, из которых пчелы добывают знаменитый нарбоннский белый мед. Местные цветы и кустарники, обладающие красотой и богатством, скорее восточными, чем европейскими, сделали “Флору Монспелиенсис”, а вместе с ней и имена Ронделе и его учеников, известными среди ботаников; а диковинные рыбы и раковины на ее берегах дали Ронделе материалы для его бессмертного труда "Животные моря". Бесчисленные дикие птицы "Буш-дю-Рон"; бесчисленные певчие и другие перелетные птицы, многие из которых неизвестны на этих островах и даже на севере самой Франции, которые известны только благодаря им. обитают в каждой рощице ив и осин по берегам ручья; яркие и любопытные насекомые, которые процветают под этим ясным, яростным и в то же время бодрящим солнечным светом; все это превратило район Монпелье в дом, уготованный Природой для тех, кто изучает и почитает ее.

Не был введен в заблуждение патриотизмом и канцлер Фаншон, когда сказал, что приятные люди, населяющие этот район, пригодны для всех интеллектуальных трудов. Они очень смешанная раса, и, как большинство смешанных рас, к тому же сообразительны и красивы. Вероятно, среди них много римской крови, особенно в городах; ибо говорили, что Лангедок, или Нарбоннская Галлия, как его называли в старину, была более римской, чем сам Рим. Римские

руины более совершенны и более интересны — так говаривал покойный доктор Уэвелл — чем что-либо, что можно увидеть сейчас в Италии; а сама старая столица, Нарбонна, была полноценным музеем римских древностей до того, как Франциск I разрушил ее, чтобы укрепить город по современной системе против вторгшихся армий Карла V. В Лангедоке, должно быть, тоже много вестготской крови, поскольку вестготские короли держали там свои дворы с пятого века до того времени, когда их сокрушили вторгшиеся мавры. Испанская кровь также может быть; ибо большая часть Лангедока в раннем средневековье принадлежала тем потомкам Эда Аквитанского, которые утвердились как короли Майорки и Арагона; и Лангедок не стал полностью французским до 1349 года, когда Филипп Красивый купил Монпелье у этих властителей. Мавры тоже, возможно, оставили какие-то следы своей расы. Они владели страной примерно с 713 по 758 год н.э., когда были окончательно изгнаны Шарлем Мартеллом и Эдом. До сих пор можно увидеть их башни из скудного камня, возвышающиеся на величественной римской кладке тех старых амфитеатров, которые они превратили в крепости. Можно также увидеть — так гласит традиция — на тех самых амфитеатрах следы костров, которыми Карл Мартелл выкуривал их; и можно также увидеть или вообразить, что видишь в орлиных чертах лица, ярких черных глазах, гибких и грациозных жестах, которые так распространены в Лангедоке, некий налет древней магометанской расы, которая подобно наводнению пронеслась по этой христианской земле.

Независимо от того, оставили мавры после себя какие-либо следы своей крови или нет, они оставили после себя, по крайней мере, следы своей учености; ибо университет Монпелье утверждал, что был основан маврами в совершенно бездонной древности. Они смотрели на арабских врачей Средневековья, на Авиценну и Аверроэса, как на современных новаторов и вели свое происхождение от неких мифических докторов из Кордовы, которые, когда мавры были изгнаны из Испании в восьмом веке, бежали в Монпелье, принеся с собой традиции той первобытной науки, которая была открыта Адаму еще в Раю; и основали Монпелье, мать всех университетов Европы. Более того, некоторые пошли еще дальше и рассказали о Бенгессае и Феррагиусе, врачах Карла Великого, и о Марилефусе, главном враче короля Хильперика, и даже — если верить письму святого Бернарда — о некоем епископе, который еще во втором веке ездил консультироваться с врачами Монпелье; и было бы напрасно отвечать им, что в те дни и намного позже Монпелье еще не был построен. Факты, как говорят, таковы: еще в начале XIII века в Монпелье были свои школы права, медицины и искусств, которые были преобразованы в университет папой Николаем IV в 1289 году.

Университет Монпелье, как, я полагаю, и большинство зарубежных, больше походил на шотландский, чем на английский университет. Студенты жили, по большей части, не в колледжах, а в частных квартирах и образовывали собственную республику, управляемую аббатом из ученых, одним из них самих, избранным всеобщим голосованием. Они часто наводили ужас на респектабельных бюргеров, поскольку имели полное право носить оружие; и точно так же были чумой, поскольку, если они были в долгах, их кредиторам запрещалось конфисковывать их книги, которые вместе с их мечами обычно составляли все их имущество. Более того, если бы кто-нибудь открыл шумную или неприятную торговлю рядом с их жильем, ученые могли бы заставить городские власти выставить его вон. Вероятно, большинство из них были простыми мальчиками от двенадцати до двадцати лет, живущими бедно, усердно работающими и — по крайней мере, тех из них, кто учился в колледжах, — ежедневно жестоко избиваемыми, по моде того времени; но они, по-видимому, утешались в своих бедах тем, что вели разгульную жизнь вне школы, выезжали за город на праздники святых и время от времени

разыгрывали пьесы; особенно ту знаменитую, которую Рабле написал для них в 1531 году: “Нравственная комедия о мужчине, у которого была немая жена”, которая “доставляла радость”. пателинаж" остается по сей день в форме хорошо известной шуточной песни. Эту комедию юный Ронделе, должно быть, видел в действии. Сын аптекаря, торговца специями и бакалейщика — тогда эти три профессии были объединены — из Монпелье, родившийся в 1507 году, он был предназначен для монастыря, поскольку был болезненным юношей. Его дядя, один из каноников Магуэллона, расположенного неподалеку, даже передал ему доходы от небольшой часовни — работа по кумовству, которая была достаточно распространенной в те дни. Но его сердце было отдано науке и медицине. Еще совсем мальчиком он отправился учиться в Париж, а в возрасте восемнадцати лет вернулся в Монпелье, чтобы продолжить учебу.

В следующем 1530 году, когда он сам еще был ученым, он был назначен прокурором ученых — должность, которая приносила ему небольшой гонорар при каждом поступлении в университет, — и в том же году он получал гонорар, среди прочего, от одного из самых замечательных людей того или любого века, самого Франсуа Рабле.

И что мне сказать о нем? — который стоит особняком, подобно Шекспиру, в своем поколении; обладающий колоссальной образованностью — всеми науками, которые можно было почерпнуть в его дни; практической и государственной мудростью; знанием языков, древних и современных, превосходящим всех его коллег; красноречием, которое, когда он говорит о чистых и благородных вещах, становится героическим и, так сказать, вдохновенным; презрением к подлости, лицемерию, невежеству; уважением, подлинным и серьезным, к Священному Писанию и к более умеренным из числа христиан. Реформаторы, которые распространяли Священное Писание в Европе, — и весь этот великий свет умышленно спрятан не под бушелем, а под навозной кучей. Он чем-то похож на Сократа лицом и характером; в нем, как и в Сократе, полубог и сатир, человек и обезьяна борются за господство. У Сократа истинный человек побеждает и выходит высоким и чистым; у Рабле - увы! побеждает обезьяна, в то время как сам человек погружается в цинизм, чувственность, розыгрыши, сквернословие. Он возвращается в Париж, чтобы вести праздную, роскошную жизнь; умереть, — гласит легенда, — сказав: “Я отправляюсь на поиски великого”, и мало что оставить после себя, кроме школы пантагрюэлистов — беспечных молодых джентльменов, чьим идеалом было смеяться над всем, ни во что не верить и удовлетворять свои пять чувств, подобно животным, которые погибают. Есть те, кто читает его книги, чтобы рассмешить их; мудрый человек, когда он читает их, гораздо более склонен плакать. Пусть любой молодой человек, который увидит эти слова, вспомнит, что в нем, как и в Рабле, обезьяна и человек борются за господство. Пусть он примет предупреждение от судьбы того, кто был для него как великан для пигмея; и подумает о словах Теннисона:

“Встань и лети,
Шатающийся фавн, чувственный праздник;
Стремись ввысь, вырабатывая зверя,
И позволь обезьяне и тигру умереть”.

Но вернемся. Среди них там, в Монпелье, подобно сверкающему метеору, промелькнул этот замечательный Рабле в 1530 году. Некоторые говорят, что он бежал, спасая свою жизнь. Как и Эразм, он не собирался становиться мучеником и был в ужасе от казни бедного Луи де Беркена, своего друга, а также друга Эразма. Этот Луи де Беркен, человек, хорошо известный в те дни,

был галантным молодым джентльменом и ученым, занимавшим место при дворе Франциска I. Он перевел на французский труды Эразма, Лютера и Меланхтон и утверждал, что еретично призывать Деву Марию вместо Святого Духа или называть ее нашей Надеждой и нашей Жизнью, а эти титулы, по утверждению Беркена, принадлежат только Богу. Дважды доктора Сорбонны во главе с этим ужасным гонителем Ноэлем Бедой хватали беднягу Беркена и пытались сжечь его книги и его самого; дважды ангел в человеческом обличье, Маргарита д'Ангулем, сестра Франциска I., спасала его из их лап; но когда Франциск, взятый в плен в битве при Павии, наконец вернулся из своего плена в Испании, подавление ереси и сожжение еретиков показались ему и его матери, Луизе Савойской, благодарственным подношением, столь угодным Богу, что он был вынужден признать, что Бог не виноват в этом. Луи Беркен, который, несмотря на мольбы Эразма, не захотел выкупить свою жизнь молчанием, в конце концов был сожжен на Гревской площади, а сначала задушен, потому что был благородной крови.

Монпелье радостно принял своего знаменитого гостя. Рабле было теперь сорок два года, и он был выдающимся ученым; поэтому ему простили трехлетнюю студенческую карьеру и сразу надели красную мантию бакалавра. Эта красная мантия — или, скорее, ее потрепанный призрак — до сих пор демонстрируется в Монпелье, и ее должен носить каждый бакалавр, когда он получает ученую степень. К сожалению, антиквары уверяют нас, что драгоценное одеяние обновлялось снова и снова — студенты обрезали его по кусочкам в качестве реликвий и обрезали новые платья так же усердно, как их предшественники делали это с подлинного оригинала.

Несомненно, появление среди них такого человека для чтения лекций об афоризмах Гиппократ и "Ars Parva" Галена не по латинским переводам, которые тогда использовались, "а по оригинальным греческим текстам, с его собственными комментариями и исправлениями, должно было оказать большое влияние на умы студентов Монпелье; и еще большее влияние — и не совсем хорошее — должно было оказать непринужденное выступление Рабле, когда он бездельничал — так гласит история — в халате в общественном месте, подслушивая причудливые истории от погонщиков скота, с Севенн и деревенских жителей, которые пришли продать свои оливки и виноград, свой уксус и хворост из виноградных прутьев, как они делают по сей день. Возможно, ему во многом обязано глубокое уважение к естественным наукам, а также презрение к окружающим их суевериям, которое заметно в той группе великих натуралистов, которые в то время были мальчиками в Монпелье. Рабле, кажется, нравился Ронделе, и неудивительно: он был веселым, обаятельным, честным малым, очень любил шутки, был великим музыкантом и играл на скрипке, и которому, когда он разбогател, ничто так не нравилось, как привести в свой дом какого-нибудь шута или бродячего музыканта, чтобы тот подшутил над ним. Он был жизнерадостным, вспыльчивым, всепрощающим, обладал способностью к обучению и трудоспособностью, которые были потрясающими даже в те напряженные дни. Рабле подтрунивает над Ронделе под именем Рондибилис; ибо, действительно, Ронделе вырос в очень круглого, толстого, маленького человечка; но Рабле вкладывает в его уста превосходный смысл, достаточно циничный и чересчур циничный, но одновременно образованный и с чувством юмора; и, если он смеется над ним за то, что тот был шокирован предложением гонорара и, тем не менее, принял его достаточно любезно, Ронделе не первый врач, который это сделал, но и не последний.

Ронделе, в свою очередь, надел красную мантию бакалавра и, получив степень, получил причитающуюся ему долю кулачных боев от своих самых близких друзей, согласно древнему обычаю Университета Монпелье. Затем он отправился заниматься медицинской практикой в деревню у подножия Альп и, полуголодный, стал учить маленьких детей. Затем он обнаружил, что должен выучить греческий; во второй раз уехал в Париж и там несколько скрасил свою бедность, став наставником сына виконта де Тюренна. Там он познакомился с Гонтье из Андернаха, который преподавал анатомию в Лувене великому Везалиусу и научился у него анатомированию. Затем мы находим его начинающим врачом среди диких вулканических холмов Оверни, все еще борющимся с бедностью, как Эразм, как Джордж Бьюкенен, как почти каждый великий ученый тех дней; ибо студентам тогда приходилось скитаться с места на место, обычно пешком, в поисках новых учителей, в поисках книг, в поисках всего необходимого для жизни; подвергаясь такому количеству физического и умственного труда, что удивительно, что все они не умерли — как, несомненно, некоторые из них — от тяжелых тренировок или, в лучшем случае, не дезертировали из школы. скудные музы для отцовской лавки или пахоты.

Ронделе получил докторскую степень в 1537 году, а в следующем году влюбился в красивую молодую девушку по имени Жанна Сандре и женился на ней, которая, похоже, была такой же бедной, как и он.

Но тем временем он приобрел могущественного покровителя, а покровительство великих людей было тогда так же необходимо литераторам, как сейчас покровительство общественности. Гийом Пеллисье, епископ Магуэлона — или, скорее, самого Монпелье, куда он убедил Павла II отправиться. передать древний вид — был образцом литературного джентльмена шестнадцатого века; ученый, дипломат, коллекционер книг и рукописей на греческом, иврите и сирийском языках, которые составили первоначальное ядро нынешней библиотеки Лувра; также ботаник, любивший бродить с Ронделе, собирая растения и цветы. Он удалился от общественной жизни, чтобы заняться миром и наукой в Монпелье, когда за злыми днями его учителя Франциска I последовали еще худшие дни Генриха II и Дианы Пуатье. Эта Иезавель из Франции не могла придумать более естественного и легкого способа искупить свои собственные грехи, чем выслеживать еретиков и упиваться своими нечестивыми глазами — так говорят — их предсмертными муками. Епископ Пеллисье попал под подозрение в ереси: весьма вероятно, что это было справедливо. Он также попал под подозрение в том, что вел жизнь, недостойную церковника, соблюдающего целибат, — недостаток, который — если он действительно существовал - был в те дни достаточно простителен для ортодоксального прелата, но не для того, чья ортодоксальность вызывала подозрения. И какое-то время Пеллисье находился в тюрьме. После освобождения он посвятил себя науке вместе с Ронделе и школой учеников, которые росли вокруг него. Они вместе заново открыли Гарум, классический соус, хвалу которому в древности воспевали Гораций, Марциал и Авзоний; и столь детским, если хотите, суеверным было почитание классической древности в шестнадцатом веке, что когда Пеллисье и Ронделе обнаружили, что Гарум готовят из рыбы под названием Пикарель — рыбаки Антиба называют Гарона, а Джироли в Венеции — обе эти фамилии искажают латинское Gerres, - тогда два модных поэта Франции, Этьен Доле и Джироли в Венеции, открыли, что Гарум готовят из рыбы под названием Garon. Клеман Маро, не сочтите недостойным их музы воспевать соус, который в древности воспевал Гораций. Гордым был этот день и для Пеллисье и Ронделе, когда, бродя где-то по болотам Камарга, кроткий епископ уловил запах чеснока, а в прелестных розовых цветах водяного германтра он узнал Скордиум древних. “Это открытие, - говорит профессор Планшон, - наделало почти столько же шума, сколько открытие знаменитого Гарума;

ибо в тот момент наивного увлечения античностью заново открыть растение Диоскорида или Плиния было большой удачей и почти событием”.

Я не знаю, покоились ли кости доброго епископа после его смерти в какой-нибудь великолепной гробнице, украшенной неуместными полуязыческими статуями эпохи Возрождения; но, по крайней мере, несомненно, что ученики Ронделе вообразили для него памятник более долговечный, чем из мрамора или меди, более изящный и искусно выполненный, чем все скульптуры Торриджано или Челлини, Баччо Бандинелли или самого Микеланджело. Потому что они назвали прелестный маленький сиреневый львиный зев, *Linaria Domini Pellicerii*, “жабий лен лорда Пеллисье”; и мы можем верить, что это название он сохранит до тех пор, пока будут длиться зима и лето.

Но вернемся. К этому доброму покровителю, который был послом в Венеции, новобрачный Ронделе решил обратиться с просьбой о приеме на работу; и в Венецию он отправился бы, оставив свою невесту, если бы его не остановил один из тех ангелов, которые иногда ходят по земле в женском обличье. У Жанны Сандре была старшая сестра Катрин, которая воспитала ее. Она была замужем за богатым человеком, но своих детей у нее не было. В течение четырех лет она и ее добрый муж позволяли Ронделе жить у них, а теперь она овдовела, и расставаться с ними было выше ее сил. Она увела Ронделе от студентов, которые провожали его из города в целости и сохранности, привезла обратно, в тот же день выплатила ему половину своего состояния, а вскоре и все остальное, с единственным условием, что она будет жить с ним и своей сестрой. В течение многих лет после этого она присматривала за хорошенькой молодой женой и двумя ее дочерьми и тремя мальчиками — увы, тремя мальчиками! все умерли молодыми — и из-за самого Ронделе, который, погруженный в книги и эксперименты, совершенно беспечно относился к деньгам; и был для всех них матерью, советующей, направляющей, управляющей, к которой Ронделе относился с искренней благодарностью как к своему ангелу-хранителю.

Честь и удача, в мирском смысле этого слова, теперь посыпались на сына аптекаря. Пеллисье, его собственный епископ, был крестным отцом его первенца. Монлюк, епископ Валансский, и этот мудрый и образованный государственный деятель, кардинал Турнонский, несколько лет спустя стали крестными отцами его мальчиков-близнецов; и что было для него еще более ценным, кардинал Турнон возил его в Антверпен, Бордо, Байонну и не раз в Рим; и в этих своих итальянских путешествиях он собрал много фактов для великого труда своей жизни, "Истории рыб", которую он, вполне естественно, посвятил кардиналу. Эта книга с ее таблицами для своего времени является шедевром точности. Те, кто лучше всех знаком с предметом, говорят, что по сей день она является ключом ко всей ихтиологии Средиземноморья. Два других человека, Белон и Сальвиани, в то время работали над тем же предметом и опубликовали свои книги почти в одно и то же время; обстоятельство, которое, что было естественно, вызвало трехстороннюю дуэль между сторонниками трех естествоиспытателей, причем каждая сторона обвиняла другую в плагиате. Простой факт, по-видимому, заключается в том, что почти одновременное появление трех книг в 1554-1575 годах является одним из тех совпадений, неизбежных в моменты, когда многие умы подвижны в одном направлении одними и теми же великими мыслями, — совпадений, которые случаются в наши дни в вопросах геологии, биологии и астрономии; и которые, когда факты тщательно изучены и первый всплеск естественной ревности остыл, доказывают только то, что в одно и то же время в мире было больше мудрецов, чем один человек.

И этот шестнадцатый век был эпохой, когда умы людей внезапно и странно обратились к изучению чудес природы с серьезностью, с благоговением и, следовательно, с точностью, с которой они никогда раньше не исследовались. “Природа, - говорит профессор Планшон, - долгое время окутанная мистицизмом и схоластикой, открывала бесконечные перспективы. Новое суеверие, преувеличенное поклонение древним, почти препятствовало этому движению мысли к фактам. Тем не менее ученость сделала свое дело. Она заново открыла, реконструировала, очистила, прокомментировала тексты древних авторов. Затем последовали наблюдения, которые показали, что в одной травинке можно увидеть больше, чем на любой странице Плиния. Ронделе был в разгар этого кризиса человеком переходного периода, в то же время он был человеком прогресса. Он отразил прошлое; он открыл и подготовил будущее. Если он прокомментировал Диоскорида, если он остался верен теориям Галена, он основал в своей “Истории рыб” памятник, который уважает наш век. Он прежде всего вдохновитель, инициатор; и если ему нужен хоть один признак лидера школы, основа определенных научных доктрин, в его речи есть то, что лучше всех систем, коммуникативная сила, которая побуждает поколение учеников идти по пути независимых исследований, руководствуясь Разумом и Верой в цель”.

В те годы в окрестностях Ронделе, иногда даже в его доме — поскольку профессора в те дни брали частных учеников в качестве жильцов, — работала группа ботаников, которых Линней называет “Отцами”, авторами описательной ботаники шестнадцатого века. Их имена, имена их учеников и снова их учеников стали нарицательными в устах каждого садовода, увековеченные, подобно доброму епископу Пеллисе, в растениях, названных в их честь. Лобелия посвящена Лобелю, одному из самых известных учеников Ронделе, который написал ‘Состязания’, содержащие так много любопытных зарисовок ботанических экспедиций Ронделе, и который унаследовал его ботанические (как его биограф Жубер унаследовал его анатомические) рукописи. Магнолия увековечивает память магнолий; Саррацения, Сарразина Лионского; Баухиния, Жана Баухена; фуксия, более раннего немецкого мастера Баухена, Леонарда Фукса; а Клузия — полученное название того ужасного “Матапало”, или “шотландского адвоката”, из Вест-Индии, который убивает самое огромное дерево, чтобы оно само стало таким же огромным, - увековечивает великого Клузия, Шарля де л'Эскюза, гражданина Арраса, который после изучения гражданского права в Лувене, философии изучал богословие в Марбурге и Виттемберге под руководством Меланхтона, в 1551 году приехал в Монпелье, чтобы жить в собственном доме Ронделе и стать величайшим ботаником своего времени.

Это были лучшие дни Ронделе. Он построил анатомический театр в Монпелье, где сам проводил публичные вскрытия. По преданию, у него был небольшой ботанический сад, подобный тем, что возникли тогда в нескольких университетах, особенно в Италии. У него была вилла за городом, башня которой, недалеко от современного железнодорожного вокзала, до сих пор носит название “Mas de Rondelet”. Там же можно увидеть остатки больших резервуаров, питавшихся водой, подаваемой по земляным трубам из фонтана Альбе, где он держал рыб, за повадками которых наблюдал. Профессор Планшон считает, что у него тоже были резервуары с соленой водой; и таким образом, он, возможно, был отцом всех “Аквариумов”. У него был большой и красивый дом в самом городе, обширная врачебная практика по всей округе; деньги быстро поступали к нему и так же быстро утекали. Он много тратил на строительство, снос, перестройку и отправлял счета, по-видимому, своей жене и своему ангелу-хранителю Кэтрин. У самого у него никогда не было ни пенни в кошельке, но он зарабатывал деньги и позволял своим дамам тратить их; справедливое и приятное разделение

труда, которому не мешало бы подражать большинству женатых мужчин. Щедрый, любящий, беспечный человек, он раздавал, как говорит его ученик и биограф Жубер, свои ценные экземпляры любому ученому, который просил их или оставлял на растерзание посетителям, которые, как и слишком многие коллекционеры всех времен, обладали легкими пальцами и более светлой совестью. Тем временем он был таким миролюбивым и к тому же таким храбрым, что даже в страшные годы смуты он никогда не носил ни меча, ни даже тулупа или кинжала; но отправлялся в самые одинокие путешествия как человек, ведущий заколдованную жизнь, уверенный в Боге и в своем призвании, которое заключалось в исцелении, а не в убийстве.

Это были золотые годы жизни Ронделе, но на него надвигались неприятности, и после блестящего дня последовал бурный закат. Он потерял свою невестку, которой был обязан всем своим состоянием и которая с тех пор заботилась о нем и его жене как мать; затем он потерял саму жену при самых болезненных обстоятельствах; затем свою самую любимую дочь. Затем он снова женился и потерял сына, который у него родился; а затем, как и у многих лучших в те дни, его постигли еще более тяжкие испытания - испытания совести, испытания веры.

Ибо тем временем Ронделе стал протестантом, как и многие мудрейшие люди из его окружения; как, судя по событиям, большинство студентов университета и бюргеров Монпелье. Этому не стоит удивляться. Монпелье был своего рода промежуточным пристанищем протестантских проповедников, беглых или нет, которые направлялись из Базеля, Женевы или Лиона к небольшому протестантскому двору Маргариты Наваррской в По или в Нераке, где все мудрые и добрые люди, а иногда и некоторые глупые и фанатичные, находили приют и гостеприимство. Там побывал сам Кальвин, вероятно, проезжавший через Монпелье и оставивший — как и полагается такому человеку — за собой след своей ноги. В Лионе, недалеко вверх по Роне, Маргарита помогла создать организованную протестантскую общину; и когда в 1536 году она сама проезжала через Монпелье, чтобы навестить своего брата в Валенсе и лагерь Монморанси в Авиньоне, она взяла с собой своих собственных протестантских капелланов, которые говорили мудрые слова — возможно, она сама говорила мудрые слова — пылким и пытливым студентам Монпелье. Более того, Ронделе и его ученики в течение многих лет находились в постоянном общении с протестантскими учеными Швейцарии и Германии, среди которых познание природы прогрессировало так, как никогда раньше. Ибо — об этом факте следует помнить всегда — естественные науки могли расти и процветать только на свободном воздухе протестантских стран. Они действительно возникли в Италии после восстановления греческой литературы в пятнадцатом веке; но там они снова увяли слишком скоро под губительной тенью суеверия. Перенесенные на вольный воздух Швейцарии, Германии, Британии и Монпелье, тогда наполовину протестантского, они развивались быстро и уверенно просто потому, что воздух был свободным; но во Франции их снова остановило возвращение суеверий с добавлением деспотизма, вплоть до кануна великой Французской революции.

Итак, Ронделе несколько лет был протестантом. Он долгое время прятал в своем доме монаха, который покинул свой монастырь. Он сам писал богословские трактаты, но когда его епископ Пеллисе был заключен в тюрьму по обвинению в ереси, Ронделе сжег его рукописи и держал свое мнение при себе. И все же его подозревали в еретичестве, наконец-то, по-видимому, пользуясь дурной славой; ибо всего за год до смерти, направляясь навестить пациентов в Перпиньяне, он попал в засаду испанцев, и ему пришлось добираться домой обходными путями через Пиренеи, чтобы не попасть в руки инквизиции.

И в те времена человеку было необходимо соблюдать осторожность, если только он не решил сгореть. Более тридцати лет жизни Ронделе по соседству продолжались пожары; правда, с перерывами: приступы суеверной ярости сменялись, можно милосердно надеяться, жалостью и раскаянием; но поджоги все равно продолжались. Монах-бенедиктинец из Сен-Мора, который пишет историю Лангедока, довольно *мимоходом* рассказывает, как в 1553 году в Тулузе был сожжен некто, к счастью, только в виде чучела, поскольку он бежал в Женеву; но он добавляет: “в следующем году сожгли нескольких еретиков”, поскольку не стоит упоминать их имена. В 1556 году они заживо сожгли в Тулузе Жана Эскалье, бедного монаха-францисканца, который считал свой орден невыносимым; в то время как некто Пьер де Лавор, осмелившийся проповедовать кальвинизм на улицах Низма, был повешен и сожжен. Таким образом, число судебных убийств увеличивалось год от года, пока не должно было быть, как и все злые счеты в этом мире, погашено с лихвой, и особенно против невежественных и фанатичных монахов, которые на протяжении целого поколения в каждом университете и школе Франции громили здравую науку, равно как и здравую религию; и в Монпелье в 1560-1521 годах их долг был выплачен им самым безобразным образом. До горячих южан Лангедока дошла весть о так называемом амбуазском заговоре.— Как герцог де Гиз и кардинал Лотарингский истребили лучшую кровь Франции под предлогом изменнического заговора; как были арестованы король Наварры и принц де Конде; затем как Конде и Колиньи были готовы взяться за оружие во главе всех гугенотов Франции и попытаться прекратить это пожизненное истязание меткими выстрелами и холодным оружием; затем как через шесть месяцев король соберет генеральный совет для урегулирования вопроса между католиками и гугенотами. Гугеноты, догадываясь, чем это закончится, решили решить этот вопрос самостоятельно. Они восставали в одном городе за другим, разграбляли церкви, уничтожали изображения, силой подавляли суеверные процессии и танцы; и делали многое только для того, чтобы оправдаться раздражением, вызванным тридцатью годами жестокости. В Монпелье шли ожесточенные бои, убийства — так утверждают католические историки — священников и монахов, разграбление нового собора, разрушение благородных монастырей, которые кольцом окружали Монпелье. Город и университет оказались в руках гугенотов, и Монпелье тут же стал протестантским.

В следующем году последовал ответный удар. По всей округе шли тяжелые бои с католиками, были разрушены пригороды, грозила осада и разграбление, а также годы страданий и нищеты для Монпелье и всех, кто в нем находился.

Ужасным было положение Франции во времена религиозных войн, начавшихся в 1562 году; времена, о которых обычно говорят как о “Смутах”, как будто люди не хотели упоминать о них слишком открыто. Тогда и впоследствии в войнах Лиги совершались деяния, для которых на языке нет названия. Население уменьшалось. Земля оставалась невозделанной. Прекрасное лицо Франции почернело от сожженных усадеб и разрушенных городов. Отвратительные трупы рядами висели на деревьях или плыли по залитым кровью ручьям. Закону и порядку пришел конец. Шайки разбойников рыскали среди бела дня, и стаи волков тоже. Но, несмотря на все ужасы смуты, мы видим маленького толстого доктора, едущего безоружным навещать своих пациентов по всему Лангедоку; преодолевая огромные расстояния, как говорят его биографы, с помощью регулярных конных переходов, пока он тоже не сломался. Возможно, хорошо для него, что он сломался, когда это сделал; ибо взятие и отвоевание, резня и мор были судьбой Монпелье и прилегающей страны вплоть до лучших времен Генриха IV. и Нантский эдикт 1598 года, когда протестантам на некоторое время была предоставлена свобода вероисповедания.

Жарким летом 1566 года Ронделеций отправился в долгое путешествие в Тулузу, по-видимому, с благотворительным поручением, чтобы уладить какие-то юридические дела своих родственников. Санитарное состояние южных городов все еще достаточно плохое. Должно быть, это было ужасно в те дни варварства и беззакония. В Тулузе тогда была эпидемия дизентерии, и Ронделе заболел ею. Он с самого начала знал, что должен умереть. Говорят, он был измотан чрезмерным напряжением сил; скорбью о несчастьях страны; бесплодной борьбой за сохранение мира и стремление к умеренности в те дни, когда все люди были неумеренны. Но он уехал за день пути — у него ушло на это два дня, настолько он был слаб — под палящим июльским солнцем к больной жене друга в Рилмонт, а там слег в постель и умер смертью хорошего человека. Подробности его смерти и последней болезни были написаны и опубликованы его двоюродным братом Клодом Форми; и их стоит прочитать любому человеку, который хочет знать, как умереть. Ронделе не пожелал, чтобы известие о его болезни было отправлено в Монпелье. По его словам, он был счастлив умереть вдали от слез своих домашних и “в безопасности от оскорблений”. Можно предположить, что он боялся, как бы священники и монахи не ворвались к его постели и не попытались добиться какого-нибудь отречения от великого ученого, чести и славы их города. Поэтому они не послали за священником в Реалмон, но вокруг его постели собралась группа джентльменов-кальвинистов и священнослужителей, которые читали Священное Писание, пели псалмы Давида и молились; и Ронделе молился вместе с ними во время долгих мучений и так вернулся домой, к Богу.

Монах-историк бенедиктинец из Лангедока во всех своих объемистых трудах, насколько я могу найти, никогда не упоминает о существовании Ронделе. Зачем ему это? Этот человек был всего лишь сыном аптекаря и еретиком, который лечил болезни, собирал растения и написал книгу о рыбах. Но ученые мужи Монпелье и всей Европы были о нем совсем другого мнения. Его тело было похоронено в Реалмоне; но перед школами Тулузы установили белую мраморную плиту с надписью на ней, излагающей его ученость и добродетели; и ученые всей Европы сочинили ему эпитафии не только на французском и латыни, но и на греческом, иврите и даже халдейском.

Так жил и так умер благородный человек; более благородный, на мой взгляд, чем многие победоносные воины, или успешные государственные деятели, или канонизированные святые. Знать факты и лечить болезни были двумя целями его жизни. Ради них он трудился, как мало кто трудился; и он умер в упряжке, за своей работой — лучшая смерть, какая только может быть у человека.

АНАТОМ ВЕЗАЛИЙ

Я не могу начать рассказ о жизни этого великого человека лучше, чем с попытки описать сцену, столь живописную, столь трагичную в глазах тех, кто привык оплакивать человеческие глупости, столь комичную в глазах тех, кто предпочитает смеяться над ними, что читатель вряд ли забудет ни ее, ни действующих лиц.

Это затемненная комната в колледже Алькала, 1562 год, где лежит, вероятно, на огромной кровати с четырьмя столбиками, укрытый душными портьерами, предполагаемый наследник величайшей империи в тогдашнем мире Дон Карлос, единственный сын Филиппа II и предполагаемый наследник Испании, Нидерландов и всей Индии. Невысокий болезненный мальчик шестнадцати лет, с бычьей головой, кривым плечом, короткой ногой и жестоким нравом, мир не будет скучать по нему, если он умрет. Его распутная карьера, похоже, принесла

свое собственное наказание. К скандалу со стороны своего отца, который не терпел никаких пороков, кроме своих собственных, а также к скандалу со стороны университетских властей Алькалы, он рыскал по улицам во главе самых распутных студентов, оскорблял женщин, даже знатных дам, и подчинялся только своей очаровательной молодой мачехе, Елизавете Валуа, Изабель де ла Пас, как называют ее испанцы, дочери Екатерины Медичи и сестре короля Франции. Дон Карлос должен был бы жениться на ней, если бы его достойный отец не считал более выгодным для короны Испании, а также более приятным для него, Филиппа, жениться на ней самому. Откуда взялись душевные терзания, гнев, ревность, романы, клевета, из которых два последних - по крайней мере, в той мере, в какой они касаются бедной Элизабет, — ни один разумный человек теперь не верит ни единому слову.

Выполняя какое-то поручение, к которому у него не было никакого отношения — есть две истории, ни одна из них не заслуживает похвалы и не нуждается в повторении, — Дон Карлос упал с лестницы и разбил голову. Рядом со своей матерью-португалкой он происходит из дома, глубоко запятнанного безумием, и такая травма может иметь серьезные последствия. Однако в течение девяти дней рана заживала, и дон Карлос, изрядно испугавшись, по словам доктора Оливареса, *медика Камары*, очень хороший парень, питающийся куриным бульоном и сушеными сливами. Но на десятый день наступает онемение левого бока, острые боли в голове, а затем постепенно озноб, высокая температура, рожистое воспаление. Его голова и шея раздуваются до огромных размеров; затем наступает буйный бред, затем оцепенение, и Дон Карлос лежит как мертвый.

Современному хирургу, вероятно, благодаря той подготовке, отцом которой можно назвать Везалия, не составило бы особого труда выяснить, что случилось с несчастным юношей, и устранить зло, если бы оно не зашло слишком далеко. Но испанские врачи тогда, как и многие из них, как говорят, остаются до сих пор, так же сильно отставали от мира в хирургии, как и в других вещах; да и сама хирургия тогда находилась в зачаточном состоянии, потому что люди с тех пор, как вымерли ранние греческие школы Александрии, веками подпитывали свои умы чем угодно, а не фактами. Поэтому ученые морософы, собравшиеся вокруг постели больного дон Карлоса, по их собственному признанию, были совершенно сбиты с толку, напуганы и находились на пределе своих возможностей.

Согласно рассказу Оливареса, сегодня 7 мая, на восемнадцатый день после несчастного случая: он и доктор Вега пускали несчастному принцу кровь, увеличив рану вдвое и мучая его, по-видимому, только догадками. “Я верю, - говорит Оливарес, - что все было сделано хорошо, но, как я уже говорил, при ранах в голове образуются странные лабиринты”. Итак, 7-го числа они в отчаянии стоят вокруг кровати. Дон Гарсия де Толедо, верный губернатор принца, сидит рядом с ним, измученный бессонными ночами, и пытается подарить бедному мальчику ту материнскую нежность, которой он никогда не знал. Альва тоже там, суровый, замкнутый, самый ужасный и в то же время самый прекрасный. У него есть Бог на земле, и это Филипп, его учитель; и хотя он уже многое перенес от Дона Карлоса и должен будет вынести еще больше, все же несчастный юноша является для него сыном Божиим, вторым божеством, которое по божественному праву унаследует наследство первого; и он наблюдает, как это меньшее божество борется между жизнью и смертью с интенсивностью, о которой мы, в эти менее лояльные дни, не можем составить никакого представления. Было бы приятно взглянуть на то, что происходило в этом уме, таком тонком и безжалостном, таком дисциплинированном и таком

преданном к тому же: но Алва был человеком, которому было дано не высказывать свое мнение, а действовать.

Хотелось бы также взглянуть на то, что происходило в голове другого человека, который, согласно заявлению Оливареса, ежедневно находился в комнате больного с первого числа месяца: но у него было в течение нескольких прошедших лет даже больше причин, чем у Альвы, не высказывать своего мнения. Как он выглядел, мы хорошо знаем, потому что Тициан нарисовал его с натуры — высокий, смелый, хорошо одетый мужчина с благородным умом, квадратной и в то же время надменной фигурой, короткими вьющимися локонами и бородой, глазами, которые выглядят так, словно не боятся ни человека, ни дьявола — а у него были веские причины бояться и того, и другого, — и чертами лица, которые были бы чрезвычайно красивыми, если бы не вызывающий вздернутый нос. Что является Андреас Везалий, Брюссель, боялся и ненавидел врачей старой школы—подозреваю, более того, казалось бы, инквизиторы и богословы, которые, возможно, Алва сам; ибо он посмел препарировать человеческие тела; он оскорбил медиэвистов в Париже, Падуе, Болонье, Пизе, Венеции, в открытый театр; он превратил головы всех молодых хирургов в Италии и Франции; он написал большую книгу, с принтами в ней, предназначены, некоторые говорят, Тициана—они были на самом деле сделаны еще нидерландца, Иоанна Калькар, близ клеве,—в которых он осмелился доказать, что анатомия Галена был виноват во всем, и что он был описании обезьяна внутри, когда он притворился, характеризующих человека, и, таким образом, от наглости и шарлатанство, он вполз сам—это нидерландца, еретиком в глубине души, как все голландцы, которые, к Богу, а также Гален—в доверие покойного императора Карла V., и пошла агитация с ним в качестве одного из своих врачей, anatomising человеческих тел, даже на поле битвы, и порча по подобию божества; и хуже того, наиболее религиозный царь Филипп обманул его так же, и держит его в Мадриде в богатстве и чести; а теперь, в княжеском крайней опасности, король действительно послал за ним, и велено ему попробовать свое мастерство,—человек, который ничего не знает о сохранении костей и мышц и вне тела, и недостойн имени врача.

Можно представить себе ярость старых испанских педантов при появлении голландца и еще больше при том, что за этим последовало, если верить Хьюго Блету из Делфта, его соотечественнику и современнику.^{390} Везалий, по его словам, увидел, что хирурги так туго перевязали рану, что снаружи черепа образовался абсцесс, который не мог прорваться: он утверждал, что единственная надежда заключалась в его вскрытии; и сделал это, после разрешения Филиппа, “двумя поперечными разрезами”. Затем парень пришел в себя, словно пробудившись от глубокого сна, и подтвердил, что своим возвращением к жизни он обязан немецкому врачу”.

Дионисий Даза, который был там вместе с другими врачами и хирургами, рассказывает другую историю: “Самый ученый, знаменитый и редкий барон Везалий”, - говорит он, - посоветовал провести трепанацию черепа, но его совету не последовали.

Рассказ Оливареса совпадает с рассказом Даса. По его словам, они вскрыли раны до самого черепа еще до прихода Везалия. Везалий настаивал на том, что рана находится внутри черепа, и хотел проткнуть его. Оливарес тратит много труда, доказывая, что у Везалия “не было серьезных оснований для своего мнения”, но признается, что он никогда не менял этого мнения до последнего, хотя все испанские врачи были против него. Затем 6—го, по его словам, из Мадрида приехал бакалавр Торрес и посоветовал еще раз обнажить череп; а 7—го, поскольку

все еще оставались сомнения в том, что череп не поврежден, операция была проведена - кем именно, не сообщается, - но без какого-либо хорошего результата или, по словам Оливареса, без каких-либо открытий, за исключением того, что Везалий ошибся и череп не пострадал.

“Была ли эта вторая операция 7 мая проведена Везалием и была ли она той, о которой говорит Блут, остается открытым вопросом. Вся реляция Оливареса носит апологетический характер, написана для того, чтобы оправдать себя и семерых своих испанских коллег и доказать неправоту Везалия. Общественное мнение, по его признанию, было настроено против него очень жестко. На карту была поставлена репутация испанской медицины, и мы не обязаны безоговорочно верить документу, составленному при таких обстоятельствах для глаз Филипа. По крайней мере, мы пришли к выводу, что Дон Карлос никогда не подвергался трепанации, как обычно говорят; и также, что какая бы из двух историй ни была правдивой, это в равной степени ставит Везалия в прямую и крайне неприятную неприязнь к испанским врачам.”{392}

Но дон Карлос все еще лежал без чувств; и, поддавшись всеобщему возмущению, врачи призвали на помощь некоего мавританского врача из Валенсии по имени Приотарете, чьи мази, как сообщалось, привели ко многим чудесным исцелениям. Однако мазь, к ужасу врачей, обожгла череп так, что кость стала черной, как чернила; и Оливарес заявляет, что, по его мнению, это был препарат из чистой едкости. Утром 9 мая мавр и его мази были отправлены “в Мадрид, чтобы отправить на небеса Эрнандо де Вегу, в то время как принц вернулся к нашему методу лечения”.

Принимая во внимание то, что произошло утром 10 мая, мы должны теперь предположить, что второе вскрытие абсцесса, произведенное Везалием или кем-то другим, ослабило давление на мозг; что последовал критический период истощения, вероятно, продленный преждевременным введением мавром едкого укола, который остановил нагноение; но что доброе дело рук Божьих, называемое природой, наконец восторжествовало; и поэтому случилось так, что принц был вне опасности в течение трех дней после операции. Но, похоже, его учили приписывать свое выздоровление совсем иному источнику, чем немецкий нож. Ибо утром 9-го, когда мавр ушел, а Дон Карлос лежал, казалось, безжизненный, в его комнату спустился Бог и машина, или, скорее, целый пантеон больших или меньших божеств, которым предстояло совершить то, чего, казалось, не удалось врачебному искусству. Филипп прислал в покои принца несколько драгоценных реликвий, которые он обычно носил с собой. Чудотворный образ Пресвятой Девы Аточской, в расшитых одеждах, ради которого испанские члены королевской семьи, мужчины и женщины, потратили столько часов до сих пор, был торжественно пронесен и водружен на алтарь в ногах кровати принца; а после полудня туда же вошла процессия с ракой, содержащей кости святого отшельника, некоего Фрая Диего, “чья жизнь и чудеса, - говорит Оливарес, - пользуются такой дурной славой”; и кости святого Юстуса и святого Пастора, святых-покровителей университета Алькалы. Во время торжественных литаний мощи отца Диего были возложены на подушку принца, а судариум, или погребальная ткань, закрывавшая его лицо, был возложен на лоб принца.

Современная наука могла бы возразить, что присутствие стольких персонажей, какими бы благочестивыми они ни были, в палате больного жарким майским днем в Испании, особенно учитывая, что баня на протяжении нескольких поколений вызывала религиозный ужас по всей Испании как признак мавританских и мусульманских тенденций, могло несколько снизить

шансы бедного мальчика на выздоровление. Тем не менее это событие, по-видимому, оправдало самые большие надежды Филиппа; ибо в ту же ночь (так впоследствии рассказывал Дон Карлос) святой монах Диего явился ему в видении, одетый в рясу святого Франциска и держащий в руке крест из тростника, перевязанный зеленой лентой. Принц заявил, что сначала он принял это видение за видение блаженного святого Франциска; но, не увидев стигматов, он воскликнул: “Как? Разве на тебе нет следов ран?” Что он ответил, дон Карлос не помнил, за исключением того, что тот утешал его и говорил, что он не умрет от этой болезни.

Филипп вернулся в Мадрид и с горя заперся в большом монастыре иеронимитов. Елизавета молилась за своего пасынка перед чудотворными образами того же города. В ночь на 9 мая во всех церквях Толедо, Алькалы и Мадрида были вознесены молитвы за дона Карлоса. Альва всю ту ночь простоял в ногах кровати. Дон Гарсия де Толедо сидел в кресле, где он просиживал день и ночь вот уже более двух недель. Добрый наставник, Онорато Хуан, впоследствии епископ Осмы, боролся в молитве за мальчика всю ночь напролет. Его молитва была услышана: вероятно, на нее уже был дан ответ, хотя он и не подозревал об этом. Как бы то ни было, на рассвете тяжелое дыхание дона Карлоса прекратилось; он погрузился в спокойный сон, а когда он проснулся, все сразу поняли, что он спасен.

Зрение к нему не возвращалось, по-видимому, из-за рожистого воспаления, еще неделю. Затем он открыл глаза при виде чудесного образа Аточи и поклялся, что, если выздоровеет, он отдаст Пресвятой Деве в четырех разных святилищах Испании золотую тарелку в четыре раза больше своего веса и серебряную тарелку в семь раз больше своего веса, когда встанет со своего ложа. Итак, 6 июня он встал, и его взвесили в меховой шубе и мантии из дамаста, и его вес составил три арробы и один фунт - всего семьдесят шесть фунтов. 14 июня он отправился навестить своего отца в епископальном дворце; затем посетил все церкви и святилища Алькалы и, конечно, храм отца Диего, тело которого, как говорят, он некоторое время созерцал с назидательной преданностью. В следующем году отец Диего был канонизирован как святой по заступничеству Филиппа и его сына; и таким образом Дон Карлос вернулся в мир, чтобы наводить ужас и мучение на всех окружающих и умереть - не от жестокости Филиппа, как об этом слишком поспешно сообщали его враги, но оправданно, поскольку они знали, что он способен на любое злодеяние, — а просто от конституционного безумия.

А теперь давайте вернемся к истории “этого самого ученого, знаменитого и редкого барона Везалия”, который стоял рядом и видел, как все это происходило; и попробуем, если у нас не получится, после того, как мы узнаем историю его ранней жизни, угадать некоторые из его вероятных размышлений над этим знаменитым клиническим случаем; и предположим также, как эти размышления могли серьезно повлиять на события его последующей жизни.

Везалий (как я уже сказал) был нидерландцем, родившимся в Брюсселе в 1513 или 1514 году. Его отец и дед были врачами самого высокого положения в профессии, которая тогда, как и сейчас, обычно передавалась по наследству. Его настоящая фамилия была Виттаг, он происходил из древнего рода Везель на Рейне, от имени которого либо он, либо его отец переняли фамилию Везалий, согласно классической моде тех дней. Юного Везалия отправили в колледж в Лувене, где он быстро учился. В шестнадцать или семнадцать лет он знал не только латынь, но и греческий достаточно, чтобы исправить доказательства Галена, и арабский достаточно, чтобы познакомиться с трудами мусульманских врачей. Он также был физиком и

математиком, согласно знаниям того времени; но его страстью — изучением, которому ему было суждено посвятить свою жизнь, — была анатомия.

Мало или вообще ничего (это следует понимать) не делалось в анатомии со времен Галена Пергамского, во втором веке после Рождества Христова, и очень мало даже им самим. У древних вскрытие было практически запрещено. Египтяне, сообщает нам Геродот, обычно преследовали бальзамировщиков камнями и проклинали их, как только они выполняли свою неприятную работу; и хотя Герофил и Эрасистрат, как говорят, препарировали многих людей под покровительством Птолемея Сотера в самой Александрии, общественное мнение греков, как и римлян, оставалось таким же, как и у древних египтян; и Гален был склонен — как доказал Везалий — дополнить свое невежество в отношении человеческого строения описанием строения обезьяны. Вскрытие также было запрещено среди мусульман; и великие арабские врачи не могли сделать ничего большего, чем прокомментировать Галена. Тот же предрассудок распространился и в средние века. Все врачи были клерками, *clerici*, и как таковым им запрещалось проливать кровь. Единственное вскрытие, насколько мне известно, сделанное в средние века, было сделано Мандином в 1306 году; и его последующие комментарии к Галену — ибо он осмеливается позволить своим глазам увидеть не больше того, что Гален видел до него, — составляли лучшее анатомическое руководство в Европе до середины пятнадцатого века.

Затем, по крайней мере в Италии, классический Ренессанс вдохнул новую жизнь в анатомию, как и во все другие науки. Усовершенствования в живописи и скульптуре особенно подтолкнули людей к более тщательному изучению человеческого телосложения. Леонардо да Винчи написал трактат по анатомии мышц: художник и скульптор часто работали вместе и воплотили в жизнь набросок Микеланджело, в котором он сам помогает препарировать Фаллопия, знаменитого ученика Везалия. Везалий вскоре обнаружил, что его жажда фактов не может быть утолена теориями средневековья; поэтому в 1530 году он отправился в Монпелье, где Франциск I только что основал медицинскую школу и где древние законы города разрешали преподавателям каждый год пользоваться телом преступника. Оттуда, став соучеником и другом Ронделе, а также, вероятно, Рабле и других светил Монпелье, о которых я говорил в своем эссе о Ронделе, он вернулся в Париж, чтобы учиться у старого Сильвиуса, чье настоящее имя было Жак Дюбуа, *псевдоним* Джок о'Вуд; и научиться в анатомическом театре меньшему — как он сам жалуется — чем мясник мог бы научиться в своей лавке.

Если бы не тот факт, что весь вопрос вскрытия — это тот вопрос, над которым справедливо было бы благоговейно приоткрыть завесу, как над делом болезненным, каким бы необходимым и каким бы невинным оно ни было, было бы легко вызвать у многих читателей жуткий смех историями, которые сам Везалий рассказывает о своих попытках изучить анатомию. — Как старый Сильвий пытался отличить человеческое телосложение от собачьего, тщетно пытаясь нащупать мышцы, которых он не мог найти или которые, согласно Галену, должны были там быть, но их не было; в то время как молодой Везалий, как только старый педант поворачивался спиной, занимал его место и, к радости студентов, находил для него — при условии, что они там были, — то, чего он не мог найти сам; — как он похищал тела и виселицы, часто с опасностью для своей жизни, как тогда, когда он и его друг были убиты. почти растерзанный собаками-каннибалами, обитавшими на холме Монфокон, или месте публичной казни; — как он долгим и опасным путем приобрел единственный в то время совершенный скелет в мире и отвратительную историю грабителя, которому он принадлежал, — обо всех этих ужасах те, кто перечисляет, могут сами прочитать в другом месте. Я спешу пропустить их мимо ушей с этим

замечанием — то, что он прошел через трудности, опасности и отвращение, с которыми столкнулся Везалий, доказывало в суеверный и жестокий век, подобный его, отсутствие обычного физического и морального мужества и глубокого сознания того, что он поступает правильно и должен делать это с любым риском перед лицом поколения, которое, особенно безрассудно относясь к человеческой жизни и человеческим мукам, позволило тому, что оно называло образом Божьим, подвергаться пыткам, увечьям, осквернению всеми способами при жизни; и все же — борясь с комаром после того, как проглотило его. верблюд—запретил осматривать его мертвым, хотя и с целью облегчения страданий человечества.

Начало войны между Франциском I и Карлом V. вынудило Везалия вернуться на родину, в Лувен; и в 1535 году мы слышим о нем как о хирурге в армии Карла V. Скорее всего, он видел вторжение императора в Прованс и катастрофическое отступление из укрепленного лагеря Монморанси в Авиньоне через страну, в которой этот хитрый полководец уничтожил все продукты питания, кроме недозрелого винограда. Возможно, он видел испанских солдат, одинаково отравленных кислыми фруктами и палящим солнцем, сотнями падающих на белых дорогах, ведущих обратно в Савойю, убитых крестьянами, чьи усадьбы были разрушены, задыхающихся под тяжестью собственных доспехов или отчаянно пытающихся собственными руками вырваться из мира, который стал невыносимым. Половина армии погибла. Только между Эксом и Фрежюсом лежали две тысячи гниющих трупов. Если юный Везалий нуждался в “подданных”, то честолубия и преступлений человека оказалось достаточно в те пылающие сентябрьские дни.

Он отправился в Италию, вероятно, с остатками армии. Где бы он скорее всего хотел оказаться? Наконец—то он был в стране, где человеческий разум, казалось, снова становился молодым; стране возрожденных искусств, возрожденных наук, образования, языков; и — хотя, увы, лишь на время - возрожденной свободной мысли, какой Европа не видела со времен расцвета Греции. Здесь, по крайней мере, его оценили бы; здесь, по крайней мере, ему позволили бы думать и говорить: и его оценили. Итальянские города, которые тогда, подобно древним афинянам, “ни на что не тратили свое время, кроме как на то, чтобы услышать или рассказать что-то новое”, приветствовали отважного молодого Фламандца и его новинки. В течение двух лет он был профессором анатомии в Падуе, тогда первой школе в мире; затем в Болонье и Пизе одновременно; наконец, в Венеции, где Тициан написал его портрет, сохранившийся по сей день.

Эти годы были для него постоянным триумфом; повсюду, как он демонстрировал на "человеческом теле", студенты толпились в его театре или вертелись вокруг него, когда он ходил по улицам; профессора покидали свои кафедры — их ученые уже покинули их — чтобы идти и смиренно или с завистью слушать человека, который мог дать им то, чего жаждали все храбрые души по всей половине Европы, и жаждали напрасно: факты. И так, год за годом, воплощалась в жизнь сцена, выгравированная на фронтисписе его великой книги, где в маленьком причудливом театре Чинквеченто дерзкие ученые, преподобные врачи, веселые джентльмены и даже монахи в капюшонах толпятся на полу, заглядывают друг другу через плечи, висят на балюстрадах; в то время как в центре, над своим “объектом”, который один из тех же монахов в капюшонах знал слишком хорошо, стоит юный Везалий, прямой, гордый, почти вызывающий, как человек, знающий, что находится в безопасности в неприступной цитадели бога. факт; и в его руке маленький стальной клинок, предназначенный — поскольку им владеют в соответствии с законами природы, которые являются законами Бога, — принести человечеству больше

пользы, чем все мечи, которые обнажались в те дни или, возможно, в какие—либо другие по приказу большинства католических императоров и большинства христианских королей.

То были действительно дни триумфа Везалия; триумфа заслуженного, потому что заработанного терпеливым и аккуратным трудом на благом поприще: но Везалий, будучи всего лишь смертным человеком, возможно, заразился в те же дни властным характером и самомнением, которые он проявил впоследствии, когда его ученик Фаллопий осмелился дополнить открытия своего учителя новыми. И все же, несмотря на все, что знал Везалий, как мало он знал! Каким унижением для его гордости было бы, если бы он знал тогда — возможно, он знает и сейчас, — что он действительно снова и снова ходил, так сказать, по кругу вокруг истинной теории кровообращения и все же никогда не видел ее; что это открытие, однажды сделанное и понятное, насколько вообще любой феномен понятен простому крестьянину, было приберегнуто для другого столетия и для одного из тех англичан, на которых Везалий посмотрел бы как на полуварваров.

Короче говоря, через три года после публикации своей знаменитой книги "О человеческих корпорациях" он покинул Венецию, чтобы вылечить Карла V в Регенсбурге, и стал одним из врачей великого императора.

Это был переломный момент в жизни Везалия. Лекарство, с помощью которого он лечил, было китайским — Сарсапарилья, как мы ее теперь называем, — привезенное домой с недавно открытых берегов Парагвая и Уругвая, где, как говорят, заросли переплетенных виноградных лоз придают чистой воде темно-коричневый оттенок, похожий на торфяной, и превращают целые ручьи в целебное и приятное тонизирующее средство. О достоинствах этого Фарфора (тогда считавшегося корнем) Везалий написал знаменитую небольшую книгу, в которую он ухитрился вплести свои мнения о вещах в целом, как впоследствии сделал добрый епископ Беркли в своем эссе о достоинствах дегтярной воды. Однако в этой книге Везалий рассказал — в отличие от епископа Беркли — много, и, возможно, даже слишком много, о себе; и много, хотя, возможно, и не слишком много, о бедном старом Галене и о том, что он заменил внутренности обезьяны внутренностями человека. Давно собиравшаяся буря обрушилась на него. Старая школа, трепещущая за свое освященное веками правление, со всем педантизмом, невежеством и завистью обругала человека, который осмелился не только произвести революцию в хирургии, но и вмешаться в привилегированные тайны медицины; и, более того, стать фаворитом при дворе величайшего из монархов. В то время как такие, как Евстахий, сам способный первооткрыватель, могли присоединиться к этому крику, неудивительно, что низшая душа, подобная душе Сильвия, вела его с открытым ртом. Он был подлым, алчным, порочным человеком, как хорошо знал Джордж Бьюкенен; и, в соответствии со своей натурой, он написал яростную книгу 'Ad Vesani calumnias depulsandas'. Каламбурное превращение Везалия в Везануса (безумца) было всего лишь справедливым и мягким ходом в полемике в те дни, когда те, кто не мог убить своих врагов сталью или порохом, считали себя вправе делать это, по возможности, бранью, оскорблениями и всеми способами моральных пыток. Но гораздо более страшным оружием, которое привело Везалия в ярость и, возможно, впервые в его жизни привело в трепет, было обвинение в нечестии и ереси. Инквизиция была очень уродливым местом. Попастъ в нее было очень легко, особенно для голландца: но не так-то легко выбраться. Действительно, Везалий, должно быть, задрожал, когда увидел, как его господин, Карл V., сам испугался и фактически призвал теологов Саламанки решить, законно ли препарировать человеческое тело. Монахи, к их чести, воспользовались здравым смыслом и

ответили утвердительно. Поступок был настолько явно полезным, что также должен быть законным. Но Везалий не чувствовал, что одержал победу. Возможно, он боялся, что буря утихнет лишь на время. Возможно, он впал в поспешное отвращение к глупости человечества и отчаялся пробудить в них здравый смысл и признать свои истинные интересы и своих истинных благодетелей. Во всяком случае, он бросил в огонь — так говорят — все свои неопубликованные рукописи, отчеты о многолетних наблюдениях и с тех пор отрекся от науки.

После этого мы слышим о нем в Брюсселе, а также в Базеле - в этом последнем городе, в обществе врачей, естествоиспытателей и греков, он, должно быть, некоторое время дышал более свободным воздухом. Но оттуда он, по-видимому, вернулся к своему старому хозяину Карлу V. И, наконец, обосновался в Мадриде в качестве придворного хирурга Филиппа II, который послал его, но слишком поздно, извлечь осколки копья из глаза умирающего Генриха II.

Теперь он был женат на знатной даме из Брюсселя по имени Анна ван Хамме; а их дочь со временем вышла замуж за великого сокольничего Филиппа II, который, несомненно, занимал немалое общественное положение. Он был преуспевающим в мирских делах; говорят, ему нравились хорошая жизнь и роскошь; возможно, он был склонен говорить: “Давайте есть и пить, ибо завтра мы умираем”, - и все больше и больше погружаться в мирскую суету, если только какое-нибудь потрясение не пробуждало его от летаргии.

И пробуждающий шок действительно наступил. После восьми лет придворной жизни в начале 1564 года он решил отправиться в паломничество в Иерусалим.

Причины столь странного решения окутаны тайной и противоречиями. Распространенной историей было то, что он вскрыл труп, чтобы установить причину смерти, и что, к ужасу прохожих, было видно, что сердце все еще бьется; что его враги обвинили его в инквизиции и что он был приговорен к смертной казни, приговор, который был заменен приговором о паломничестве. Но здесь, с самого начала, версии расходятся. В одной говорится, что жертвой был дворянин, имя не называется; в другой - что это была горничная, имя не называется. Крайне маловероятно, если не невозможно, чтобы Везалий из всех людей принял живое тело за мертвое; в то время как, с другой стороны, наиболее вероятно, что его враги-медики с радостью возводили бы на него подобную клевету, когда его уже не было в Испании, чтобы опровергнуть это. Между тем Льоренте, историк инквизиции, не упоминает о том, что Везалий предстал перед ее трибуналом, хотя он упоминает резиденцию Везалия в Мадриде. Другая история гласит, что он уехал за границу, спасаясь от дурного нрава своей жены; другая - что он хотел обогатиться. Другая история — и в ней нет ничего невероятного — гласит, что он завидовал растущей репутации своего ученика Фаллопиуса, в то время профессора анатомии в Венеции. Этот выдающийся хирург, как я уже говорил, написал книгу, в которой дополнил открытия Везалия и исправил некоторые его ошибки. Везалий ответил ему поспешно и сердито, процитировав по памяти свою анатомию, поскольку, как он сам жаловался, в Испании он не мог раздобыть предмет для вскрытия; по его словам, даже ни одного черепа. Он отправил свою книгу в Венецию для публикации и, по-видимому, ничего о ней не слышал.

Возможно, он чувствовал, что отстает в гонке наук и что для него невозможно продолжать учебу в Мадриде; и поэтому, разозленный собственной ленью и роскошью, он, возможно, почувствовал, как в нем вспыхнул старый священный огонь, и решил поехать в Италию и снова стать студентом и рабочим.

В тот самый день, когда он отправился в путь, Клузий Аррасский, в то время, вероятно, лучший ботаник в мире, прибыл в Мадрид; и, спросив о причине отъезда Везалия, их соотечественник Шарль де Тиснак, прокурор Нидерландов, ответил, что Везалий уехал по собственной воле и со всеми удобствами, которые Филипп мог ему предоставить, во исполнение обета, данного им во время опасной болезни. Здесь, по крайней мере, у нас есть крупница информации, которая, по-видимому, почерпнута из ручья, расположенного достаточно близко к истоку: но следует помнить, что де Тиснак жил в опасные времена и, возможно, счел необходимым действовать осторожно в них; что через него всего за год до этого было отправлено знаменитое письмо от Вильгельма Оранского, Горна и Эгмонта, о судьбе которого можно прочитать в четвертой главе мистера Мотли; что кризис в Нидерландах, вызванный этим письмом, надвигался быстро; и что, поскольку де Тиснак был на грани краха. находясь в дружеских отношениях с Эгмонтом, он, возможно, временами чувствовал, что его голова немного болтается на плечах; особенно если бы он слышал, как Алва сказал, “что каждый раз, когда он видел депеши этих трех сеньоров, они вызывали у него такую ярость, что, если бы он не позаботился о том, чтобы умерить ее, он казался бы взбешенным человеком”. В такие моменты де Тиснак, возможно, счел бы за благо дать дипломатический ответ соотечественнику относительно третьего соотечественника, особенно когда этот соотечественник, как бывший ученик Меланхтона в Виттемберге, сам мог быть под подозрением в ереси и, следовательно, в возможной государственной измене.

Как бы то ни было, нельзя не заподозрить некоторую долю правды в рассказе об инквизиции; возможно, также в рассказе о недоброжелательности его жены; ибо независимо от того, оперировал Везалий дон Карлоса или нет, он собственными глазами видел чудесную Деву Аточскую в ногах кровати принца. Он слышал, что его выздоровление приписывают не операции, а заступничеству Фрэя, ныне Святого Диего;{408} и у него, должно быть, были свои мысли по этому поводу, и он, возможно, в неосторожный момент высказал их.

Ибо, следует всегда помнить, он был нидерландцем. Кризис в его стране был совсем рядом. Восстание было неизбежно, а с восстанием - невыразимые ужасы; а тем временем дон Карлос вознамерился в своем безумном уме захватить командование Нидерландами. В ярости оттого, что у него его нет, как известно всему миру, он чуть не убил Алву собственными руками примерно два года спустя. Если это правда, что дон Карлос чувствовал себя в долгу благодарности перед Везалиусом, он мог (по своему обыкновению) излить ему какую-нибудь дикую откровенность о Нидерландах, даже услышать которую было бы преступлением в глазах Филиппа. И если это всего лишь фантазия, то все же Везалий, как я только что сказал, был нидерландцем, человеком ума и духа, для которого поступки Филиппа и атмосфера испанского двора, должно быть, становились все более и более невыносимыми. Сотни его соотечественников, возможно, мужчин и женщин, которых он знал, были избиты, сожжены заживо, похоронены заживо по приказу шутивого негодяя Питера Тительманна, главного инквизитора. “Деньмобрюлеза” и последовавшая за ним массовая резня произошли всего два года назад; и, по всем признакам того времени, эти убийства и страдания, несомненно, увеличатся. И почему все эти бедняги испытывали крайний ужас, как не потому, что они не верили в чудесные образы, кости мертвых монахов и остальную часть той науки о неразумии и нереальности, против которой Везалий боролся всю свою жизнь, сознательно или нет, используя разум и наблюдая факты? Что удивительного, если в каком-нибудь порыве благородного негодования и справедливого презрения он на мгновение забыл, что продал свою душу, а также свою любовь к науке, чтобы быть роскошным, но беспокойным

прихлебателем при дворе тирана, и неосмотрительно произнес какое-нибудь слово, достойное немца?

Что касается истории о его несчастных ссорах с женой, то в ней также может быть доля правды. Религия Везалия, должно быть, оказала на него очень слабое влияние. Человек, который с юности грабил кладбища и виселицы, вряд ли сильно боялся привидений и демонов. Он перебрал слишком много человеческих костей, чтобы обращать особое внимание на кости святых. Вероятно, он был, как и его друзья из Базеля, Монпелье и Парижа, в душе в какой-то степени еретиком, возможно, в какой-то степени язычником. Его супруга, Анна ван Хамме, вероятно, была строгой католичкой, как и ее отец, бывший советником и главой казначейства в Брюсселе; и свободомыслие мужа, перемежаемое суеверием жены, возможно, вызвало в них ту жалкую вражду, то отсутствие какого-либо истинного общения душ, слишком распространенное по сей день в католических странах.

Как бы то ни было — а точная правда о них теперь никогда не будет известна, — Везалий отправился в Иерусалим весной 1564 года. По пути он навестил своих старых друзей в Венеции, чтобы узнать о своей книге против Фаллопия. Венецианская республика приняла великого философа с распростертыми объятиями. Фаллопий только что умер; и сенат предложил своему гостю вакантную кафедру анатомии. Он принял ее, но уехал на Восток.

Он никогда не занимал этого кресла; потерпев крушение на острове Занте, когда возвращался из Палестины, он умер мучительной смертью от лихорадки и нужды, как умерли до него тысячи паломников, возвращавшихся из Святой Земли. Ювелир узнал его; похоронил в часовне Пресвятой Богородицы и воздвиг над ним простой камень, который простоял до последних лет; и может простоять, насколько я знаю, даже сейчас.

Так погиб в расцвете сил “мученик своей любви к науке”, цитируя слова М. Бурггрейва из Гента, его талантливый биограф и комментатора, “выдающийся человек, создавший науку в эпоху, когда все еще было препятствием для его прогресса; человек, вся жизнь которого была долгой борьбой знания с невежеством, истины с ложью”.

Аплодируйте: Например, с Ронделе и Бьюкененом. И когда бы этот бедный глупый мир ни нуждался в трех таких людях, пусть Бог по своей великой милости пошлет их.

Сноски

{15} Адам-стрит, 9, Адельфи, Лондон.

{72} Я цитирую перевод покойного Филипа Стенхоупа Уорсли из Колледжа Корпус-Кристи в Оксфорде.

{76} “Одиссея”, книга vi. 127-315; том i. стр. 143-150 перевода мистера Уорсли.

{88} С тех пор как был написан этот очерк, я был искренне рад узнать, что мои пожелания были предвосхищены в Гертон-колледже, недалеко от Кембриджа, а ранее в Хитчине, откуда колледж был переведен: и что мудрые дамы, которые руководят этим заведением, предлагают также самое замечательное заведение — купальню. Более того, доклад, прочитанный перед Лондонской ассоциацией школьных учительниц в 1866 году, посвященный “Физическим

упражнениям и отдыху для девочек”, заслуживает самого пристального внимания. Пусть те, кто продвигает подобные вещи, процветают так, как они того заслуживают.

{256} Описание колдовства и фетишизма среди африканских негров см. в книге Бертон "Озерные районы Центральной Африки", том ii. стр. 341-360.

{304} Аркада в королевской школе, Честер.

{328} Так говорит доктор Ирвинг, написавший в 1817 году. Однако я тщетно пытался получить представление об этой книге. Мне нет нужды говорить шотландским ученым, насколько я обязан этой статьей эрудированному второму изданию "Жизни Бьюкенена" доктора Дэвида Ливинга.

{343} Из причудливого старого перевода 1721 года, сделанного "Почетным лицом Королевства Шотландия".

{358} К его произведениям прилагается "Жизнь Ронделе" его ученика Лорана Жубера, а вместе с ней и отчет о его болезни и смерти, написанный его двоюродным братом Клодом Форми, который достоин прочтения любого человека, мудрого или глупого. Многими интересными подробностями я обязан любезности профессора Планшона из Монпелье, автора рассуждения о "Ронделе и его учениках", которое появилось с ученым и любопытным приложением в "Montpellier Médical" за 1866 год.

{390} Я обязан этому отчету Блута — который кажется мне единственным заслуживающим доверия — любезности и эрудиции профессора Генри Морли, который нашел в нем цитату из "Acroama" Блута в "Observationum Medicarum Rariorum, lib. vii." Джона Теодора Шенка¹. Тем, кто желает узнать несколько любопытных отрывков из жизни Везалия, которые я не вставил в эту статью, было бы неплохо обратиться к одному из произведений профессора Морли, 'Анатомия в длинных одеждах', опубликованному в 'Журнале Фрейзера' за ноябрь 1853 года. Могу ли я выразить надежду, которую, я уверен, разделят все, кто читал написанные профессором Морли биографии Джерома Кардана и Корнелиуса Агриппы, что он найдет время вернуться к изучению жизни Везалия и сделает для него то, что он сделал для двух только что упомянутых писателей?

{392} 'Связь' Оливареса можно найти в государственных документах Гранвеля. Для получения общего описания болезни дон Карлоса и чудесных средств, благодаря которым, как утверждалось, было произведено его исцеление, обычному читателю следует обратиться к "Биографии Елизаветы Валуа" мисс Фрер, том i, стр. 307-19.

{408} Отдавая должное бедному доктору Оливаресу, следует сказать, что, хотя он полностью полагается на заступничество Пресвятой Девы, и брата Диего, и "многих праведных людей", он не может допустить, чтобы имело место какое-либо "чудо, правильно так называемое", потому что принц был вылечен в соответствии с "естественным порядком вещей" и "экспериментальными средствами" врачей.